

18+

РОБЕРТО
БОЛАНДЬО

2
6
6
6

Великие романы

Роберто Боланьо

2666

«Издательство АСТ»

2004

УДК 821.134.2
ББК 84(4Исп)

Боляньо Р.

2666 / Р. Боляньо — «Издательство АСТ», 2004 — (Великие романы)

ISBN 978-5-17-116780-6

Легендарный роман о городе Санта-Тереза, расположенном на мексикано-американской границе, где сталкиваются заключенные и академики, американский журналист, сходящий с ума философ и таинственный писатель-отшельник. Этот город скрывает страшную тайну. Здесь убивают женщин, количество погибших растет с каждым днем, и вот уже многие годы власти ничего не могут с этим поделать. Санта-Тереза охвачена тьмой, в городе то ли действует серийный убийца, то ли все связала паутина масштабного заговора, и чем дальше, тем большая паранойя охватывает его жителей. А корни этой эпидемии жестокости уходят в Европу, в США и даже на поля битв Второй мировой войны. Пять частей, пять жанров, десятки действующих лиц, масштабная география событий – все это «2666», загадочная постмодернистская головоломка, один из главных романов начала XXI века.

УДК 821.134.2

ББК 84(4Исп)

ISBN 978-5-17-116780-6

© Боляньо Р., 2004
© Издательство АСТ, 2004

Содержание

Примечание наследников автора	7
Часть о литературоведах	8
Часть об Амальфитано	110
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Роберт Боланьо

2666

Александра и Лантаро Боланьо, это для вас

Оазис ужаса посреди пустыни скуки.
Шарль Бодлер

2666 ROBERTO
666 BOLAÑO

Roberto Bolaño
2666

Печатается с разрешения наследницы автора и литературного агентства
The Wylie Agency (UK) Ltd.

Перевод с испанского: *Марина Осипова*



Jupiter et Sémélé – Moreau Gustave (C) RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojeda/ Paris, musée Gustave Moreau

Based on the original jacket design by Charlotte Strick

Copyright © 2004, Herederos de Roberto Bolaño

All rights reserved

 **АСТРЕЛЬ СРБ**

© Марина Осипова, перевод, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Примечание наследников автора

Будучи при смерти, Роберто Боланьо оставил инструкции, согласно которым его роман «2666» должен публиковаться разделенным на пять книг, которые соответствуют пяти частям романа. Также он оговорил порядок и периодичность публикации (один роман в год) и даже сумму гонорара, которую должен выплатить издатель. Это решение за несколько дней до смерти Роберто Боланьо озвучил лично Хорхе Эрральде. Таким образом писатель хотел финансово обеспечить своих детей.

После его смерти Игнасио Эчеварриа (друг, которого писатель назначил своим душеприказчиком во всем, что касалось литературных дел) прочитал книгу и изучил рабочие материалы, которые Роберто оставил после себя. В результате мы согласились с Хорхе Эрральде и – из соображений менее практических, но более отвечающих духу книги, чья литературная ценность неоспорима – решили, вопреки воле Роберто, в первый раз опубликовать «2666» в полном объеме и в одном томе – так, как Роберто поступил бы в случае, если бы болезнь позволила ему прожить дольше.

Часть о литературоведах

В первый раз Жан-Клод Пеллетье прочитал книгу Бенно фон Арчимбольди в 1980 году на Рождество. Жил он тогда в Париже, учился в университете, занимался немецкой литературой, и было ему девятнадцать лет. Прочитал он собственно «Д'Арсонваль». Молодой Пеллетье и знать не знал, что роман – часть трилогии, в которую также входили «Сад» (английская часть), «Кожаная маска» (часть польская), ну и «Д'Арсонваль» – часть французская, как понятно из названия. Подобное невежество, прискорбный пробел в знаниях и библиографическую неаккуратность лишь отчасти извиняет юный возраст читателя. Тем не менее на впечатлении, которое произвел роман – а юноша был ослеплен, восхищен и поражен книгой, – все вышеперечисленное никак не сказалось.

С того самого дня (точнее, предрасветного ночного часа, когда он закончил читать первую книгу Арчимбольди) Пеллетье превратился в страстного его поклонника и с невероятным воодушевлением принялся за поиски других книг автора. Пришлось ему, надо сказать, нелегко. Даже в Париже восьмидесятых годов двадцатого века достать книгу Бенно фон Арчимбольди оказалось крайне непростой задачей. В библиотеке при кафедре немецкой литературы он искал, но про Арчимбольди ничего не нашел. Преподаватели ничего не слышали о таком авторе. Один из них, правда, сказал, что имя ему, похоже, знакомо. В ярости (и в ужасе) Пеллетье уже через десять минут понял, что преподавателю действительно знакома эта фамилия, но не писателя, а итальянского художника, относительно которого сам Пеллетье пребывал в неведении и, надо сказать, совершенно по этому поводу не огорчался.

Он написал в гамбургское издательство, выпустившее в свет «Д'Арсонваль», но не получил никакого ответа. Обошел те немногие лавки Парижа, что торговали немецкими книгами. Фамилия Арчимбольди отыскалась в словаре немецкой литературы и в бельгийском журнале, посвященном – в шутку или всерьез, кто знает, – литературе прусской. В 1981 году, путешествуя в компании трех друзей с факультета по Байерну, в крохотном книжном магазине в Мюнхене, на Форальмштрассе, он обнаружил тоненькую, едва ли на сто страниц, книжку под названием «Сокровище Митци» и уже упомянутый английский роман «Сад».

Обе новые книги он прочитал и еще более укрепился в своем мнении относительно Арчимбольди. В 1983 году, в возрасте двадцати двух лет, он взялся за перевод «Д'Арсонваля». Его об этом никто не просил. Среди французских издательств вряд ли нашелся бы охотник публиковать какого-то немца со странной фамилией. Пеллетье начал переводить, потому что ему нравился сам процесс. Он чувствовал себя счастливым, а кроме того, хотел представить перевод и работу о творчестве Арчимбольди как диплом и, возможно, заложить тем самым основание для грядущей диссертации.

Пеллетье закончил финальную редактуру перевода в 1984 году, и одно парижское издательство, несмотря на противоречивые отзывы рецензентов, поколебавшись, все же взяло книгу в работу. Роману Арчимбольди пророчили вялые, не более тысячи экземпляров, продажи, однако после нескольких противоречивых и ряда положительных – можно сказать, излишне хвалебных – отзывов в прессе три тысячи тиража разошлись мгновенно, и роман переиздали второй, третий и даже четвертый раз.

К тому времени Пеллетье уже прочитал все пятнадцать книг немецкого писателя, перевел еще две и был практически единодушно признан главным специалистом по творчеству Бенно фон Арчимбольди во всей старой доброй Франции.

Тогда Пеллетье припомнил день, когда впервые прочитал книгу Арчимбольди: его воображению живо представился он сам, юный нищий студент, довольствующийся комнатухой горничной. Припомнил он и раковину, над которой умывался и чистил зубы вместе с другими

пятнадцатью обитателями темной мансарды, ужасный, никогда не мытый унитаз, на который страшно было присесть, туалет, который следовало бы назвать выгребной ямой, куда приходили справить нужду те самые пятнадцать соседей по мансарде, часть из них уже отбыла в провинцию, получив соответствующий университетский диплом, или переехала в другие, более комфортабельные апартаменты в том же Париже, другие – таких насчитывалось немного, но они были – продолжали жить там же, ведя растительное существование или помирая в грязи.

Да, он припомнил себя молодым: как, довольствуясь малым, сидел над своими немецкими словарями при слабом свете лампочки – тощий, но упорный, воплощенная в плоти, костях и мускулах воля, ни грамма жира, фанатик, решивший во что бы то ни стало достичь тихой гавани, – одним словом, типичный студент в столице, но для него это все было сродни наркотику, наркотику, от которого хотелось плакать и плакалось, наркотику, что открыл в нем, как сказал один посредственный голландский поэт девятнадцатого века, шлюзы эмоций и того, что на первый взгляд казалось состраданием самому себе, но им не являлось (а чем же оно, получается, было? Яростью? Наверное...), и тогда Пеллетье принялся думать, и снова возвращаться мыслями, но не к словам, а к болезненным образам; таков был его период ученичества, и после бессонной ночи, от которой, впрочем, не было никакого проку, он заставил разум сформулировать два вывода: первый – его прежняя жизнь окончена; второй – его ждет блестящая карьера, но, чтобы блеск не потускнел, придется сохранить – единственным воспоминанием о темной мансарде – непреклонность воли. Задача, впрочем, не показалась ему сложной.

Жан-Клод Пеллетье родился в 1961 году, и в 86-м уже был профессором на кафедре немецкого языкознания. Пьеро Морини родился в 1956 году, в селении близ Неаполя, и хотя ему случилось в первый раз прочитать Бенно фон Арчимбольди в 1976 году, то есть на десять лет раньше, чем Пеллетье, первый его перевод (им стал роман *Bifurcaria bifurcata*¹) увидел свет лишь в 1988 году. Книга, надо сказать, особого успеха не стяжала.

Нужно принять во внимание, что ситуация с творчеством Арчимбольди в Италии очень отличалась от французской. На самом деле Морини со своим переводом не был первопроходцем. Более того, первый роман Арчимбольди, которому случилось попасть в руки Морини, оказался переводом «Кожаной маски», выполненным неким Колоссимо для «Эйнауди» в 1969 году. После него в Италии вышли «Реки Европы» (в 1971 году), потом, в 1973-м, «Наследие», в 1975-м – «Железнодорожное совершенство», а еще раньше, в 1964-м, одно римское издательство опубликовало «Берлинские трущобы», сборник рассказов, отчасти с военной тематикой. Потому вполне можно сказать, что Арчимбольди в Италии пользовался некоторой известностью; но с другой стороны, успеха не имел – ни умеренного, ни какого-либо еще. Он имел нулевой успех – так будет точнее. Книги его дряхлели на самых дальних и сырых полках магазинов, ложились мертвым грузом, умирали в забвении на издательских складах, пока их не пускали под нож.

Морини, естественно, не убоился и не отступил: да, среди итальянской публики Арчимбольди не приобрел поклонников, но Морини, издав свой перевод *Bifurcaria bifurcata*, отдал в миланский и палермский журналы два объемных труда, посвященных Арчимбольди: в первом он рассматривал тему предназначения в «Железнодорожном совершенстве», во втором – мотивы, сопровождающие темы вины и совести в «Летее» (на первый – но только на первый! – взгляд эротический роман) и в «Битциусе» (тощий романчик чуть более ста страниц объемом, в чем-то похожий на «Сокровище Митци» – книгу, которую Пеллетье нашел в старом букинистическом магазине в Мюнхене). Сюжет «Битциуса» завивался вокруг Альберта Битциуса, пастора в местечке Лутценфлюх, что в кантоне Берн, автора проповедей, а кроме того – писателя, издающегося под псевдонимом Иеремия Готтэльф. Оба труда увидели свет,

¹ Латинское название бурой водоросли, которой, собственно, и посвящен роман Арчимбольди.

и таковы были убедительность и красноречие, с которыми Морини представил Арчимбольди, что ему удалось преодолеть все препятствия и уже в 1991 году вышел второй перевод Пьеро Морини – роман «Святой Фома». В то время Морини уже преподавал немецкую литературу в Туринском университете, врачи диагностировали у него рассеянный склероз, а кроме того, с ним приключился приобретший громкую известность и весьма странный несчастный случай, который навеки приковал его к инвалидной коляске.

Мануэль Эспиноса пришел к Арчимбольди другим путем. Он был моложе Морини и Пеллетье и не изучал – по крайней мере два первых курса – немецкую филологию: Эспиноса по ряду причин (весьма грустных, но самая грустная – желание стать писателем) трудился на кафедре испанского языкознания. Из немецких писателей он знал (весьма скверно) троих классиков: Гельдерлина – потому что шестнадцать лет от роду решил, что его предназначение – стать поэтом, и запоем читал все сборники стихотворений, которые попадали ему в руки; Гёте – потому что на последнем курсе университета шутник-преподаватель рекомендовал ему ознакомиться со «Страданиями юного Вертера»: мол, там вы найдете родственную душу; и Шиллера, из которого читал только одну пьесу. Потом он читал много вещей современного автора, Юнгера, просто потому, что не хотел отстать от моды: мадридские писатели, которыми он восхищался и которых всей душой ненавидел, говорили исключительно об этом немце. Так что можно сказать: Эспиноса был знаком с творчеством только одного немецкого автора – Юнгера. Поначалу его сочинения казались Эспиносе невыразимо прекрасными, а поскольку большую часть книг Юнгера уже перевели на испанский, Эспиноса без труда их нашел и все прочитал. Ему бы больше понравилось, если бы все оказалось не так просто. Кстати, люди, с которыми он тогда общался, не только были поклонниками Эрнста, но и переводчиками его трудов; впрочем, Эспиносу это вовсе не волновало, ибо он жаждал лавров не переводчика, но писателя.

Однако шли месяцы, годы, и время, как всегда молчаливое и жестокое, преподнесло ему неприятные сюрпризы – до того неприятные, что все прежние его убеждения грозили рассыпаться прахом. Так, к примеру, он обнаружил, что компания юнгерянцев оказалась вовсе не такой юнгерянской, как он думал прежде: выяснилось, что они, как и всякое другое собрание литераторов, весьма зависели от смены времен года: например, осенью оставались примерными юнгерянами, а зимой вдруг преображались в барохианцев², весной – в ортегианцев³, а летом даже покидали бар, в котором собирались, и выходили на улицу читать буколические стишки в честь Камило Хосе Села; все это молодой Эспиноса, несмотря на патриотические чувства, принял бы без особых усилий – но только в случае, если бы в этих акциях чувствовался дух карнавала и веселья. Но нет, поддельные юнгеряны относились ко всему с мрачной серьезностью, и это его совсем не устраивало.

Впрочем, самое страшное заключалось в другом. Эспиноса обнаружил, что коллеги по юнгерянству относятся к его пробам пера едва ли не с отвращением. И однажды, после бессонной ночи, он вдруг спросил себя: а не намекают ли эти люди, что ему пора покинуть их компанию, что он чужой, что он мешает и должен уйти и не возвращаться?

А самый скверный оборот все это приняло, когда в Мадрид приехал сам Юнгер и юнгеряны устроили ему экскурсию в Эскориал – да, в Эскориал, кто его знает, зачем и почему этот дворец сдался наставнику, – так вот, когда Эспиноса захотел примкнуть к свите, причем в любом амплу – он был не гордый, – в этой чести ему отказали – да так, словно бы эти симулянты от юнгерянства считали его недостойным включения в гвардию телохранителей царственного немца или даже полагали, что он, Эспиноса, способен на дурацкую мальчишескую выходку, которая бы выставила в дурном свете весь их философический кружок; впрочем, ему

² Поклонников творчества Пио Бароха или Каро Бароха.

³ Поклонников творчества Ортеги-и-Гассета.

ничего такого не сказали – возможно, из соображений милосердия – и официальная версия была такова: ему, Эспиносе, отказано, потому что он не знает немецкого, а все остальные, кто едет в Эскориал, по-немецки говорят.

На том и закончилась история об Эспиносе и юнгерианцах. И началась совсем другая – история об одиночестве и о дожде (или даже ливне) замыслов и предположений, зачастую противоречащих друг другу, а то и вовсе фантастических. Ночи не приносили ни отдохновения, ни удовольствия, однако в первые, самые трудные дни Эспиноса открыл для себя нечто, что помогло ему продержаться: во-первых, он понял, что прозаиком ему не стать, а во-вторых, он сделал вывод, что ему не занимать храбрости.

Также Эспиноса обнаружил, что он парень не только храбрый, но и злопамятный: его переполняла обида, он истекал ею как рана гноем, и без колебаний убил бы кого-нибудь, все равно кого, лишь бы спастись от одиночества, дождей и мадридского холода – и тем не менее это свое открытие он задвинул в самый темный уголок памяти и предпочел сосредоточиться на том, что ему не быть писателем, а также на том, чтобы извлечь максимальную выгоду из своей недавно эксгумированной смелости.

Он продолжил учиться в университете, на том же отделении испанской филологии, однако параллельно записался на курс филологии немецкой. Спал не более четырех, максимум пяти часов, а остальное время посвящал учебе. Еще до окончания курса написал двадцатистраничный очерк, посвященный связи образа Вертера с музыкой, и работу эту опубликовали мадридский литературный журнал и вестник университета Геттингена. В двадцать пять он закончил оба отделения. В 1990-м сумел защитить докторскую по специальности «немецкая литература» – эту его работу, посвященную творчеству Бенно фон Арчимбольди, спустя год опубликовало одно барселонское издательство. К этому времени Эспиноса уже вполне освоился в мире конференций и круглых столов, посвященных проблемам немецкой литературы. По-немецки он говорил теперь если не прекрасно, то уж вполне сносно. Так же выучил английский и французский. Как и Морини с Пеллетье, нашел хорошую работу с очень приличным окладом и снискал уважение (насколько это возможно) студентов и коллег. И никогда не переводил ни Арчимбольди, ни какого-либо другого немецкого автора.

Помимо увлечения Арчимбольди Морини, Пеллетье и Эспиносу объединяло вот что: все трое обладали поистине железной волей. На самом деле у них было еще кое-что общее, но об этом мы расскажем потом.

Лиз Нортон, в противоположность им, нельзя было назвать волевой женщиной: она не строила ни промежуточных, ни долгосрочных планов на будущее и не выкладывалась целиком ради достижения цели. Выдержка, целенаправленность – это было не про нее. Когда ей было больно, окружающие это видели, а когда она была счастлива, другие заражались ее весельем. Она не могла сознательно поставить перед собой определенную задачу и равномерно распределить силы на пути к достижению цели. Впрочем, не существовало такой цели, и не сыскать было в целом мире ничего столь желанного и приятного, ради чего она отдала бы всю себя. Выражение «достичь цели» в приложении к себе казалось ей хитро устроенным силком, который расставляют только люди мелочные и жадные. Для нее выражение «достичь цели» уступало в важности слову «жить», а в некоторых случаях – слову «счастье». Если воля направлена на то, чтобы соответствовать социальным требованиям (как предполагал Уильям Джеймс), то проще отправиться на войну, чем бросить курить. Так вот, о Лиз Нортон можно было сказать: ей проще было бросить курить, чем пойти на войну.

Однажды в университете кто-то сказал ей это, и Лиз фраза понравилась. Впрочем, интереса к Уильяму Джеймсу она так и не проявила: как раньше не читала его книг, так и дальше не стала. Для нее чтение прямо соотносилось только с удовольствием, и лишь косвенно – со зна-

нием, загадками и запутанными ходами словесных лабиринтов, которые так волновали сердца Морини, Эспиносы и Пеллетье.

Знакомство с Арчимбольди у нее вышло куда менее травматичным и даже можно сказать – романтическим. В 1988 году ей было двадцать, и она на три месяца уехала в Берлин. Один из немецких друзей дал Лиз почитать роман неизвестного ей автора. Какое странное имя, сказала она другу, разве может такое быть: немецкий автор, а фамилия итальянская, и тем не менее «фон» перед фамилией стоит, он, получается, дворянин? Друг не знал, что ответить. Наверное, это псевдоним, сказал он. И добавил, словно этого было мало, что в немецком не слишком-то много мужских имен собственных, которые заканчиваются на гласную. Вот женских таких – сколько угодно. А вот среди мужских почитай что и нет. Роман назывался «Слепая» и ей понравился, но не до такой степени, чтобы бросить все и бежать в книжный скупать все произведения Бенно фон Арчимбольди.

Она вернулась в Англию, и вот, пять месяцев спустя, получила по почте подарок от своего немецкого друга. Как можно было догадаться, в посылке обнаружился еще один роман Арчимбольди. Она его прочитала, ей понравилось, и она отправилась в библиотеку университета искать другие книги немца с итальянской фамилией. Нашла две: одну ей уже подарили в Берлине, а вторая называлась «Битциус». Она прочла ее и на этот раз бросила все и побежала. В четырехугольнике внутреннего дворика лил дождь, четырехугольник неба над ним походил на оскал робота или бога, сотворенного по нашему подобию, травы в парке наливались соком под косым дождем, косые капли скользили по листьям – вниз, а могли бы скользить и вверх, ничего бы не поменялось, косые (капли) катились бы по наклонной и превращались в круглые (капли), их поглощала почва, питающая травы, и они с землей, похоже, разговаривали, хотя какое там разговаривали – спорили, и непонятные слова их походили на прозрачную паутинку или короткий выдох замерзающего пара, так они поскрипывали на границе слышимого, словно бы Нортон вместо чая этим вечером выпила отвар пейота.

Но нет, она пила чай и ей было не по себе, словно бы кто-то нашептал ей на ухо жуткую молитву, чьи слова постепенно растворялись в пейзаже по мере того, как она удалялась от университета, а дождь все лил и намочил ее серая юбка, и костлявые колени, и красивые щиколотки – и ничего больше, потому что Лиз Нортон, хоть и бросила все и побежала, все-таки не забыла прихватить с собой зонтик.

Первый раз Пеллетье, Морини, Эспиноса и Нортон увиделись на конференции по немецкой современной литературе в 1994 году в Бремене. До этого Пеллетье и Морини познакомились на Неделях немецкой литературы в 1989 году в Лейпциге, когда ГДР уже агонизировала, а затем снова встретились на симпозиуме по проблемам немецкой литературы в Манхейме в декабре того же года (от организации этого симпозиума, гостиниц и еды у них остались самые скверные воспоминания). На форуме по современной немецкой литературе в Цюрихе в 1990 году Пеллетье и Морини столкнулись с Эспиносой. А тот снова увиделся с Пеллетье на конференции по вопросам европейской литературы XX века в Маастрихте в 1991 году (Пеллетье там читал доклад под названием «Гейне и Арчимбольди: сходящиеся тропы», а Эспиноса читал доклад под названием «Эрнст Юнгер и Бенно фон Арчимбольди: расходящиеся тропы»), и можно было сказать, не боясь впасть в неточность, что именно с этого момента они стали не только читать статьи друг друга в профильных журналах, но и подружиться (или между ними возникли отношения, очень напоминающие дружбу, как кому больше нравится). В 1992 году на встрече, посвященной немецкой литературе, в Аугсбурге, пути Пеллетье, Эспиносы и Морини снова пересеклись. Все трое выступали с докладами по творчеству Арчимбольди. Уже несколько месяцев поговаривали, что конференцию почтит своим присутствием сам автор, а кроме того, на столь важное мероприятие должна прибыть, помимо собственно германистов,

многочисленная группа немецких писателей и поэтов. Тем не менее в час истины, то есть за два дня до начала конференции, пришла телеграмма от гамбургского издателя, в которой сообщалось, что, увы, Арчимбольди приехать не сможет. Что же до всего остального, то конференция оказалась совершенно провальной. С точки зрения Пеллетье, единственным интересным событием стала прочитанная пожилым берлинским преподавателем лекция по творчеству Арно Шмидта (вот еще, кстати, один немецкий антропоним, оканчивающийся на гласную), а остальное совершенно не заслуживало внимания, причем Эспиноса придерживался точно такого мнения, а Морини не был столь категоричен.

У них было много свободного времени, и они употребили его на осмотр малого, по мнению Пеллетье, числа достопримечательностей Аугсбурга, каковой город Эспиносе тоже показался маленьким, а Морини показался лишь небольшим, но, да, в конечном счете маленьким, и так, по очереди везя коляску с итальянцем, чье здоровье в этот приезд оставляло желать лучшего, а надежд на улучшение было мало, тем не менее его коллеги и приятели посчитали, что прогулка на свежем воздухе Морини не только не повредит, а, напротив, улучшит его состояние.

На следующую конференцию по немецкой литературе, которая проходила в Париже в январе 1992 года, приехали лишь Пеллетье с Эспиносой. Морини тоже приглашали, но он в ту пору чувствовал себя намного хуже обычного, так что врач запретил много чего, в том числе и путешествия – даже недолгие. Конференция оказалась весьма продуктивной и, несмотря на полную занятость, Пеллетье и Эспиноса нашли время, чтобы вместе пообедать в ресторанчике на рю Галанд, что рядом с Сен-Жюльен-ле-Повр, где они, как всегда, поболтали о своих работах и увлечениях, а за десертом обсудили состояние здоровья вечно грустного итальянца, какое здоровье – скверное, хрупкое, безобразное – почему-то не помешало ему начать писать книгу об Арчимбольди, и ее, рассказал Пеллетье о своем телефонном разговоре с итальянцем, тот назвал – в шутку или всерьез, непонятно, – великой книгой об Арчимбольди, рыбой-лоцманом, которая будет плыть в течение долгого времени рядом с огромной черной акулой, какой являлось творчество немецкого писателя. Оба они – и Пеллетье, и Эспиноса – с уважением относились к ученым штудиям Морини, однако слова Пеллетье (произнесенные словно бы в покое старинного замка или внутри темницы, обнаруженной подо рвом старинного замка) в непринужденной обстановке ресторанчика на рю Галанд прозвучали угрожающе и подвели черту под вечером, в начале которого оба собеседника не ждали друг от друга ничего, кроме вежливого обмена мнениями и рассказов о сбывшихся желаниях.

Все это, однако, нисколько не испортило отношений, в которых состояли Пеллетье и Эспиноса с Морини.

Все трое снова встретились в Болонье в 1993 году на ассамблее, посвященной проблемам немецкоязычной литературы. Кроме того, все трое опубликовали статьи в 46-м номере берлинского журнала «Вопросы литературы», целиком посвященном творчеству Арчимбольди. Они не первый раз печатались в этом журнале: в сорок четвертом номере вышла статья Эспиносы «Идея Бога в творчестве Арчимбольди и Унамуно». А в тридцать восьмом Морини опубликовал статью, посвященную проблемам изучения немецкой литературы в Италии. А Пеллетье в тридцать седьмом выпустил в свет работу о самых важных немецких авторах двадцатого века в контексте французской и, шире, общеевропейской культуры, и этот текст, надо сказать, вызвал протесты не столь уж малого числа рецензентов и, более того, послужил причиной нескольких вспышек ярости среди коллег по перу.

Однако нас интересует именно сорок шестой номер, потому что именно там стало очевидным разделение исследователей на две противостоящие друг другу группы: Пеллетье, Морини и Эспиноса против Шварца, Борчмайера и Поля; а кроме того, именно в этом номере опубликовали статью Лиз Нортон: блестящую – с точки зрения Пеллетье, хорошо аргументи-

рованную – с точки зрения Эспиносы, любопытную – с точки зрения Морини; а еще автор публикации (хотя об этом ее никто не просил) присоединилась к тезисам француза, испанца и итальянца, которых она свободно цитировала, показывая тем самым, что прекрасно знакома с их работами и монографиями, опубликованными в специальных журналах или малыми издательствами.

Пеллетье подумывал написать ей письмо, но в итоге так и не написал. Эспиноса позвонил Пеллетье и спросил, не стоит ли им связаться с ней. Оба пребывали в нерешительности и оттого пришли к соглашению: надо спросить у Морини. Морини вовсе ничего им не ответил. О Лиз Нортон они с уверенностью могли сказать следующее: она преподает немецкую литературу в одном из лондонских университетов. Да и она, в отличие от них, не профессор.

Конференция по вопросам немецкой литературы в Бремене прошла не без сюрпризов и выдалась весьма шумной. Никто из немецких филологов, занимавшихся Арчимбольди, не ожидал, что Пеллетье с верными его делу Морини и Эспиносой перейдут в наступление подобно Наполеону под Йеной – и вот враг, вставший под знамена Поля, Шварца и Борчмайера, побежит и рассредоточится по кафе и барам Бремена. Молодые немецкие преподаватели, также присутствовавшие на конференции, приняли сторону – с определенными оговорками, конечно, – Пеллетье и компании. Публика, большую часть которой составляли студенты и преподаватели университета, приехавшие из Геттингена на поезде или микроавтобусах, также высказалась – причем безо всяких оговорок – в пользу зажигательных и лапидарных формулировок Пеллетье и с энтузиазмом восприняла дионисийское, праздничное видение текстов Арчимбольди, интерпретирующее его прозу как отражение последнего карнавала (или, если угодно, предпоследнего карнавала), – словом, тоже встала на сторону Пеллетье и Эспиносы. Два дня спустя Шварц со своими подпевалами контратаковали. Фигуре Арчимбольди они противопоставили другую – Генриха Бёлля. И заговорили об ответственности. Противопоставили фигуре Арчимбольди еще и Уве Йонсона. И заговорили о страдании. Противопоставили фигуре Арчимбольди – Гюнтера Грасса! И заговорили о гражданском согласии. Борчмайер дошел до того, что противопоставил фигуре Арчимбольди Фридриха Дюрренматта и заговорил о юморе! Подобное бесстыдство вывело из себя даже Морини. И тут, словно по воле Провидения, появилась Лиз Нортон и отбила контратаку подобно Дезе и Ланну в битве при Маренго: эта белокурая амазонка на совершенном (пусть и слишком быстром) немецком методично растерла оппонентов в пыль, помянув Гриммельсгаузена, Грифиуса и многих других, включая даже Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, более известного под именем Парацельс.

Тем же вечером они все вместе отужинали в каком-то заведении, тесном и длинном одновременно, расположенном на темной улице рядом с рекой и зажатым с обеих сторон старинными, ганзейских еще времен, домами, походившими на здания, покинутые нацистской администрацией.

Им пришлось спускаться к этой жутковатой едальне по мокрым от измороси ступеням, и Лиз Нортон сначала расстроилась, но вечер выдался не только длинным, но и весьма приятным, а Пеллетье, Морини и Эспиноса оказались людьми, чуждыми всякому высокомерию, так что Нортон быстро освоилась за столом. Естественно, она знала и читала большую часть их работ, однако для нее оказалось сюрпризом (и, надо сказать, приятным сюрпризом), что они также знали некоторые ее статьи. Разговор вертелся вокруг четырех тем: сначала они смеялись, вспоминая взбучку, которую Нортон устроила Борчмайеру, и как тот испугался и боялся все больше и больше, пока Нортон безжалостно его теснила; затем они поговорили о будущих встречах, в особенности об одной весьма странной: ее проводил Университет Миннесоты, и на конференцию должны были прибыть более пятисот преподавателей, переводчиков и специалистов по немецкой литературе, и все это было слишком прекрасно, так что Морини весьма

обоснованно подозревал, что речь идет о какой-то утке; затем разговор зашел о Бенно фон Арчимбольди и о его жизни, о которой никто ничего толком не знал: все, начиная с Пеллетье и заканчивая Морини, который против обыкновения тем вечером не молчал, а был весьма многословен, обменивались историями и слухами, в очередной раз сопоставляя скудные факты и расплывчатые сведения, пытаясь, подобно тому, кто раз за разом возвращается к любимому фильму, отыскать хоть какую-то зацепку относительно того, где и как мог бы жить великий писатель; и, наконец, гуляя по мокрым и освещенным (правда, не без перебоев в освещении, и тут Бремен походил на устройство, питаемое короткими, но весьма сильными разрядами тока) улицам, они говорили о себе.

Оказалось, что они, все четверо, не связаны брачными узами, и это показалось им неким ободряющим знаком. Все четверо жили одни, хотя Лиз Нортон время от времени делила свою лондонскую квартиру с братом – искателем приключений, который работал на неправительственную организацию и лишь время от времени навещался в Англию. Все четверо посвящали себя работе, хотя Пеллетье, Эспиноса и Морини были уже докторами наук, а первый и второй, ко всему прочему, руководили кафедрами, а Нортон только начала писать докторскую и не думала, что когда-либо сможет занять кресло руководителя кафедры германской филологии в своем университете.

Поздним вечером, уже засыпая, Пеллетье вспоминал не перепалки на конференции, а то, как он гулял по прибрежным улицам, а Лиз Нортон шла рядом, Эспиноса катил инвалидную коляску Морини и как они все вчетвером смеялись над бременскими музыкантами, которые наблюдали за ними или за их тенями на асфальте, выстроившись друг у друга на спинах в милую, сужающуюся кверху башенку.

С этого дня и с этого вечера они где-то раз в неделю звонили друг другу, все четверо, не обращая внимания на телефонные счета и зачастую поздней ночью.

Иногда Лиз Нортон звонила Эспиносе и справлялась о здоровье Морини, с которым она говорила вчера и нашла его в подавленном расположении духа. В тот же день Эспиноса звонил Пеллетье и сообщал тому, что Нортон звонила и – вот, здоровье Морини опять пошатнулось, а Пеллетье сразу же бросился звонить Морини, без обиняков спрашивая, как тот себя чувствует, посмеиваясь вместе с ним (Морини, кстати, всячески избегал серьезных разговоров на эту тему), потом они перекидывались парой слов о всяких рабочих перипетиях. А потом он набирал англичанке чуть ли не в полночь, заодно сервировав себе обильный и изысканный ужин – почему бы не соединить два удовольствия, от разговора и от еды, в одно. Он уверял Нортон, что состояние Морини (учитывая всегдашнюю хрупкость его здоровья) хорошее, обычное и стабильное, а то, что Нортон сочла подавленностью, вовсе не подавленность, а обычное состояние духа итальянца, чувствительного к переменам погоды (видимо, в Турине плохая погода, а может, Морини просто приснился непонятно какой кошмар), завершая таким образом цикл, которому на следующий день или через два дня предстояло повториться: Морини звонил Эспиносе, просто так, не по делу, чтобы спросить, как дела, перекинуться парой слов, и разговор неизбежно сползал ко всяким пустякам, беседам о погоде (словно бы Морини и даже Эспиноса усвоили британские обычаи ведения светской беседы), мнениям о просмотренных фильмах, равнодушным комментариям к недавно читанным книгам – словом, это был обычный скучный телефонный разговор, который Эспиноса часто вел без особой охоты, но тем не менее выслушивал собеседника – редко когда с энтузиазмом, все больше с деланным энтузиазмом или с участием, во всяком случае, всегда оставаясь в рамках цивилизованной вежливости, – а вот Морини вкладывал в разговор всю душу, словно бы не было у него занятия важнее; за этим разговором следовал через два или три дня или через несколько часов другой, похожий, только Эспиноса звонил Нортон, а та звонила Пеллетье, а тот набирал номер Морини, и через несколько дней цикл начинался заново, трансмутируя в тайный, доступный лишь спе-

циалистам код, чьи означаемое и означающее исходили и возвращались к Арчимбольди, к его тексту, подтексту и паратексту, реконкисте вербального и телесного на финальных страницах «Битциуса», что для данного случая было эквивалентно разговорам о кино, или проблемах кафедры немецкого, или тучах, которые неустанно, днем и ночью, проплывали над их родными городами.

Они снова встретились на коллоквиуме по послевоенной европейской литературе – тот проходил в Авиньоне в конце 1994 года. Нортон с Морини приехали в качестве слушателей, впрочем, поездку на конференцию им оплатил университет, а Пеллетье и Эспиноса выступили с докладами о важности творчества Арчимбольди для современной культуры. Француз сосредоточился на характерной для писателя изолированности, на столь очевидном и украшающем все книги Арчимбольди разрыве с немецкой традицией – чего нельзя сказать о традиции европейской. Доклад испанца – кстати, одна из самых занимательных его работ – был посвящен тайне, окутывающей фигуру Арчимбольди: о нем никто – даже его издатель – не знал ничего, его книги выходили без фотографии автора на клапане суперобложки или на задней стороне обложки, биографические данные практически отсутствовали (немецкий писатель, родился в Пруссии в 1920 году), где он живет – тоже неизвестно, впрочем, однажды издатель, давая интервью «Шпигелю», проговорился, что получил одну из рукописей с Сицилии; никто из все еще живущих коллег никогда его не видел, ни одной биографии на немецком не издавалось, и это несмотря на то, что книги его продавались все лучше и лучше не только в Германии, но и в остальной Европе и даже в Соединенных Штатах, где публике нравятся писатели-невидимки (пропавшие без вести или миллионеры) или легенды о таковых и где его творчество пользовалось успехом и набирало популярность не только на кафедрах немецкой филологии университетов, но и в их кампусах и даже за пределами кампусов – в огромных городах, где больше любили устную или визуальную литературу.

По вечерам Пеллетье, Морини, Эспиноса и Нортон отправлялись вместе ужинать; иногда к ним присоединялись один или несколько филологов-германистов, с которыми они уже несколько лет как были знакомы, но те или уходили пораньше спать в свои гостиницы, или оставались до конца вечера, но скромно держались на вторых ролях, словно бы понимали: вот эта четырехугольная фигура, которую составляли архимбольдисты – она не примет внутрь никого более, а кроме того, в этот поздний час эти четверо вполне могут напасть на незадачливого собеседника, пытающегося разрушить сложившийся статус-кво. В конце концов они оставались одни и вчетвером бродили по авиньонским улицам – беззаботные и счастливые, как тогда, когда гуляли по темным и застроенным чиновничьими зданиями улицам Бремена, и как будут бродить по самым разным улицам, которые уже приготовило для них будущее: коляску Морини катила Нортон, Пеллетье шел слева, а Эспиноса справа, или коляску катил Пеллетье, Эспиноса шел слева, а Нортон перед ними, пятясь лицом к ним и хохоча, как хохочут в двадцать шесть, когда вся жизнь впереди, и на этот заразительный смех сложно было не ответить таким же смехом, хотя они бы с большим удовольствием не смеялись, а смотрели и смотрели на нее; или же они выстраивались бок о бок перед невысокой оградой, за которой текла легендарная река, уже укрощенная, а не дикая, и болтали о немецкой одержимости порядком, не перебивая друг друга, наслаждаясь интеллектуальной игрой, своей и собеседников, и вдруг замолкая, надолго, и это молчание не мог прервать даже дождь.

Когда Пеллетье вернулся в конце 1994 года из Авиньона, вошел в свою парижскую квартиру, бросил чемодан на пол и закрыл дверь, когда налил себе стакан виски, раздвинул занавески, за которыми обнаруживался все тот же привычный пейзаж – часть площади Бретей и в глубине здание ЮНЕСКО, – когда снял пиджак, оставил стакан на кухне и прослушал сообщения на автоответчике, когда понял, что хочет спать, и веки отяжелели, но не лег и не уснул,

а вместо этого разделся и принял душ, включил компьютер и уселся перед ним в белом халате, доходившем ему почти до щиколоток, – только тогда он понял, что скучает по Лиз Нортон и отдал бы все, чтобы оказаться рядом с ней, и не ради разговора, а в постели, чтобы сказать: я тебя люблю, и из ее уст услышать: да, я тоже люблю тебя.

Что-то подобное испытывал и Эспиноса, но с Пеллетье у него не совпадали два момента. Во-первых, он почувствовал необходимость оказаться рядом с Лиз Нортон еще до того, как вернулся в свою мадридскую квартиру. Уже в самолете он понял: это его идеальная женщина – та, кого он всю жизнь искал, – и начал страдать. Во-вторых, в мыслях об англичанке, которые проносились у него в голове со сверхзвуковой быстротой (все это случилось, пока он летел в самолете со скоростью 700 километров в час курсом на Испанию), – так вот, в этих его мыслях сексуальных сцен было побольше: не слишком много, но определенно больше, чем у Пеллетье.

Напротив, Морини, ехавший в поезде Авиньон – Турин, провел время путешествия за чтением культурного приложения «Иль Манифесто», а потом уснул и открыл глаза, лишь когда кондукторы (они потом помогли ему спустить коляску на перрон) сообщили, что он приехал.

А вот про мысли, которые проносились в голове у Нортон, лучше вообще не говорить.

Тем не менее архимбольдисты продолжили оставаться друзьями как ни в чем не бывало, ибо дружбой их повелевало предназначение большее, чем личные желания каждого, – а судьбе надобно повиноваться.

В 1995 году они встретились на конференции «Диалог о современной литературе» в Амстердаме, где их, естественно, интересовала секция немецкой литературы; одновременно в том же здании (хоть и в разных аудиториях) шли заседания секций французской, английской и итальянской литературы.

Излишним будет сказать, что бóльшая часть присутствующих на столь занимательных заседаниях направилась в зал, где шла дискуссия о проблемах современной английской литературы, причем в соседнем зале заседала секция литературы немецкой, а разделяла их стена, как очевидно, вовсе не из камня, как в старые добрые времена, а из покрытых штукатуркой хрупких кирпичиков, так что вопли и завывания, и в особенности аплодисменты, которые срывала литература английская, слышались в аудитории литературы немецкой так же хорошо, как если бы заседания обеих секций проходили в одном и том же помещении или англичане над ними смеялись, а может, даже бойкотировали, не говоря уж о публике, которая прямо-таки рвалась на секцию английской (или англо-индийской) литературы и превосходила числом редких и мрачных слушателей, которые приходили на дискуссию о немцах. Что, в конечном счете, оказалось весьма полезным, ибо всем известно, что разговор, в котором участвуют немногие и где все внимательно выслушивают друг друга, размышляют над сказанным и никто не кричит, – обычно более продуктивный и в самом худшем случае – более раскрепощенный, чем диалог в толпе, который постоянно грозит переродиться в митинг или, поскольку времени у выступающих в обрез, в сплошные лозунги, что появляются и тут же бесследно исчезают.

Но прежде чем мы перейдем к главному вопросу повестки дня, в смысле диалога, нужно уточнить кое-что совсем не банальное касательно результатов конференции. Организаторы – те самые, которые оставили без внимания современную испанскую (польскую и, скажем, шведскую) литературу в связи с отсутствием средств или, скажем, времени, – на манер предпоследнего каприза взяли и ухнули бóльшую часть денег на то, чтобы пригласить (и как пригласить – со всей прилагающейся роскошью!) звезд английской литературы, а на оставшиеся деньги привезли трех французских романистов, итальянских поэта и сказочника, ну и трех немецких писателей: первые двое – романисты из Западного и Восточного Берлина, теперь воссоединившихся, – пользовались некоторой известностью (и приехали в Амстердам на поезде и не стали протестовать, когда их поселили во всего лишь трехзвездочную гостиницу), а третий оказался

существом неясного вида и звания, так что о нем никто не знал ничего, даже Морини, а уж Морини-то современную немецкую литературу знал прекрасно, в диалоге или без него.

Этот неясный литератор, шваб по происхождению, в ходе лекции (или диалога, как кому больше нравится) ударился в воспоминания о своем жизненном плаваньи: как работал журналистом, как уснащал последними новостями культурные колонки, как вел собеседования с разного калибра творцами, а все они терпеть не могли собеседования; а затем он стал перебирать в памяти события времени, когда он был ответственным за культурные мероприятия в мэриях заштатных (откровенно говоря, всеми позабытых) городков, где, тем не менее, хватало охочей до культурного досуга публики, и вот тут, вдруг, безо всякого повода, он взял и упомянул Арчимбольди (возможно, на него так подействовал предшествующий круглый стол, который модерировали Эспиноса с Пеллетье), и выяснилось, что они познакомились как раз в то время, когда неясный литератор двигал культуру в одном фризском городке к северу от Вильгельмшейвена, у побережья Северного моря и напротив Восточно-Фризских островов, и там было холодно, очень холодно, и мало того что холодно, так еще и влажно, да, там царила эта соленая от моря, пробирающая до костей влажность, и зиму там можно было пережить лишь двумя способами: первый – упиться до цирроза печени, второй – посиживать в актовом зале мэрии, то слушая музыку (обычно там выступали камерные квартеты из музыкантов-любителей), то беседуя с литераторами из других городов, которым платили очень мало, селили в комнатку единственного в городке пансиона, плюс выдавали несколько марок, что покрывало расходы на путешествие поездом туда и обратно, а те поезда были не нынешнем чета, однако ж в них пассажиры были разговорчивее, воспитаннее, внимательнее к ближнему, – одним словом, с этим гонораром и с оплаченными билетами на поезд литератор уезжал из тех мест и возвращался домой (впрочем, какой там дом, зачастую это была комнатка в гостинице Франкфурта или Кельна) с кое-какими деньгами в кармане, к тому же им часто удавалось продать несколько своих книжек, потому что эти писатели и поэты – и в особенности поэты, – прочитав несколько страниц из своих виршей и ответив на вопросы жителей городка, ставили там, как говорится, ларек и зарабатывали еще несколько марок сверх гонорарных, и всем это очень нравилось, потому что если людям приходилось по душе то, что писатель читал, или если чтение бредило душу, или развлекало, или заставляло задуматься, – что ж, тогда они покупали какую-то из его книг на память об удавшемся вечере, в то время как по закоулкам фризского городка гулял и свистел ветер, и холод пробирал до костей; а иногда чтобы прочитать и перечитывать какое-нибудь стихотворение или рассказ, уже у себя дома несколько недель спустя и время от времени при свете керосиновой лампы, потому что часто отключали электричество, это тоже понятно: война всего ничего как закончилась, социальные и экономические раны еще кровоточили словом, тогдашние литературные чтения очень походили на нынешние, единственно, книги с тех лотков издавались за счет автора, а сейчас этим всем занимаются издательства, так вот, один из авторов, что приехал в городок, где наш шваб отвечал за культуру, был Бенно фон Арчимбольди, писатель такой же величины, как Густав Хеллер, Райнер Кюхль или Вильгельм Фрайн (Морини потом перелопатил энциклопедию немецкой литературы в поисках этих имен – и напрасно), и он не привез книги, но прочитал две главы из пишущегося романа, второго по счету, а первый, припомнил шваб, он уже издал в том году в Гамбурге, и вот из него он ничего не прочитал, а этот первый роман тем не менее был не фикцией, сказал шваб; Арчимбольди, видимо заранее решив развеять возможные подозрения, привез с собой экземпляр, такую тоненькую книжицу, страниц на сто, максимум – на сто двадцать – сто двадцать пять, и книжку он носил в кармане куртки, и вот же какая странность: шваб лучше запомнил куртку Арчимбольди, чем засунутый в ее карман роман, даже не роман – романчик, в грязной и помятой обложке, которая раньше была интенсивного цвета слоновой кости, или побледневшего пшенично-желтого, или исчезающе золотистого, а теперь никакого цвета с никаким оттенком, разглядеть можно было лишь имя автора, название романа и издательский штамп;

а вот куртка – о, ту куртку невозможно забыть: она была кожаная, черная, с высоким воротником, прекрасно защищала от снега, дождя и холода, свободно сидела, так что под нее можно было надевать толстый свитер или даже два, и никто бы их не заметил под курткой, и там еще было с каждой стороны по горизонтальному карману, и ряд из четырех пуговиц, пришитых, похоже, леской от удочки, не слишком больших и не слишком маленьких, – в общем, куртка та вызывала воспоминания, уж не знаю почему, о том, как одевались полицейские из гестапо, хотя, с другой-то стороны, в то время черные куртки были на пике моды и все, у кого хватало денег купить такую, и все, кто ее унаследовал, носил куртку и в ус не дул насчет всяких там воспоминаний; так вот, этот писатель, что приехал во фризский городок, в общем, это был Бенно фон Арчимбольди, ему тогда исполнилось лет двадцать девять или тридцать, и это был именно я, говорил шваб, именно я отправился его встречать на станцию и отвез потом в пансион, а пока ехали, они разговаривали о климате, какой он здесь ужасный, а потом он привел его в мэрию, где Арчимбольди никакого лотка не поставил и прочитал две главы из еще не оконченного романа, а потом они ужинали в местном ресторанчике, там еще присутствовали школьная учительница и некая овдовевшая дама, которая предпочитала музыку и живопись литературе, но, будучи в ситуации отсутствия музыки и живописи, не впадала в прострацию, а вовсе даже наслаждалась литературным вечером, и вот эта дама, именно она, приняла основной удар на себя и занимала гостя разговором за ужином (сосиски с картошкой под пиво – простовато, но время, говорил шваб, было такое, да и денег мэрия выделяла в обрез), хотя, наверное, про удар – это не слишком точная формулировка, это была скорее дирижерская палочка, рулевое весло беседы, и сидевшие за столом мужчины – секретарь мэра, джентльмен, торговавший соленой рыбой, старичок учитель, засыпающий на ходу и даже с вилкой в руке, и служащий мэрии, милый юноша по имени Фриц, они с ним давно сдружились, – так вот, все они кивали и не осмеливались вступить в спор с грозной вдовой, тем более что она разбиралась в искусстве получше них всех, в том числе лучше меня, говорил шваб, путешествовала по Италии и Франции, а в 1927 или 1928 году, в одной из поездок (о, это был незабываемый круиз) добралась даже до Буэнос-Айреса, а в те времена город был Меккой торговцев мясом, из порта один за другим выходили суда с холодильными установками на борту, и это было достойное внимания зрелище, сотни кораблей приходили туда пустыми и выходили загруженные тоннами мяса, куда только они не плыли, и когда она, в смысле дама, показывалась на палубе, например ночью, и ее мучили сонливость, или боль, или морская болезнь, стоило ей облокотиться на леер и дать глазам время привыкнуть – вид на порт становился потрясающе красивым и мгновенно излечивал кого угодно, прогоняя дремоту, или тошноту, или остаточную боль – у нервной системы хватало ресурса лишь на то, чтобы сдать на милость этого образа: перед глазами у нее проходили муравьиной цепочкой иммигранты, затаскивающие в трюмы кораблей мясо тысяч мертвых коров, плыли в воздухе поддоны, нагруженные мясом принесенных в жертву телят, и каждый уголок порта окрашивался нежным цветом, и эта легкая завеса висела над гаванью с рассвета до заката, а иногда и ночами, и то был цвет стейка с кровью, стейка на кости, цвет вырезки, цвет ребер, которые едва-едва прижарили на гриле, какой ужас, слава богу, дама, тогда еще не вдова, видела все это лишь в первую ночь, а потом они сошли с корабля и остановились в одном из самых дорогих отелей Буэнос-Айреса, и они пошли в оперу, а потом отправились в имение, где ее муж, опытный наездник, принял предложение сына хозяина, и они соревновались в скачке, и сын хозяина проиграл, а потом ее супруг соревновался с одним из пеонов, гаучо, тот был доверенным человеком хозяйского сына, и пеон тоже проиграл, а потом они скакали наперегонки с сыном этого гаучо, мальчишкой шестнадцати лет, тоже пастухом, и парнишка был худ как соломинка, и в глазах его таилась живая искра, да такая яркая, что, когда дама на него посмотрела, тот опустил голову, потом чуть приподнял ее, и во взгляде его полыхнула такая злоба, что дама почувствовала себя оскорбленной: что ж такое, еще сопляк, а уже какой наглый, а супруг ее хохотал и говорил по-немецки:

«Смотри, ты произвела неизгладимое впечатление на мальчика», и эта шутка ей совершенно не нравилась; а потом парнишка вскочил на лошадь, и они помчались, и как же хорош он был в галопе, как низко он склонялся над гривой коня, с какой страстью прижимался к его шее, и пот лил градом, и он нахлестывал, нахлестывал коня... и все-таки ближе к финалу супруг вырвался вперед и пришел первым – не зря же он отслужил свое капитаном кавалерийского полка; потом хозяин имения и его сын поднялись со стульев и заплотировали – они умели проигрывать достойно, – и к их аплодисментам присоединились остальные гости: отличный наездник этот немец, просто замечательный; вот только когда пастушок домчал до финиша, в смысле до крыльца, он, судя по выражению лица, на достоинство плевать хотел и, злобно набывшись, не скрывал досады; тем временем мужчины, переговариваясь на французском, разбрелись в поисках холодного шампанского, а дама подошла к мальчишке, который остался в одиночестве; левой рукой тот держал коня под уздцы – отец его, кстати, успел отойти далеко, к другой стороне длинного патио, он вел в стойло коня, на котором скакал немец, – а она на непонятном языке говорила мальчишке, что не надо так огорчаться, что он отличный наездник, просто ее муж тоже прекрасно умеет ездить верхом, да и опыта у него побольше, а пастушку до слов этих было как до луны, как до облаков, что плывут и закрывают луну, как до грозы, что никак не кончается, и тогда пастушок посмотрел на сеньору снизу вверх, да так хищно – во взгляде мальчишки читалась готовность всадить ей нож в живот, прямо на уровне пупка, а потом вспороть ее до грудей словно рыбу, а в глазах неопытного мясника она заметила странный блеск, и все это прекрасно сохранила память дамы, но тем не менее, когда он взял ее за руку и повел к другому углу дома, она пошла за ним не сопротивляясь, и так они дошли до места, где стояла высокая пергола из кованого железа, а вокруг нее цветочные клумбы и деревья, которых дама в жизни никогда не видела – ну или в тот момент ей казалось, что никогда не видела – а еще там она увидела самый настоящий фонтан, каменный, а в центре на одной лапке застыл танцующий креольский ангелочек с улыбкой на лице, наполовину европейский, наполовину каннибальский, вечно омываемый тремя ручейками воды, что пробивались у его ног, и был он изваян из цельного куска черного мрамора, так что сеньора с пастушком долго стояли перед ним в восхищении, и тут подошла дальняя родственница хозяина усадьбы (или любовница, которую хозяин усадьбы потерял в одной из многих складок памяти) и командным равнодушным голосом сообщила по-английски, что ее, даму, повсюду разыскивает муж, и дама подошла и взяла ее под руку и уже направилась было прочь из зачарованного парка, как пастушок окликнул ее, ну или ей так показалось, и, когда она обернулась, он произнес несколько шепелявых слов, и дама погладила его по голове и спросила у кузины хозяина, что он сказал, а пальцы ее перебирали густые пряди мальчишкиной гривы, и кузина застыла в нерешительности, и тут дама, которая не выносила ложь и полуправду, потребовала, чтобы ей немедленно слово в слово перевели речь мальчика, и кузина сказала: пастушок сказал... пастушок сказал... что хозяин... все подготовил для того, чтобы ее муж выиграл два последних забега, а потом кузина замолчала, а мальчишка направился в другой конец парка, таща за узду свою лошадь, а дама присоединилась к остальным гостям, но уже не смогла отделаться от мыслей о том, в чем ей признался пастушок в святой своей простоте, и чем больше она думала, тем загадочнее ей казались слова мальчишки, и загадка эта отравила ей весь тот день, и терзала бессонной ночью, пока она ворочалась с боку на бок в постели, и испортила следующий день, когда они отправились на верховую прогулку, а потом жарили мясо на гриле, и вся в мыслях об этом дама возвратилась в Буэнос-Айрес, и те мысли не покидали ее все время, что она провела в отеле или на приемах в посольстве Германии, или посольстве Англии, или в посольстве Эквадора, и отгадка нашлась, только когда корабль курсом на Европу уже находился в нескольких днях пути от Буэнос-Айреса, и случилось это ночью, в четыре утра, когда дама вышла из каюты, чтобы прогуляться по палубе, и она не знала и даже не хотела знать, на какой они сейчас параллели и на каком меридиане, и ее окружали – или наполовину окружали – 106 200 000 квад-

ратных километров соленой воды, и вот именно тогда, когда дама на первой палубе первого класса закурила сигарету, впиваясь взглядом в простирающийся до горизонта океан, который она не видела, но слышала, так вот, та загадка чудесным образом разрешилась, и именно тогда, на этом месте, сказал шваб, дама, некогда богатая, могущественная и умная (во всяком случае, на свой лад) фризская дама, замолчала и в убогой немецкой послевоенной таверне воцарилось молитвенное – нет, хуже того, суеверное – молчание, и все сидели и мялись, и чувствовали себя все более некомфортно; тогда все принялись подскребать с тарелок остатки сосисок и картошки и допивать последние капли из пивных кружек, словно бы все боялись, что дама вдруг возьмет и завоюет как эриния, так что имеет смысл набить животы и быть готовым выйти на холодную улицу и пройти по ней до самого своего дома.

И тут дама заговорила. Она сказала:

– Кто-нибудь здесь способен разгадать эту загадку?

Она это произнесла, но ни на кого не глядела и ни к кому конкретно не обращалась.

– Кто-нибудь здесь знает отгадку? Кто-нибудь здесь способен ее понять? Есть здесь кто-нибудь из местных, что способен сказать это, пусть бы и мне на ухо?

Все это она произнесла, не отрывая глаз от своей тарелки, где сосиска и картошка пребывали практически нетронутыми.

И тут Арчимбольди, который все время, пока сеньора говорила, сидел опустив голову и ел, сказал, не поднимая голоса: они это сделали гостеприимства ради, хозяин имения и его сын предполагали, что супруг дамы проиграет первый забег, и потому решили подыграть бывшему капитану кавалерии во втором и третьем. Тут дама посмотрела ему в глаза и засмеялась и спросила: как же ее супругу удалось выиграть в первом забеге?

– Так как же, как же? – спросила она.

– В последнее мгновение сын хозяина имения, – проговорил Арчимбольди, – который, вне сомнения, ездил верхом лучше супруга дамы, да и конь у него был получше, – одним словом, сын хозяина вдруг почувствовал то, что мы называем состраданием. То есть он, в духе праздника, который они с отцом закатили, решил – да, это мотовство, но пусть гость забирает все, включая победу в забеге, и как-то так вышло, что все поняли: да, так и должно быть, это поняла в том числе и женщина, которая пошла за вами в парк. Не понял только пастушок.

– И все? – спросила дама.

– Для пастушка – нет, не все. Думаю, что, если бы вы пробьли с ним немногим долее, он бы вас убил – и это тоже было бы широким жестом, чистой воды мотовством – вот только не в том смысле, который ему придавали хозяин имения и его сын.

Затем сеньора поднялась, поблагодарила всех за прекрасный вечер и ушла.

– Через несколько минут, – сказал шваб, – я вышел, чтобы проводить Арчимбольди до его пансиона. А когда следующим утром зашел, чтобы проводить на вокзал, его уже не было.

– Какой замечательный человек этот шваб, – сказал Эспиноса.

– Оставьте его мне! Мне тоже такой шваб нужен, – сказал Пеллетье.

– Только не наседайте, не показывайте, что слишком уж заинтересованы, – предостерег Морини.

– Надо бы с этим человеком как с хрустальной вазой обращаться, – добавила Нортон. – В смысле, нежно.

Однако все, что хотел сказать, шваб уже сказал, и, хотя они его и так и эдак умасливали, приглашали на обед в лучший ресторан Амстердама, хвалили его и разговаривали с ним о гостеприимстве и о мотовстве и о судьбе ответственных за культурные мероприятия в крохотных провинциальных мэриях, он больше не сказал ничего интересного; все четверо бережно ловили и записывали каждое его слово, как будто встретили своего пророка Моисея – шваб, кстати, это понял, но не расслабился, а, наоборот, еще больше застенялся (кстати, ответствен-

ному за культуру, пусть и бывшему, подобная стеснительность была бы совершенно не свойственна, так что Эспиноса и Пеллетье еще больше уверились, что шваб – обычный пройдоха), следил за словами, чтобы не сказать лишнего, и был сдержан до такой степени, словно за ним мрачной тенью вставала *омерта* старого нациста, от которого пахнет волком.

Две недели спустя Эспиноса и Пеллетье взяли несколько дней за свой счет и отправились в Гамбург – хотели встретиться с издателем Арчимбольди. Их принял шеф-редактор – тощий, высокий, с прямой спиной, которая добавляла ему роста, лет примерно шестидесяти; фамилия его была Шнелль, что по-немецки значит «быстро», хотя этот Шнелль был совсем не быстрый, а скорее даже очень медленный. Волосы у него были прямые, темно-каштановые и едва тронутые на висках сединой, так что выглядел он очень молодо. Когда он поднялся, чтобы пожать им руки, и Эспиноса, и Пеллетье разом подумали, что он гомосексуал.

– Этот педик до невозможности похож на угря, – заметил потом, когда они уже гуляли по Гамбургу, Эспиноса.

Пеллетье попенял ему за гомофобное замечание, однако в глубине души был с ним согласен: этот Шнелль действительно походил на угря – рыбу, которая плавает в темной воде над илистым дном.

Естественно, он практически не сумел добавить ничего нового к тому, что они и так уже знали. Шнелль никогда не видел Арчимбольди, суммы, каждый раз бóльшие, чем предыдущие, которые набегали от издания книг и переводов, он переводил на номер счета в швейцарском банке. Каждые два года издательство получало письмо с инструкциями, обратный адрес там был итальянский, хотя в архивах издательства хранились письма с греческими, испанскими и марокканскими марками, но эти письма, с другой стороны, приходили на имя хозяйки издательства, госпожи Бубис, и он, по понятным причинам, их не читал.

– В издательстве осталось только два человека – не считая, естественно, госпожи Бубис, – которые лично знали Бенно фон Арчимбольди, – сказал им Шнелль. – Это глава отдела по связям с прессой и заведующая корректорским отделом. Когда я сюда пришел, Арчимбольди уже давно пропал из виду.

Пеллетье и Эспиноса попросили разрешения поговорить с обеими женщинами. Кабинет ответственной за прессу был полон фотографий, причем не всегда авторов издательства, и растений. О пропавшем авторе она сказала – «хороший он был человек».

– Высокий, очень высокий мужчина, – говорила она. – Когда покойный господин Бубис шел рядом с ним, они походили на «Ти». Или на «Ли».

Эспиноса и Пеллетье вначале не сообразили, о чем речь, и ответственная за прессу нарисовала им на бумажке большую «Л», а за ней «и». Хотя нет, лучше «Ле». Вот так. И на той же бумажке вывела:

Ле.

– «Л» – это Арчимбольди, а «е» – это покойный господин Бубис.

А потом рассмеялась и долго, откинувшись на спинку офисного кресла, смотрела на профессоров и молчала. Потом они поговорили с завом корректорского отдела. Ей было примерно столько же лет, сколько и ее коллеге, однако эта дама явно уступала ей в веселости.

Она сказала: да, действительно, я знала Арчимбольди, но это было так давно, что сейчас не припомнить ни лица, ни манеры держаться, ни какой-нибудь интересной байки. Она не помнила, даже когда в последний раз Арчимбольди заходил в издательство. И еще порекомендовала поговорить с госпожой Бубис, а потом, не попрощавшись, вообще ничего не сказав, переключилась на просмотр гранок, беседы с другими корректорами и звонки по телефону людям, которые, как с состраданием подумали Эспиноса с Пеллетье, были, наверное, перевод-

чиками. Перед уходом они, все еще отказываясь сдать, вернулись к Шнеллю и рассказали о запланированных на ближайшее будущее встречах и коллоквиумах, посвященных творчеству Арчимбольди. Шнелль, весь внимательность и сердечность, сказал, что они могут на него рассчитывать в делах любого толка.

Больше дел у них не оставалось – ну, кроме ожидания вылета самолетов, которые перенесли бы их в Париж и Мадрид, – поэтому Пеллетье и Эспиноса решили прогуляться по Гамбургу. Гуляя, они, как и следовало ожидать, забрели в район борделей и пип-шоу, и тут ими овладела меланхолия, и они принялись рассказывать друг другу о ранах неразделенной любви и разочарованиях. Понятное дело, они не называли никаких имен и дат, и разговор у них вышел, так сказать, абстрактный, но так или иначе, несмотря на делано равнодушный тон этих рассказов, беседа и маршрут прогулки погрузили их в меланхолию еще глубже, настолько глубоко, что через пару часов они почувствовали, что задыхаются.

Они взяли такси и по дороге в гостиницу не проронили ни слова.

Однако в отеле их ждал сюрприз. На стойке администратора лежала адресованная им обоим записка с подписью Шнелля. Тот писал, что после их утренней встречи счел необходимым поговорить с госпожой Бубис, и та согласилась их принять. Следующим утром Эспиноса и Пеллетье прибыли в ее квартиру, располагавшуюся на четвертом этаже старинного дома в хорошем районе Гамбурга. Ожидая выхода дамы, они рассматривали развешанные на стене фотографии в рамках. На двух других стенах висели полотна – картина Сутина и картина Кандинского, а также несколько рисунков Гроша, Кокошки и Энсора. Однако Эспиносу с Пеллетье больше заинтересовали фотографии – людей с них они либо презирали, либо боготворили, но в любом случае читали – Томас Манн с Бубисом, Генрих Манн с Бубисом, Клаус Манн с Бубисом, Альфред Дёблин с Бубисом, Герман Гессе с Бубисом, Вальтер Беньямин с Бубисом, Анна Зегерс с Бубисом, Арнольд Цвейг с Бубисом, Бертольд Брехт с Бубисом, Лион Фейхтвангер с Бубисом, Рикарда Хух с Бубисом, Оскар Мария Граф с Бубисом – тела и лица и размытый фон, все фото в прекрасных рамках. Запечатленные на них люди с невинностью мертвых, которых уже не тревожит, смотрит на них кто-нибудь или нет, наблюдали за едва сдерживаемым энтузиазмом двух университетских профессоров. Когда госпожа Бубис появилась в комнате, оба, сблизив головы, пытались выяснить, кто на этот раз позирует с Бубисом на фото – Фальяда или нет.

Да, это действительно Фальяда, сказала им госпожа Бубис; одета она была строго – белая блузка и черная юбка. Развернувшись, Пеллетье и Эспиноса оказались лицом к лицу с пожилой женщиной с фигурой, напоминающей, как потом признался Пеллетье спустя некоторое время, Марлен Дитрих, женщиной, которая, несмотря на возраст, сохранила в неприкосновенности свою решимость, женщиной, которая не цеплялась за края пропасти, а падала в нее – с любопытством и элегантностью. Женщиной, которая даже в пропасть падала, удобно устроившись.

– Мой супруг знал всех немецких писателей, а немецкие писатели любили и уважали моего супруга, хотя потом некоторые говорили про него ужасные вещи, а некоторые – и вовсе... непероверенные, – ответила с улыбкой госпожа Бубис.

Они заговорили об Арчимбольди, и госпожа Бубис попросила принести пирожные и чай, хотя сама выпила водки; и вот это удивило Эспиносу и Пеллетье – нет, не потому, что дама начала пить так рано, а потому, что могла бы и предложить стопочку; правда, им все равно пришлось бы отказаться.

– Единственный человек в нашем издательстве, который досконально разбирался в творчестве Арчимбольди, – сказала госпожа Бубис, – был господин Бубис. Он ведь опубликовал все его книги.

Но она все спрашивала себя (а заодно и их): до какой степени человек способен разобратся в творчестве другого человека?

– Я, к примеру, страстно люблю Гроша, – сказала она и показала на висевшие на стене рисунки Гроша, – но... действительно ли я разбираюсь в его творчестве? Меня очень веселят его сюжеты, и время от времени мне даже кажется, что Грош рисовал их специально для меня, чтобы я смеялась, а иногда я не просто смеюсь, а хохочу, хохочу до слез, безудержно, но как-то мне случилось познакомиться с одним искусствоведом, которому, конечно, тоже нравился Грош – и тем не менее он, всякий раз, когда посещал выставку его творчества или по профессиональным причинам должен был изучить какое-нибудь полотно или рисунок, впадал в депрессию, глубокую, и приступы этой депрессии или грусти длились неделями. Этот искусствовед был моим другом, хотя мы никогда не говорили о Гроше. Тем не менее однажды я рассказала ему, что чувствую. Поначалу он просто не смог в это поверить. Затем покачал головой. Потом оглядел меня снизу доверху, словно бы впервые видел. Я решила, что он сошел с ума. Так вот, наша дружба кончилась, он порвал со мной навсегда. Некоторое время назад мне сказали, что он до сих пор ходит и рассказывает, что я ничего не понимаю в творчестве Гроша и что у меня эстетический вкус как у коровы. Ну и ладно, пусть говорит, что ему заблагорассудится. Я от Гроша смеюсь, он впадает в депрессию, но... кто разбирается в творчестве Гроша на самом деле?

– Давайте предположим, – продолжила госпожа Бубис, – что в этот момент в дверь звонят и на пороге стоит мой старый друг искусствовед. Садится сюда, на диван, рядом со мной, и один из вас вынимает рисунок без подписи, клянется, что это Грош и что он хочет продать его. Я смотрю на рисунок, улыбаюсь, достаю свою чековую книжку и покупаю его. Искусствовед глядит на рисунок и не впадает в депрессию. И начинает переубеждать меня! Для него это не рисунок Гроша. Для меня – рисунок Гроша. Так кто же из нас прав?

– Или давайте зайдем с другой стороны. Вы, – тут госпожа Бубис указала на Эспиносу, – вынимаете рисунок без подписи и говорите, что это Грош и вы хотите его продать. Я не смеюсь, холодно оглядываю его, оцениваю линии, ритм, сатирический заряд, но... ничего в этом рисунке не вызывает во мне радости. Искусствовед внимательно его оглядывает и, как ему свойственно, тут же впадает в депрессию и говорит, что хочет его купить, хотя сумма ему не по карману, но он согласен, и впереди его ждут долгие вечера, когда он будет смотреть на рисунок и погружаться в меланхолию. Я пытаюсь разубедить его. Говорю, что авторство сомнительно, потому что мне не смешно. Искусствовед отвечает, что мне уже давно пора было посмотреть на Гроша глазами взрослого человека, и поздравляет меня. Так кто же из нас двоих прав?

Затем разговор снова перешел на Арчимбольди, и госпожа Бубис показала им прелюбопытнейшую рецензию, которую опубликовала какая-то берлинская газета после того, как в свет вышел «Люди́ке», первый роман Арчимбольди. Автором рецензии указывался некий Шлейермахер, и он пытался описать личность романиста с помощью нескольких слов.

Умственное развитие: среднее.

Характер: эпилептический.

Культурное развитие: беспорядочное.

Воображение: хаотическое.

Просодия: хаотическая.

Владение языком: хаотическое.

Среднее умственное и беспорядочное культурное развитие еще как-то можно было понять. Но что он хотел сказать, написав «характер: эпилептический»? Что Арчимбольди страдает эпилепсией, что у него не все ладно с головой, что у него случаются припадки неизвестной науке природы, что он компульсивный читатель Достоевского? В рецензии про внешность и прочие телесные параметры вообще не говорилось...

– Мы так и не узнали, кто был этот Шлейермахер, – сказала госпожа Бубис. – Однако время от времени покойный супруг мой шутил: это, мол, сам Арчимбольди написал. Но и он, и я прекрасно знали, что это не так.

Ближе к полудню – когда приличные люди уже откланиваются – Пеллетье и Эспиноса наконец осмелились задать единственный вопрос, казавшийся им важным: «Могла бы госпожа помочь им связаться с Арчимбольди?» Глаза сеньоры Бубис вспыхнули. «Да так, словно в них отразился пожар», – рассказывал потом Пеллетье Лиз Нортон. Не пожар в своем пламенном апогее, а некое подспудное, длившееся несколько месяцев горение, которое постепенно угасало. «Нет» сеньоры Бубис они прочитали в том, как она легонько покачала головой, – и Пеллетье с Эспиносой разом осознали бесполезность просьб.

Они посидели еще немного. Откуда-то из глубины дома до них доносилась музыка – какая-то народная итальянская песенка. Эспиноса спросил, были ли они знакомы, не встречалась ли она лично с Арчимбольди в годы, предшествующие смерти супруга? Госпожа Бубис ответила, что да, и промурлыкала припев песенки. Оба друга отметили, что итальянским она владела прекрасно.

– Как выглядит Арчимбольди? – спросил Эспиноса.

– Он очень высокий, – ответила госпожа Бубис. – Очень высокий, человек поистине небольшого роста. Если бы он родился сейчас – играл бы в баскетбол.

Однако сказано это было таким тоном, что сразу становилось понятно: ей все равно, высокий он или карлик. По дороге в гостиницу оба друга думали о Гроше и хрустальном и жестоком смехе госпожи Бубис, о том, какое впечатление на них произвел дом, увешанный фотографиями писателей, среди которых не нашлось единственного фото, которое их интересовало. И хотя оба отвергли саму мысль об этом, они понимали (возможно, интуитивно чувствовали): озарение, которое приоткрылось им в квартале проституток, важнее откровения – каким бы оно ни было, – которое они предчувствовали в доме госпожи Бубис.

Одним словом, сказанным с чистым сердцем, Пеллетье и Эспиноса, гуляя по Санкт-Паули, обнаружили, что поиски Арчимбольди – это не то, чем можно заполнить целую жизнь. Да, они могли читать его, изучать, анализировать, но умирать со смеху или впадать в депрессию – нет, не могли: отчасти потому, что тот всегда находился далеко, отчасти из-за того, что проза Арчимбольди по мере того, как в нее погружаешься, пожирает своих исследователей. Одним словом: Пеллетье и Эспиноса поняли в Санкт-Паули и после в доме, украшенном фотографиями покойного господина Бубиса и его авторов, что хотят заниматься любовью, а не войной.

Вечером они уже не позволяли себе такого рода откровенность, то есть позволяли откровенность, но только если это было совершенно необходимо, в смысле, что то были разговоры на общие темы, можно даже сказать – абстрактные; в аэропорт они взяли одно такси на двоих и, ожидая посадки на свои рейсы, говорили о любви, о необходимости любви. Пеллетье улетел первым. Эспиноса остался в одиночестве – его самолет улетал через полчаса – и вдруг начал думать о Лиз Нортон и о реальных возможностях влюбить ее в себя. Он представил ее, а потом представил себя: вот они вместе, в одной квартире в Мадриде, вот они ходят за продуктами, оба работают на немецкой кафедре, он представил свой кабинет, а за стеной – ее кабинет, представил мадридские вечера, как он гуляет с ней под руку, как они ходят по хорошим ресторанам в компании друзей, а потом возвращаются домой, а там их ждут огромная ванна и огромная кровать.

Однако Пеллетье его опередил. Через три дня после их встречи с госпожой хозяйкой издательства, он, не предупредив заранее, прилетел в Лондон, рассказал Лиз Нортон все последние новости и... пригласил ее отужинать в ресторане в Хаммерсмите (ресторан некото-

рое время назад порекомендовал коллега с русской кафедры): там они ели гуляш и пюре из турецкого гороха со свеклой и рыбу, маринованную в лимоне с йогуртом, получилось очень романтично – такой ужин при свечах под аккомпанемент скрипки, с настоящими русскими и ирландцами, одетыми как русские; ужин вышел со всех точек зрения несколько гротескным, а с гастрономической точки зрения – бедноватым и сомнительным, впрочем, они всё запивали водкой, а также взяли бутылку бордоского, которая стоила как крыло от самолета; однако все это было не зря: после ужина Нортона пригласила его к себе, теоретически чтобы поговорить об Арчимбольди и скудных сведениях, которые удалось выжать из госпожи Бубис, а также о презрительном отзыве критика Шлейермахера на первый роман, а потом они расхохотались и Пеллетье поцеловал Нортона в губы, очень сдержанно, англичанка же ответила ему поцелуем гораздо более пылким – возможно, всему виной были водка с бордоским, но Пеллетье счел этот момент многообещающим, и они легли в кровать и трахались целый час – до тех пор, пока англичанка не уснула.

Той ночью, пока Лиз Нортона спала, Пеллетье припомнил давний вечер, когда они с Эспиной посмотрели в номере немецкой гостиницы фильм ужасов.

Фильм был японским, и в одной из первых сцен появлялись две девочки-подростка. Одна из них рассказывала историю: однажды мальчик поехал на каникулы в Кобе, и ему захотелось выйти на улицу поиграть с друзьями ровно в то время, когда по телевизору начиналась его любимая передача. И вот этот мальчик взял кассету, вставил ее в магнитофон, поставил его на запись, а потом ушел гулять. Но тут возникла проблема: мальчик был из Токио, и в Токио его программу передавали по каналу 34, а в Кобе канал 34 ничего не показывал, в смысле, он был пустой и там можно было увидеть только телевизионный «снег».

И вот мальчик вернулся домой, сел перед телевизором и включил видео, а вместо его любимой программы там оказалась женщина с белым лицом, и она сказала, что мальчик скоро умрет.

И все.

И тут зазвонил телефон, мальчик поднял трубку и услышал голос той самой женщины: та спросила, уж не думает ли он, что это просто шутка. А неделю спустя они нашли этого мальчика мертвым в саду.

И все это рассказывала одна девочка другой девочке, смеясь и хихикая. Вторая девочка явно испугалась. А вот первая, которая рассказывала историю, готова была вот-вот упасть на пол в корчах – до того ей было смешно.

И тут, припомнил Пеллетье, Эспиноса сказал: эта первая девка – обычная мелкая психопатка, вторая – дура ебучая, а фильм украсил бы эпизод, в котором вторая девчонка, вместо того чтобы кривиться, бояться и экзистенциально страдать, взяла бы и сказала первой: «Заткнись». Причем не так, как говорят воспитанные девочки, вежливо и культурно, а вот так: «Заткнись, сукина дочь, с чего ты тут хохочешь? Тебя что, возбуждают истории о мертвых детях? Ты что, кончаешь, что ли, когда тебе про мертвых детей рассказывают, хуева сосалка воображаемых членов?»

Ну и всякое такое прочее. Пеллетье также вспомнил, что Эспиноса говорил с невероятной горячностью, даже симитировал голос и манеру говорить второй девчонки: мол, вот так она должна была с первой разговаривать, и Пеллетье благоразумно предположил, что, перед тем как разойтись по своим номерам, надо бы выключить телевизор и спуститься с испанцем в бар и чего-нибудь выпить. А еще он вспомнил, как вдруг почувствовал что-то вроде нежности к Эспиносе, и нежность эта напомнила ему о том, как он сам был подростком, как пускался в приключения, зная, что друг не подведет, а еще напомнила, какие в провинции тихие вечера...

В течение той недели домашний телефон Лиз Нортон звонил три или четыре раза вечером, а мобильный – два или три раза по утрам. Звонили ей Пеллетье и Эспиноса – естественно, используя Арчимбольди для того, чтобы завести беседу, но где-то через минуту литературоведческие разговоры заканчивались и оба преподавателя начинали говорить о том, что их реально интересует.

Пеллетье рассказывал о коллегах по немецкой кафедре, о молодом швейцарском поэте и преподавателе, который раз за разом атаковал Пеллетье, чтобы тот поспособствовал ему в получении стипендии, о небе над Парижем (естественно, с упоминанием Бодлера, Верлена и Банвиля), о вечерних улицах, по которым катили автомобили с уже зажженными фарами. Эспиноса рассказывал о своей библиотеке, которую инспектировал в полном одиночестве, о далеком гуле барабанов, который иногда слышался, похоже, из квартиры на той же улице, а что, наверное, там целая группа африканских музыкантов живет, о разных районах Мадрида, о Лавапьес, Маласанья и окрестностях Гран-Виа, по которым можно безбоязненно гулять в любой час ночи.

В эти дни как Эспиноса, так и Пеллетье умудрились совершенно позабыть о существовании Морини. Только Нортон ему время от времени звонила, чтобы поговорить на все те же привычные темы.

Морини, как бы это выразить, превратился для них в совершеннейшего невидимку.

Пеллетье быстро привык наезжать в Лондон всякий раз, когда хотелось, – правда, тут нужно вот что принять во внимание: ему это было проще, чем остальным, ведь он жил недалеко и мог выбирать любое транспортное средство – благо, к его услугам их было в избытке.

Приезжал он всегда на одну ночь. В Лондон он прибывал после девяти, а в десять они с Нортон уже сидели за столиком ресторана, который он бронировал еще из Парижа, а в час ночи они уже оказывались вместе в постели.

Лиз Нортон была страстной любовницей, хотя ее приступы страсти длились недолго. В постели ей не хватало воображения, поэтому она с удовольствием предавалась всем сексуальным играм, которые предлагал испробовать любовник, и никогда не брала на себя инициативу, да и не желала этого. Обычно они занимались любовью не более трех часов, что иногда расстраивало Пеллетье – он-то был готов трахаться до самого рассвета.

После всего Нортон предпочитала разговаривать о делах академических, и вот это Пеллетье совсем не нравилось: с его точки зрения, логично было бы поговорить об их отношениях. Видимо, безразличие Нортон к этой проблеме, скорее всего, было чисто женским способом выстраивать психзащиты. Чтобы сломать между ними этот лед, Пеллетье решил рассказать ей о своих собственных любовных похождениях. Он составил длинный список женщин, с которыми имел дело, и предложил его вниманию застывшей в ледяном молчании – или безразличии – Нортон. Список не произвел на нее никакого впечатления, и ответного рассказа тоже не последовало.

По утрам, вызвав такси, Пеллетье бесшумно – чтобы не разбудить – одевался и уезжал в аэропорт. Уходя, он всегда оборачивался посмотреть на нее – как она, совсем одинокая, спит среди смятых простыней, и временами чувствовал себя настолько переполненным любовью, что едва мог сдерживать наворачивающиеся на глаза слезы.

Час спустя звонил будильник Лиз Нортон, и она тут же вскакивала с кровати. Принимала душ, ставила греться воду, пила чай с молоком, сушила волосы и принималась с огромной тщательностью изучать квартиру, словно ее мучил страх – а не утратила ли она что-то ценное во время этого ночного визита? В гостиной и ее комнате обычно царил жуткий беспорядок, и ей это не нравилось. С нетерпением она убирала грязные бокалы, вытряхивала пепельницы,

снимала простыни и стелила чистые, расставляла по полкам книги, которые Пеллетье вытащил и разбросал по полу, относила в винный шкаф бутылки, потом одевалась и уходила в университет. Если случалось заседание кафедры, она шла на заседание, а если не случалось, то запиралась в библиотеке и читала или работала до тех пор, пока не начинались занятия со студентами.

Однажды в субботу Эспиноса сказал, что ей надо приехать в Мадрид, что он ее приглашает, ведь Мадрид в это время года потрясающе красив, а кроме того, открылась выставка, посвященная Бэкону, и ее совершенно необходимо посетить.

– Приеду завтра, – сказала Нортон.

Эспиносу ее согласие застало врасплох: приглашая ее, он повиновался импульсу, желанию ее увидеть, но совершенно не рассчитывал, что она согласится.

Излишним будет говорить, что подтвержденное приглашение – неужели они все-таки окажутся у него дома! – ввергло его в состояние перманентной ажитации и всепожирающей неуверенности в себе. Тем не менее воскресенье они провели совершенно замечательно (еще бы, Эспиноса едва ли не наизнанку вывернулся, чтобы это устроить) и вечером легли в постель, пытаясь расслышать бой барабанов в соседней квартире – безрезультатно, – впрочем, похоже, африканская группа именно в этот день уехала в турне по испанским городам. У Эспиносы накопилось столько вопросов, что, когда выдался благоприятный случай, он... ничего не спросил. Да и зачем? Нортон сказала, что они с Пеллетье любовники, правда, она употребила другое слово, не столь определенное – то ли «дружба», то ли «интрижка» – в общем, что-то вроде этого.

Эспиноса хотел было спросить, когда они стали любовниками, но у него вырвался лишь вздох. Нортон сказала, что у нее много друзей, не уточнив, шла ли речь о друзьях, которые друзья, или о друзьях, которые любовники, и что так оно повелось с ее шестнадцати лет, когда она впервые занялась любовью с одним типом – тридцатичетырехлетним неудачливым музыкантом с Поттери-Лейн, и что она вот так это себе представляет. Эспиноса, который до этого никогда не говорил по-немецки о любви (или о сексе) с женщиной, тем более с обнаженной женщиной в своей постели, хотел было спросить, как она себе это представляет – эту часть ее реплики он честно не понял, – но в результате лишь молча покивал.

А следом случилось нечто неожиданное. Нортон посмотрела ему в глаза и спросила: считает ли он, что знает ее? Эспиноса ответил: тут трудно что-то утверждать, возможно, что-то он знает, а что-то нет, но он безмерно ее уважает и даже обожает – в смысле, ему очень нравятся ее работы как исследовательницы творчества Арчимбольди. Тогда Нортон сказала ему, что была замужем, а сейчас разведена.

– Я бы никогда такого не подумал, – сказал Эспиноса.

– А это правда, – сказала Нортон. – Я разведена.

Когда Лиз Нортон вернулась в Лондон, Эспиноса занервничал еще сильнее, чем в те два дня, что Нортон провела в Мадриде. С одной стороны, все прошло без сучка и задоринки, в этом он не сомневался, в особенности им было хорошо в постели, тут у них все совпадало и они были прекрасной гармоничной парой, такое случается между людьми, которые давно друг друга знают, но вот ведь как обстояло дело: когда они заканчивали заниматься сексом и Нортон вдруг обнаруживала желание поговорить, все менялось – англичанка проваливалась в какое-то близкое к гипнозу состояние, а ведь лучше бы она это все рассказывала подружке, а не ему: Эспиноса искренне полагал для себя правилом, что подобные откровения не для мужских ушей, а исключительно для женских: Нортон рассказывала о месячных, к примеру, говорила про луну и черно-белые фильмы, которые могли в любой момент превратиться в фильмы ужасов, а Эспиносу подобные исповеди безмерно угнетали, угнетали до такой степени,

что, прослушав их, он едва находил в себе силы одеться и пойти ужинать или присоединиться к компании друзей – естественно, под руку с Нортон, а ведь оставался непроясненным вопрос с Пеллетье, вот тут у Эспиносы прямо волосы дыбом от страха поднимались, кто ж ему теперь скажет, что он, Эпиноса, спит с Лиз, – словом, все это приводило его в замешательство, а когда он оставался один, у него крутило в животе и хотелось в туалет, прямо как у Нортон (и зачем, зачем он позволил рассказать себе это!) при виде бывшего: мутного типа под метр девяносто ростом, потенциального самоубийцы и потенциального убийцы, возможно, мелкого воришки или хулигана, культурный горизонт которого ограничивался попсовыми песенками, которые он вместе со своими дружками горланил в каком-нибудь пабе, ублюдка из тех, что верят в то, что говорят по телевизору, карликовой души, атрофировавшегося духа, прямо как у какого-нибудь религиозного фундаменталиста, – словом, в любом случае и прямо говоря, худшего мужа, который может достаться женщине.

Эспиноса не хотел вовлекаться в отношения далее, чем надобно, – ему надо было успокоиться; и вот, по прошествии четырех дней, когда он уже совершенно успокоился, он позвонил Нортон и сказал, что хочет ее видеть. Нортон спросила: в Лондоне или Мадриде? Эспиноса ответил: как ей удобнее. Нортон выбрала Мадрид. Эспиноса почувствовал себя самым счастливым мужчиной в мире.

Англичанка приехала вечером в субботу и уехала вечером в воскресенье. Эспиноса отвез ее на машине в Эскориал, а потом они пошли смотреть фламенко в таблао. Ему показалось, что Нортон счастлива, и Эспиноса очень обрадовался. В ночь с субботы на воскресенье они занимались любовью три часа подряд, и в конце Нортон, вместо того чтобы заговорить на свои обычные темы, сказала, что очень устала, и уснула. На следующий день, приняв душ, они снова занялись любовью, а потом поехали в Эскориал. По дороге обратно Эспиноса спросил, виделась ли она с Пеллетье. Нортон сказала, что да, Жан-Клод приезжал в Лондон.

– И как он? – поинтересовался Эспиноса.

– Хорошо, – ответила Нортон. – Я ему рассказала про нас.

Эспиноса разнервничался и сосредоточился на дороге.

– И что он думает?

– Что это мое дело, – сказала Нортон, – но однажды мне придется выбирать.

Эспиноса промолчал, однако слова француза пришлись ему по душе. Этот Пеллетье – славный малый, подумалось ему. И тут Нортон поинтересовалась, как относится к делу он сам.

– Да более или менее так же, – соврал Эспиноса, пряча глаза.

Некоторое время они молчали, а потом Нортон начала рассказывать о своем муже. В этот раз ее жуткие истории оставили Эспиносу совершенно равнодушным.

Пеллетье позвонил Эспиносе вечером в воскресенье, сразу после того, как тот отвез Нортон в аэропорт. Он перешел прямо к делу. Сказал, что знает, что Эспиноса тоже знает. Эспиноса ответил, что благодарен за звонок, – трудно поверить, однако он сам как раз собирался сегодня вечером позвонить ему, но вот получилось так, что Пеллетье его опередил. Пеллетье сказал, что верит ему.

– И что нам теперь делать? – спросил Эспиноса.

– Оставить все как есть, время рассудит, – ответил Пеллетье.

Потом они заговорили – и очень много смеялись – об одной весьма странной конференции, которая только что прошла в Салониках и на которую пригласили Морини.

В Салониках с Морини приключилось нечто похожее на удар. Однажды утром он проснулся в своем номере и... ничего не увидел. Он ослеп. Паника охватила его на несколько секунд, однако вскоре он сумел собраться и успокоиться. Он долго лежал неподвижно, вытя-

нувшись в постели, и все пытался снова уснуть. Начал думать о вещах приятных, припомнил сценки из своего детства, какие-то фильмы, вызвал в памяти чьи-то неподвижные лица – ничего не вышло. Он приподнялся в постели и ощупью нашел инвалидную коляску. Разложил ее и сумел – против ожиданий, не с такими уж колоссальными усилиями – усесться в ней. Потом, очень медленно, попытался сориентироваться относительно единственного в номере окна: то выходило на балкон, с которого открывался вид на голый холм желто-коричневого цвета и офисное здание, увенчанное рекламой конторы по продаже недвижимости, которая предлагала приобрести таунхаусы недалеко от города.

Квартал (еще не построенный) величественно звался «Апартаменты „Аполлон“», и прошлым вечером Морини со стаканом виски в руке долго наблюдал за рекламой с балкона – неоновые буквы то вспыхивали, то гасли. Когда он сумел все-таки добраться до окна и его открыть, то почувствовал головокружение – так недолго и сознание потерять. Поначалу он задумал отыскать дверь и попросить о помощи или просто упасть посреди коридора. Потом решил, что лучше всего будет вернуться в постель. Уже через час он проснулся от света, лившегося в открытое окно, и проступившей испарины. Позвонил администратору и спросил, не оставляли ли ему сообщений. Сказали, что нет, не оставляли. Он разделся, сидя на кровати, и пересел в уже разложенную инвалидную коляску – она стояла рядом. Чтобы принять душ и надеть чистое, ему понадобилось около получаса. Потом, не удостоив пейзаж ни единым взглядом, он закрыл окно и вышел из номера – пора было идти на конференцию.

Они снова встретились все четверо на конференции «Недели современной немецкой литературы» в Зальцбурге в 1996 году. Эспиноса и Пеллетье пребывали в счастливом расположении духа – по крайней мере, так казалось. А вот Нортона приехала в Зальцбург эдакой ледяной дамой, сердце которой не растопили ни красота города, ни знаменательные культурные события. Морини прибыл со стопкой книг и бумаг, которые ему нужно было просмотреть, словно приглашение на конференцию застало его в момент, когда он был максимально загружен работой.

Всех четверых поселили в один отель, Морини и Нортона – на третьем этаже, в номерах 305 и 311 соответственно. Эспиносу – на пятом, в номере 509. А Пеллетье – на шестом, в номере 602. Гостиницу в полном смысле этого слова захватили немецкий оркестр и русский хор, так что в коридорах и на лестницах слышались обрывки музыкальных партий, то тихо, то громко: казалось, музыканты постоянно напевали себе под нос увертюры или в гостинице поселилось ментальное (и музыкальное) статическое напряжение. Все это отнюдь не мешало Эспиносе и Пеллетье, Морини, казалось, вообще этого не замечал, а вот Нортона зло заметила, что Зальцбург – не город, а дерьмо какое-то, потому что только в дерьмовом городе может происходить такое, не говоря уж обо всем остальном.

Естественно, ни Пеллетье, ни Эспиноса ни разу не навестили Нортона в ее номере, – наоборот, Эспиноса нанес визит, один-единственный, Пеллетье, а Пеллетье, в свою очередь, дважды наведася в номер к Эспиносе: они пребывали в состоянии совершенно детского восторга, ибо по гостинице, подобно искре в бикфордовом шнуре, подобно атомной бомбе, по всем коридорам и по всем собраниям оргкомитета летела новость – в этом году Арчимбольди был выдвинут на Нобелевскую премию, – и архимбольдисты всех стран не только были безмерно обрадованы – нет, они упивались триумфом своего автора, которому удалось наконец-то взять реванш и получить заслуженное. Таково было всеобщее веселье, что именно в Зальцбурге, в пивной «Красный бык», одним прекрасным вечером не иссякали тосты и здравницы: две основные группировки исследователей-арчимбольдистов, в смысле фракция Пеллетье и Эспиносы и фракция Борчмайера, Поля и Шварца, подписали мирный договор – теперь, начиная с этого вечера, они будут с уважением относиться к разнице во мнениях и в методах интерпретации, объединят усилия и перестанут ставить друг другу подножки, – одним словом, Пел-

летье больше не будет накладывать вето на публикацию статей Шварца в журналах, где он пользуется определенным влиянием, а Шварц тоже не будет накладывать вето на публикацию работ Пеллетье в изданиях, где его, Шварца, почитают как бога.

А вот Морини не разделял энтузиазма Пеллетье и Эспиносы, и он же первым заметил, что до нынешнего момента Арчимбольди никогда не получал, насколько он знает, ни одной национальной премии в Германии: он не стал лауреатом ни премий книготорговцев, ни премий читателей, ни премий издателей (если предположить, что таковые существовали), поэтому имеет смысл ждать – и это вполне в рамках разумного, – что, узнав о выдвижении Арчимбольди на самую престижную премию мировой литературы, его соотечественники, хотя бы из соображений предосторожности, могут присудить ему национальную премию, или премию за заслуги, или почетную премию, или по крайней мере посвятить ему часовую программу на телевидении; однако ничего этого не случилось, и архимбольдисты (в этот раз выступающие единым фронтом) исполнились негодования; впрочем, они не впали в уныние из-за нулевого внимания общественности к самому существованию Арчимбольди, а удвоили усилия, и поражение лишь укрепило их дух; к тому же, их подстегивало сознание крайней несправедливости, с которой цивилизованное государство отнеслось не только к лучшему, по их мнению, немецкому писателю из числа ныне здравствующих, но и лучшему европейскому писателю; в результате это обернулось целой лавиной работ, посвященных творчеству Арчимбольди и даже собственно личности Арчимбольди (о котором так мало известно, если не сказать, что вообще ничего не известно), а из-за всего этого резко увеличилось количество читателей, привлеченных не столько книгами немецкого писателя, сколько его биографией, точнее, пробела на ее месте, и эти читатели нахваливали Арчимбольди друзьям и знакомым, а те, в свою очередь, своим друзьям и знакомым, и так получилось, что в Германии продажи существенно выросли (к каковому явлению приложил руку Дитер Хеллфилд, недавно присоединившийся к группе Шварца, Борчмайера и Поля), а это, в свою очередь подвигло издателей к тому, чтобы перевести его книги или переиздать уже существующие переводы, в результате чего Арчимбольди бестселлером не стал, однако все же две недели продержался на девятом месте в десятке самых продаваемых художественных книг в Италии, и на двенадцатом, тоже в течение двух недель, в двадцатке самых продаваемых книг во Франции, и, хотя в Испании он ни в какой подобный список не попал, нашлось издательство, которое выкупило права на издание нескольких романов Арчимбольди у других испанских издателей, а также купило права на все еще не переведенные на испанский книги Арчимбольди: так у них получилось что-то вроде серии «Библиотека Арчимбольди», и, надо сказать, продажи их не разочаровали.

А вот на Британских островах, признаемся честно, Арчимбольди так и остался нишевым автором, о котором мало кто слышал.

В те радостные дни Пеллетье нашел текст, написанный швабом, с которым они имели удовольствие познакомиться в Амстердаме. В нем шваб излагал примерно то же самое, что рассказал им о визите Арчимбольди во фризский городок и об ужине с дамой-путешественницей в Буэнос-Айрес. Текст был опубликован в «Утреннем листке Рейтлингена» и отличался от рассказа лишь в одном: диалог дамы и Арчимбольди излагался там в ироничном, если не саркастичном ключе. Она спросила, откуда он родом. Арчимбольди ответил, что из Пруссии. Дама спросила, не дворянское ли у него имя. Арчимбольди ответил, что это вполне возможно. Дама тогда пробормотала его имя, «Бенно фон Арчимбольди», словно бы надкусывая золотую монету – не фальшивая ли. И тут же сказала: «Нет, я никогда не слышала это имя, зато вот эти, – тут она перечислила другие имена, – слышала. Не знакомы ли они господину Арчимбольди?» «Нет, – ответил тот, – в Пруссии я знаком лишь с лесами...»

– И тем не менее ваше имя – итальянского происхождения, – сказала сеньора.

– Французского, – ответил Арчимбольди, – мы ведем род от французских гугенотов.

Дама над этим ответом посмеялась. Раньше она была красавицей, писал шваб. Она и тогда, в полутьме таверны, казалась красивой, хотя, когда смеялась, у нее соскакивала вставная челюсть и ей приходилось поправлять ее рукой. Тем не менее даже это движение выходило у нее весьма элегантно. Дама вела себя с рыбаками и с крестьянами с естественностью, на которую можно было ответить лишь уважением и любовью. Она овдовела много лет тому назад. Временами отправлялась в верховую прогулку по дюнам. А иногда подолгу странствовала по местным дорогам, исхлестанным ветром с Северного моря.

Когда однажды за завтраком в гостинице, перед прогулкой по Зальцбургу, Пеллетье завел разговор с тремя друзьями о статье шваба, обнаружились серьезные расхождения во мнениях и интерпретациях.

Эспиноса – ну и сам Пеллетье – полагали, что шваб, скорее всего, был любовником дамы в то время, когда Арчимбольди приехал к ним со своими чтениями. Нортон же считала, что шваб рассказывает эту историю каждый раз по-разному – в зависимости от перепадов настроения и типа аудитории – и, что вполне возможно, уже сам не помнит, кто что сказал тем знаменательным вечером. А вот Морини решил, что шваб – о ужас, о кошмар! – двойник Арчимбольди, его брат-близнец, образ, который время и случай постепенно превращают в негатив проявленной фотографии, фотографии, которая постепенно растет, набирается силы, душит весом, но тем не менее не теряет связи, приковывающей ее к негативу (а с тем происходит все наоборот), но негатив по сути своей – точно такой же, как и проявленная фотография: оба достигли юношеского возраста в жуткие варварские годы владычества Гитлера, оба ветераны Второй мировой войны, оба писатели, оба граждане страны-банкрота, оба люди без гроша в кармане, сдавшиеся на милость судьбы, – вот такими они друг друга видят, когда вдруг встречаются и (жуть какая!) узнают друг друга: Арчимбольди – помиравший с голоду романист, шваб – «ответственный за культуру» в городишке, в котором точно никому не было дела до этой самой культуры.

Кстати, а ведь вполне возможно предположить, что этот жалкий и (почему нет?) презренный шваб на самом деле... Арчимбольди? Вопрос этот сформулировал не Морини, это сделала Нортон. Ответ поступил отрицательный: шваб, во-первых, росту был низенького, сложения деликатного, что совершенно не совпадало с физическими характеристиками Арчимбольди. Версия Пеллетье и Эспиносы казалась более правдоподобной. Шваб – любовник благородной дамы, хотя та годится ему в бабушки. Шваб каждый вечер приходит домой к своей госпоже, которая когда-то побывала в Буэнос-Айресе, приходит и набивает брюхо колбасами, печеньем и наливается чаем. Шваб массирует спину вдовы капитана кавалерии, в то время как в стекло окон бьются завывающиеся водоворотом потоки дождя, грустного фризского дождя, от которого хочется плакать, а шваб – он не плачет, однако бледнеет, бледнеет, его тянет к ближайшему окну, и он застывает перед ним, вглядываясь во что-то за занавесом беснующегося ливня, и вот он стоит, пока дама, вся в нетерпении, его не окликает, тогда шваб поворачивается к окну спиной, даже не отдавая себе отчета, почему он подошел к нему, не понимая, что он хотел там разглядеть, – и как раз в этот миг, когда в окно уже никто не смотрит и только мигает свет, подкрашенный цветными стеклами лампы в глубине комнаты, – именно в тот миг то, чего так ждал шваб, появляется в темноте.

Так что в общем и целом они хорошо провели время в Зальцбурге, и, хотя в тот год Арчимбольди не получил Нобелевскую премию, жизнь четырех друзей все так же скользила или струилась спокойной рекой бытия немецких кафедр европейских университетов; конечно, обходилось не без встрясок, но те, если приглядеться, придавали вкус их внешне прекрасно

устроенному существованию – немного перчика, немного горчицы, немного уксуса; во всяком случае, жизни их выглядели вполне благополучными для внешнего взгляда, хотя каждый, как и все обычные люди, тащил свой крест; кстати, любопытное дело: у Нортон он был призрачный и фосфоресцирующий – англичанка весьма часто, и временами на грани дурновкусия, описывала своего бывшего как скрытую угрозу, надевая его пороками и недостатками, носителем которых могло быть только чудовище, страшнейшее чудовище; впрочем, оно так и не появилось – сплошная вербализация и никакого экшена, хотя речи Нортон немало способствовали тому, чтобы это существо, ни разу не виденное ни Эспиносой, ни Пеллетье, приобрело некоторую телесность; им даже казалось, что этот бывший существовал лишь в кошмарах Нортон, однако француз, более смысленный, чем испанец, понял: это бессознательное бормотание, этот нескончаемый список обид связан, прежде всего, с желанием наказать себя – Нортон стыдилась того, что умудрилась влюбиться и выйти замуж за придурка. Естественно, Пеллетье ошибался.

В те дни Пеллетье и Эпиноса очень переживали за душевное состояние своей общей любовницы, из-за чего у них случились два крайне длинных телефонных разговора.

Первым позвонил француз, и беседа продлилась один час пятнадцать минут. Вторым позвонил Эпиноса, три дня спустя, и тут они проговорили два часа пятнадцать минут. По прошествии полутора часов Пеллетье сказал, что надо бы заканчивать, а то разговор выйдет золотым, «вешай трубку, и я потом перезвоню», на что испанец ответил решительным отказом.

Первый телефонный разговор (это когда звонил Пеллетье) начинался трудно, но Эпиноса ждал его: похоже, им обоим нелегко было сказать друг другу то, что рано или поздно все равно пришлось бы сказать. Первые двадцать минут шли в трагическом тоне: слово «судьба» было произнесено десять раз, а слово «дружба» – двадцать четыре. Имя Лиз Нортон упоминалось пятьдесят раз, причем девять из них всуе. Слово «Париж» прозвучало семь раз. Мадрид – восемь. Слово «любовь» они произнесли два раза – по разу каждый. Слово «ужас» – шесть раз, а слово «счастье» – один (его употребил Эпиноса). Слово «решение» произнесли двенадцать раз. «Солипсизм» – семь. «Эвфемизм» – десять. «Категория», в единственном и множественном числах, – девять. «Структурализм» – один раз (Пеллетье). Термин «американская литература» – три раза. Слова «ужин», «ужинаем», «завтрак» и «сэндвич» – девятнадцать. «Глаза», «руки», «волосы» – четырнадцать. Потом разговор пошел непринужденнее. Пеллетье рассказал Эпиносе анекдот на немецком, и тот посмеялся. Эпиноса рассказал Пеллетье анекдот на немецком, и тот тоже посмеялся. На самом деле оба смеялись, окутанные волнами или чем бы то ни было, что соединяло их голоса и уши, что несло через темные поля и ветер, и снега на вершинах Пиренеев, и реки, и пустые дороги, и нескончаемые предместья, окружающие Париж и Мадрид.

Второй разговор вышел гораздо менее напряженным, чем первый, – типичная болтовня между друзьями, которые хотели бы прояснить некоторые вещи, не замеченные ранее, однако от этого она не стала чисто технической или логистической, нет, напротив, в ней всплыли и засверкали темы, которые имели лишь косвенное отношение к Нортон, темы, которые не имели ничего общего с маятником сентиментальности, темы, о которых не стоило труда начать беседу и с той же легкостью выйти из нее, чтобы снова обсудить самое главное – Лиз Нортон, которую оба – уже под конец второго разговора – признали не эринией, разрушившей их дружбу, не мстительной женщиной в траурном одеянии и с окровавленными крыльями, не Гекатой, сначала нянчившей детей, а потом выучившейся колдовству и превратившейся в животное, а ангелом, который укрепил их дружбу, сделал явным то, о чем оба подозревали и считали очевидным, однако не были твердо уверенными в том, что они – люди цивилизованные, способные испытывать благородные чувства, а не какие-то скоты, которых рутинная и постоянная сидячая работа затянули в пучину низости и негодяйства, – напротив, Пеллетье и Эпиноса

обнаружили тем вечером, что они – воплощенная щедрость, причем до такой степени воплощенная, что, если бы их не разделяло расстояние, они бы пошли и выпили – как же не выпить за сияние собственной добродетели, сияние, как мы знаем, недолгое (ибо всякая добродетель, за исключением краткого мига узнавания, совсем не сияет, а живет в темной пещере, окруженная другими ее жителями, и некоторые из них очень опасны), так что за отсутствием шумного праздника в финале они молча, но очевидно друг для друга поклялись в вечной дружбе и, повесив трубки, скрепили клятву бокалом виски, который они медленно-медленно потягивали каждый в своей заваленной книгами квартире, глядя в ночь за окнами, возможно, в поисках, пусть и не осознанных, того, что искал и не находил по ту сторону стекла шваб.

Морини, как и следовало ожидать, узнал обо всем последним, хотя как раз в случае Морини арифметика чувств иногда давала сбои.

Еще до того как Нортон в первый раз оказалась в одной постели с Пеллетье, Морини уже предвидел такой ход событий. Причем он исходил не из того, как Пеллетье вел себя с Нортон, а из того, как держала себя Нортон – со смутной отстраненностью, которую Бодлер назвал сплингом, а Нерваль – меланхолией; и эта отстраненность держала англичанку в постоянной готовности завести роман с кем угодно.

А вот роман с Эспиной он, естественно, предвидеть не мог. Когда Нортон позвонила ему и рассказала, что встречается с обоими, Морини удивился (хотя он бы вовсе не удивился, если бы Нортон сказала: встречаюсь с Пеллетье и с коллегой по Лондонскому университету, да что там, даже со студентом), но умело скрыл это. Потом он попытался подумать о чем-нибудь другом, но не смог.

Он спросил Нортон, счастлива ли она. Нортон сказала, что да. Морини рассказал, что получил от Борчмайера по электронной почте письмо со свежими новостями. Нортон это не особо заинтересовало. Тогда он спросил, как там муж, слышно ли что-нибудь о нем.

– Бывший муж, – поправила его Нортон.

Нет, сказала она, ничего не знаю, как он там, хотя вот давеча позвонила старинная подруга и рассказала, что бывший живет с другой ее старинной подругой. Морини спросил, была ли она близкой подругой. Нортон не поняла вопроса.

– Кто был близкой подругой?

– Та, которая сейчас живет с твоим бывшим, – пояснил Морини.

– Она с ним не живет, она его содержит, а это совсем другое дело.

– Вот оно что, – отозвался Морини, попытался сменить тему разговора, но ему ничего не пришло в голову.

«А не рассказать ли ей о моей болезни?» – злорадно подумал он. Но нет, этого он не делает.

Из их четверки как раз на днях Морини первый прочитал про убийства в Соноре: в «Иль-Манифесто» вышла статья за подписью итальянской журналистки, которая отправилась в Мексику в поисках материалов по партизанскому движению сапатистов. Новость повергла Морини в ужас. В Италии, конечно, тоже случались серийные убийства, но жертв редко когда насчитывалось больше десяти, а в Соноре их было намного больше ста.

Потом мысли его обратились к журналистке «Иль-Манифесто», и ему показалось любопытным, что та отправилась в Чьяпаса, то есть на дальний юг, а статью написала про события в Соноре, которая, если знание географии его не подводило, находилась на севере, точнее северо-востоке, на границе с Соединенными Штатами. Вот она, усталая после недели в лесах Чьяпас. Вот берет интервью у субкоманданте Маркоса. А вот она возвращается в столицу. И тут кто-то ей рассказывает о том, что происходит в Соноре. И она, вместо того чтобы сесть на

ближайший рейс в Италию, решает купить билет на автобус и отправиться в дальний путь – в Сонору. В этот миг Морини посетило неудержимое желание броситься следом за ней.

Да, он бы влюбился в нее до смерти. А час спустя Морини уже и думать забыл об этом деле.

Вскоре по электронной почте пришло письмо от Нортон. Ему показалось странным: что это с ней, почему она пишет ему, а не звонит. Однако, прочитав письмо, он тем не менее понял: Нортон нужно было изложить свои мысли как можно точнее, поэтому она предпочла писать, а не звонить. В письме она извинялась за то, что называла своим эгоизмом, эгоизмом, который выражался в ее самокопании и в том, что она беспрерывно припоминала свои реальные и выдуманные несчастья. Потом она писала, что наконец-то разобралась с путаницей в отношениях со своим бывшим. Темные тучи над ее жизнью наконец-то разошлись. Ей хотелось быть счастливой и петь (sic!). Также она писала, что, наверное, вплоть до прошлой недели она его любила, а сейчас могла с уверенностью сказать, что эта история в ее жизни полностью завершилась. «С новыми силами я возвращаюсь к работе и к маленьким повседневным делам, которые приносят счастье людям». И также добавляла: «Хочу, чтобы ты, мой верный Пьеро, первым узнал об этом».

Морини перечитал ее письмо три раза. С горечью подумал, что Нортон ошибается: никуда ее любовь, бывший и все, что они с ним пережили, не делись. Ничего никуда не девается – все остается с тобой.

Кстати, с Пеллетье и Эспиносой Нортон так не откровенничала. Да, и еще Пеллетье заметил нечто, чего не заметил Эспиноса. Поездки из Лондона в Париж стали случаться чаще, чем поездки из Парижа в Лондон. И через раз Нортон привозила подарок: книгу эссе, альбом по искусству, каталоги выставок, которых он никогда не увидит, даже рубашку или платок! Доселе такого за ней не водилось...

А в остальном ничего не поменялось. Они трахались, шли куда-нибудь ужинать, обменивались новостями об Арчимбольди, никогда не говорили о своем совместном будущем, всякий раз, когда в разговоре звучало имя Эспиносы (а оно, надо сказать, упоминалось довольно часто), оба отвечали подчеркнуто бесстрастным тоном – вежливо и, самое главное, по-дружески. Более того, некоторые ночи они не занимались любовью, а просто спали друг у друга в объятиях (Пеллетье был уверен, что с Эспиносой она так себя не ведет). А зря – зачастую связь Нортон с испанцем была точной копией отношений, которые она поддерживала с французом.

Отличались рестораны (в Париже с кухней было получше), отличались декорации и архитектурный фон (Париж был посовременнее) и отличался язык (с Эспиносой она говорила в основном по-немецки, а с Пеллетье – на английском), однако в общем и целом сходства оказывалось больше, чем различий. Естественно, и с Эспиносой у нее случались ночи без секса.

Если бы самая близкая подруга (которой у Нортон, кстати, не было) спросила бы с кем из них двоих тебе лучше в постели, Нортон бы не нашлась что ответить.

Иногда она думала, что Пеллетье более опытный любовник. А потом думала – нет, Эспиноса все-таки лучше. Со стороны это смотрелось так: выражаясь академично, библиография у Пеллетье была пообширней, чем у Эспиносы, который в любовных схватках доверял более инстинкту, чем интеллекту, а кроме того, имел несчастье родиться испанцем, то есть принадлежать к культуре, которая привычно путает эротику с эсхатологией и порнографию с копрофагией, каковая путаница выделялась (своим отсутствием) в ментальной библиотеке Эспиносы: тот в первый раз прочитал маркиза де Сада, только чтобы проверить (и разгромить) статью Поля, где тот указывал на связь «Жюстины» и «Философии в будуаре» с романом Арчимбольди, увидевшим свет в пятидесятые годы.

Пеллетье же, напротив, прочитал божественного маркиза в шестнадцать, а в восемнадцать устроил *menage a trois* с двумя приятельницами в университете, и его подростковый интерес к эротическим комиксам преобразился во взрослый и вполне разумный интерес к коллекционированию произведений непристойной литературы XVII и XVIII веков. Выражаясь метафорически, Мнемозина, богиня-гора и мать девяти муз, держалась ближе к французу, чем к испанцу. Выражаясь предельно точно, Пеллетье мог выдержать в постели шесть часов (при этом не кончая) благодаря своей библиографии, в то время как Эспиносе это удавалось (кончая два, иногда три раза, после чего он лежал полумертвым) благодаря его нестигаемому духу, а также силе.

И раз уж мы тут упомянули древних греков, избыточно было бы говорить, что Эспиноса и Пеллетье считали друг друга (и, на свой извращенный манер, были) копиями Улисса, а Морини оба полагали своим Эврилохом, верным другом Улисса, о двух подвигах которого рассказывается в «Одиссее». Первый подвиг выказывает его благоразумие – ему удалось не превратиться в свинью, и это символизирует его индивидуалистское сознание одиночки, свойство все подвергать сомнению, хитрость старого моряка. Второй же, наоборот, оборачивается мирским святотатственным приключением: вспомним коров Зевса (или какого-то другого могущественного бога), которые мирно паслись на острове Солнца; самый вид их разбудил волчий аппетит Эврилоха, и тот, выражаясь прилично, подбил своих товарищей убить их и устроить пир; естественно, это невероятно разозлило Зевса (или какого-то другого бога), и он проклял Эврилоха за то, что тот выпендривался, мня себя просвещенным атеистом и чуть ли не Прометеем. На самом деле того бога больше всего разъярило отношение Эврилоха, диалектика, так сказать, его голода, а не собственно то, что они сожрали коров; далее из-за этого пира корабль, на котором плыл Эврилох, затонул и все моряки погибли, – и да, именно это, думали Пеллетье с Эспиносой, ожидает Морини; естественно, они не осознавали то, что так думают, они просто пребывали в интуитивной и ни с чем конкретно не связанной уверенности, но эта микроскопическая черная мыслишка, или, если угодно, микроскопический символ, бились, подобно сердцу, в черном микроскопическом закоулке души обоих друзей.

Ближе к концу 1996 года Морини приснился кошмар. Во сне Нортон ныряла в бассейн, а они с Пеллетье и Эспиносой играли в карты за круглым каменным столом. Эспиноса с Пеллетье сидели спиной к бассейну, который вначале казался самым обыкновенным бассейном при гостинице. Пока они играли, Морини оглядывал другие столы, зонтики, лежаки, рядами стоявшие с каждой стороны бассейна. Далее виднелась темно-зеленая, блестящая, словно после дождя, живая изгородь. Постепенно люди расходились, теряясь за множеством дверей, которые вели с улицы в бар и в жилые комнаты или небольшие помещения здания; Морини мгновенно представил их себе: номер на двоих с кухонькой на три шкафчика вдоль стены и ванной комнатой. Через некоторое время вокруг уже никого не было видно, даже бродивших туда-сюда сучающих официантов. Пеллетье и Эспиноса все так же сидели, полностью поглощенные игрой. Рядом с Пеллетье он увидел кучу фишек из казино, а также монеты разных стран – видно, тот выигрывал партию. Эспиноса тем не менее явно не собирался сдаваться. Тут Морини посмотрел в свои карты и понял, что ему ничего не светит. Он сдал эти и попросил четыре другие карты, даже не посмотрев, положил их рубашкой вверх на каменный стол и с трудом привел в движение свою коляску. Пеллетье с Эспиносой даже не спросили, куда он направляется. А он катился прямо к бортику бассейна. Только тогда он понял, насколько тот огромен: не менее трехсот метров в ширину и, насколько он мог подсчитать на глаз, более трех километров в длину. Плескалась темная вода, на поверхности покачивались масляные пятна, как бывает в порту. Нортон бесследно исчезла. Морини закричал:

– Лиз!

Глаз его уловил что-то похожее на тень в другом конце бассейна, и он поехал туда. Ехал он долго. Один раз обернулся и уже не увидел ни Пеллетье, ни Эспиносу. Террасу перед ним затянул туман. Он поехал дальше. Вода бассейна, казалось, поднималась все выше и выше к бортику, словно бы где-то набухла гроза или чего похуже, хотя там, где ехал Морини, вода оставалась спокойной и тихой и ничто не предвещало бури. Затем он въехал в туман. Он хотел ехать дальше, но быстро понял, что эдак можно опрокинуться с коляской прямо в бассейн, и решил не рисковать. Когда глаза привыкли, он разглядел выступающую над поверхностью воды скалу – темный подводный камень с радужными отсветами. Это не показалось ему странным. Он приблизился к бортику и снова позвал Лиз, почему-то опасаясь, что более никогда ее не увидит. Еще чуть-чуть, легкое движение колеса – и он упадет в воду. И тут он понял – бассейн спустили, обнажив его огромную глубину: такое впечатление, что он стоял над пропастью, выложенной черными, влажными от воды плитками. В глубине он разглядел фигуру женщины (а может, ему показалось?), которая направлялась к основанию скалы.

Морини хотел снова позвать Лиз и помахать женщине, когда вдруг осознал, что сзади кто-то стоит. Мгновенно пришли две мысли: это кто-то злой и желающий ему зла, и этот кто-то хочет, чтобы Морини обернулся и увидел его лицо. Осторожно он отъехал назад и покатился снова вдоль бортика, изо всех сил стараясь не оборачиваться к тому, кто шел за ним, и высматривая лестницу, по которой мог бы спуститься на дно бассейна. Естественно, лестница, которую логично было бы обнаружить в углу, отсутствовала, и так, прокатившись пару метров, Морини остановился и развернул коляску и оказался лицом к незнакомому лицу, преодолевая собственный страх, страх, питавшийся крепнувшей уверенностью в том, что он знает, кто за ним идет и распускает вокруг себя миазмы злобы, грозящие его, Морини, задушить. Тогда среди тумана вдруг проступило лицо Лиз Нортона. Выглядела она моложе, чем в яви, где-то лет на двадцать, и она смотрела ему в глаза так пристально и с такой серьезностью, что ему пришлось опустить взгляд. Так кто же там ходит по дну бассейна? Морини все еще мог ее разглядеть – малое пятнышко, упорно карабкавшееся на скалу, которая уже превратилась в гору, и самый вид ее, и то, как далеко она была, – все это наполняло глаза слезами и вызывало такую глубокую грусть, такое ощущение непоправимости, что казалось – он видит свою первую любовь, упорно пытающуюся выбраться из лабиринта. Ну или видит самого себя, еще ходячим, да, но зачем-то штурмующим никому не нужную высоту. А также – и он не мог этого избежать, ну и пусть, это как раз к лучшему, не надо такого избегать, – он думал, что все это похоже на картину Гюстава Моро или Одилона Редона. Тогда он обернулся к Нортона, а она сказала:

– Пути назад нет.

Фразу эту Морини слышал не ушами, нет, она без их посредства возникла у него в мозгу. Похоже, у Нортона открылись способности к телепатии. Она не плохая, нет. Она хорошая. А то, что он почувствовал, – нет, это вовсе не злоба, а вот эта телепатия. Так он увещевал себя, пытаясь изменить сюжет сна, который – в глубине души он знал это – изменить невозможно: все движется к роковому финалу. Тут англичанка повторила на этот раз по-немецки: «Пути назад нет». Парадоксально, но он развернулся к ней спиной и поехал в противоположную от бассейна сторону, чтобы затеряться в лесу, деревья которого едва проступали в тумане. Лес ярко светился алым, и в этом алом Нортона растворилась.

Неделю спустя – в течение которой он успел истолковать сновидение четырьмя возможными способами, – Морини полетел в Лондон. Подобные решения были для него вовсе нехарактерными – он привык к рутине, то есть привык ездить только на конференции и встречи, где гостиницу и билет ему оплачивала принимающая сторона. А тут все складывалось не так – никакого профессионального интереса и к тому же гостиницу и билет пришлось оплачивать из собственного кармана. Да и звонок Лиз Нортона отнюдь не был криком о помощи, так что

это тоже не уважительная причина... Просто четыре дня назад они созвонились, и он сказал, что хочет приехать в Лондон – давно там не был, хочется посмотреть.

Нортон эта идея очень понравилась, и она предложила ему остановиться у себя дома, но Морини соврал, что, мол, уже забронировал гостиницу. Когда самолет сел в аэропорту Гатвик, она ждала его на выходе. В тот день они вместе позавтракали в ресторане неподалеку от его гостиницы, а вечером поужинали дома у Нортон. За ужином – тот был чудовищно невкусен, однако Морини из вежливости похвалил его – они говорили об Арчимбольди, о его растущей известности и о множестве лакун, которые еще предстояло заполнить, а потом, за десертами, разговор перетек в другое русло и речь пошла о делах личных, плавно сворачивая к воспоминаниям, и так они беседовали до трех ночи, когда уже вызвали такси, и Нортон помогла Морини спуститься в старинном лифте ее квартиры, а потом свести его с лестницы в шесть ступенек – одним словом, с точки зрения итальянца, все прошло даже лучше, чем представлялось изначально.

Между завтраком и ужином Морини был предоставлен самому себе: сначала он не отважился выйти из номера, однако потом скука погнала его прочь из гостиницы, и он решился выйти прогуляться, доехал до Гайд-парка, по которому долго бесцельно колесил, погруженный в свои мысли, никого не замечая и ни на кого не глядя. Некоторые посматривали с любопытством – дотеле они никогда не видели столь решительного и столь физически сильного паралитика. Когда наконец он остановился, то обнаружил, что перед ним так называемый Итальянский сад, который показался ему совсем не итальянским, хотя всякое бывает, подумал он, человеку свойственно не замечать того, что находится у него буквально перед носом.

Он извлек из кармана пиджака книгу и принялся за чтение – ему нужно было отдохнуть и набраться сил. Через некоторое время он услышал, что кто-то к нему обращается с приветствием, а затем слуха его достиг характерный звук небольшого тела, плюхающегося на скамейку. Он поздоровался в ответ. У незнакомца были соломенного цвета волосы, поседевшие и не слишком чистые, а весил он не менее ста десяти килограмм. Они некоторое время смотрели друг на друга, а потом незнакомец поинтересовался, не иностранец ли он. Морини ответил, что он итальянец. Незнакомец спросил, живет ли он в Лондоне и какую книгу читает. Морини ответил, что в Лондоне не живет и что читает «Поваренную книгу Хуаны Инес де ла Крус», за авторством Анжело Морино, и что книга, естественно, написана на итальянском, хотя речь в ней идет о мексиканской монахини, о ее жизни и рецептах ее кухни.

– Этой мексиканской монахини нравилось готовить? – спросил незнакомец.

– В определенном смысле да, хотя она также писала стихи, – ответил Морини.

– Недолюбливаю я этих монахинь, – сказал незнакомец.

– Она была великим поэтом, – проговорил Морини.

– Недолюбливаю я людей, которые еду готовят по рецептам, – заявил, словно бы не слышал ответа, незнакомец.

– Кто же вам нравится? – спросил его Морини.

– Наверное, люди, которые едят, как проголодаются.

А потом принялся рассказывать, что некогда он работал на предприятии по производству чашек, только чашек, в смысле, обычных и вон тех, у которых бок подписан девизом, лозунгом или смешной фразой, ну например: «Ха-ха-ха, время пить кофе», или «Папочка любит мамочку» или «Последняя на сегодня, и больше никогда» – словом, чашек со всякой пошлой ерундой на боку, – и вот однажды, знаете ли, как спрос рождает предложение, так и мне пришло в голову радикально поменять эти самые надписи, а также добавить к ним рисунки, сначала черно-белые, а потом, благодаря успеху, и цветные рисунки, смешные или даже эротические.

– Мне даже жалованье повысили, – сказал незнакомец. – А в Италии такие чашки есть?

– Есть, – ответил Морини, – одни с надписями на английском, другие – с надписями на итальянском.

– Ну и вот, все шло как положено, – продолжил незнакомец. – Мы, рабочие, работали с удовольствием. Менеджерам тоже все нравилось, да и хозяин ходил счастливый. Но прошло несколько месяцев, мы по-прежнему выпускали эти чашки, и я вдруг понял, что счастье мое ненастоящее. Я чувствовал себя счастливым, потому что все вокруг ходили счастливые и потому что я знал – надо тоже быть счастливым, но на самом деле я не был счастлив. Наоборот, я чувствовал себя несчастным, и даже более несчастным, чем до того, как мне повысили жалование. Я решил, что это все временный спад, и попытался об этом не думать, но по прошествии трех месяцев понял, что не могу больше делать вид, будто ничего не происходит. У меня испортилось настроение, я стал более агрессивен, взрывался по малейшему поводу, начал пить. Так что я решил все-таки подумать над проблемой и пришел к выводу, что мне не нравится выпускать именно этот тип чашек. Уверяю, ночами я страдал как не знаю кто. Я даже решил, что схожу с ума и делаю и несу какую-то ерунду. Я до сих пор страшусь некоторых мыслей, которые мне тогда на ум приходили. И вот однажды я высказал все, что думал, менеджеру. Сказал ему, что сыт по горло этими дурацкими чашками. А тот был добрый малый, звали его Энди, и он всегда старался решать дела разговорами, а не рубить сплеча. И вот он меня спросил: Может, мне больше нравится делать чашки с прежним рисунком? Точно, ответил я. Ты что, всерьез вот это все, Дик? сказал он мне. Серьезней некуда, ответил я. Ты стал из-за них больше работать? С одной стороны, ответил я, работы столько же, но раньше эти сраные чашки не ранили мою душу, а теперь ранят. Что-то я тебя не очень понимаю, сказал Энди. Да вот же ж, раньше эти поганые чашки меня не ранили в душу, а теперь они мне все нутро выели. Какого черта? Что в них такого, чем они отличаются от прежних? Они просто более современно выглядят, сказал Энди. Вот именно, ответил я, раньше они не были такими современными, и даже если они и раньше хотели меня ранить в душу, я не чувствовал их уколов, а теперь эти сраные чашки – они как самураи при этих ихних поганых мечях, и у меня от этого шарика за ролики в голове заезжают.

– В общем, долгая у нас вышла беседа, – сказал незнакомец. – Менеджер меня выслушал, но не понял ни единого моего слова. На следующий день я запросил выходное пособие и ушел с предприятия. Потом я уже нигде не работал. Ну и как вам это?

Морини не сразу ответил ему.

Потом все же сказал:

– Не знаю.

– Вот кого ни спрошу, все мне это говорят – что не знают, – сказал незнакомец.

– А чем вы теперь занимаетесь? – спросил Морини.

– Да ничем, я уже не работаю. Я обычный лондонский нищий.

Вот тебе и местная достопримечательность, подумал Морини, но предусмотрительно не стал озвучивать свою мысль.

– А что вы думаете по поводу этой книги? – сказал незнакомец.

– Какой? – переспросил Морини.

Незнакомец наставил толстый палец на экземпляр продукции палермского издательства «Селлеро», каковой экземпляр Морини бережно держал в руке.

– А, она, мне кажется, хороша, – ответил он.

– Прочтите мне какие-нибудь рецепты, – проговорил незнакомец, и в голосе его Морини почудились угрожающие нотки.

– Не знаю, есть ли у меня время. Мне еще с подругой встречаться.

– А как зовут вашу подругу? – спросил незнакомец тем же тоном.

– Лиз Нортон, – ответил Морини.

– Лиз... красивое имя. Не хочу показаться невежливым, но... а как вас зовут?

– Пьеро Морини, – ответил Морини.

– Как любопытно, – удивился незнакомец. – У вас с автором книги очень имена похожи.

– Нет, – покачал головой Морини. – Меня зовут Пьеро Морини, а его – Анджело Морино.
– Если вам нетрудно, прочитайте мне, пожалуйста, хотя бы названия каких-то рецептов.

Я закрою глаза и представлю их в своем воображении.

– Хорошо, – согласился Морини.

Незнакомец закрыл глаза, и Морини начал медленно читать с особой актерской интонацией названия рецептов, приписываемых Хуане Инес де ла Крус.

Sgonfiotti al formaggio

Sgonfiotti alla ricotta

Sgonfiotti di vento

Crespelle

Dolce di tuorli di uovo

Uova regali

Dolce alla panna

Dolce alle noci

Dolce di testoline di moro

Dolce alle barbabietole

Dolce di burro e zucchero

Dolce alla crema

*Dolce di mamey*⁴

Дойдя до *dolce di mamey*, Морини решил, что незнакомец уснул, и поехал прочь из Итальянского сада.

Следующий день походил на первый. В этот раз Нортон приехала за ним в гостиницу, и, пока Морини оплачивал счет, она положила единственный чемодан итальянца в багажник своей машины. Оказалось, они едут тем же маршрутом, что вчера привел его в Гайд-парк.

Морини понял это и принялся молча рассматривать улицы, а затем и призрачный парк, который напомнил ему фильму о сельве – плохо окрашенные, очень печальные и в то же время исполненные восторга. Потом машина свернула и затерялась в лабиринте улиц.

Пообедали они вместе в районе, который Нортон некоторое время назад открыла для себя, – от него до реки было рукой подать, и потому здесь ранее располагались фабрики и мастерские по починке кораблей, а теперь в обновленных, переделанных под жилье зданиях открывались магазины одежды и продуктов, а также модные рестораны. Маленький бутик, если считать по цене квадратного метра, стоил, по подсчетам Морини, четырех рабочих домов. Ресторан – двенадцати или шестнадцати. А Лиз все восхищалась районом и решимостью людей, которые пытались снова спустить его, так сказать, на воду.

Морини подумал, что «спустить на воду» – не слишком подходящее к случаю выражение, хотя вроде как тут рядом судоходная река. За десертом его ни с того ни с сего посетило желание расплакаться или даже упасть в обморок, мгновенно потерять сознание, мягко опуститься на стул, не отрывая глаз от лица Нортон, и более никогда в себя не приходить. Но сейчас Нортон рассказывала историю про художника, который первым переехал сюда жить.

Тот был молод, всего-то тридцати трех лет от роду, известный в узких кругах, но не знаменитый в точном значении этого слова. На самом деле он сюда переехал, потому что здесь можно было задешево снять студию. В то время район вовсе не располагал к веселью – не то что сейчас. Здесь еще жили старые рабочие, получавшие пенсию благодаря социальным страховым

⁴ Профитроли с сырной начинкой, профитроли с рикоттой, профитроли, блинчики, десерт из яичных желтков, пасхальные яйца, десерт со сливками, десерт с орехами, профитроли с шоколадной крошкой, десерт из свеклы, десерт из масла и сахара, десерт с кремом, десерт из мамеи (*um.*).

программам, но детей и молодежи уже не было видно. Особенно бросалось в глаза отсутствие женщин: они или уже умерли, или сидели по домам и никогда не выходили на улицу. Паб здесь был только один, такой же древний и ветхий, как и все здания в этом районе. Одним словом, тут было пусто и везде чувствовался упадок. А вот художнику, напротив, очень понравилось: здешняя атмосфера прищепила его воображение и вселила желание работать. Художник этот тоже любил одиночество. По крайней мере, оно ему не мешало.

Так что район его не испугал, напротив, он в него влюбился. Ему нравилось возвращаться поздним вечером и ходить по пустым улицам. Ему нравился свет фонарей и льющийся по фасадам свет из окон. Ему нравилось, как бегут за ним тени. Нравилось рассветы, окрашивающие всё в цвета пепла и сажи. Молчаливые люди, собиравшиеся в пабе, – он и там стал завсегдатаем. Боль, или воспоминание о боли, которую в этом районе буквально высосало что-то безмянное, и боль эта уступила место пустоте. Сознание того, что это уравнение – рабочее: боль постепенно превращается в пустоту. И сознание того, что уравнение это применимо практически ко всему в мире.

А дело было в том, что он принялся за работу с преогромным энтузиазмом, подобного которому ранее никогда не испытывал. Год спустя он выставился в галерее Эммы Уотерсон, и не где-нибудь, а в Уоппинге, и имел невероятный успех. Его почитали основателем метода, который позже назовут «новый декаданс», или «английский анимализм». На первой представляющей его выставке картины были большими, три на два метра, и на них он запечатлел, в цветах и оттенках серого, останки потерпевшего кораблекрушение района. Казалось, между художником и районом образовался полный симбиоз. То есть иногда казалось, что это художник пишет район, а иногда – что это район рисует художника резкими мрачными мазками. Картины оказались неплохи. Несмотря на это, выставка не снискала бы и малой части успеха и откликов в прессе, если бы не картина-звезда – гораздо меньшего размера, чем другие, – если бы не этот шедевр, который увлек многих британских художников на путь «нового декаданса». Полотно два на один метр казалось, с правильной точки зрения (впрочем, никто так и не понял, какая из точек правильная), эллипсисом автопортретов, а иногда спиралью автопортретов (все зависело от того, под каким углом на картину смотрели), в центре которых висела мумифицированная правая рука художника.

А случилось с ним вот что. Однажды утром после двухдневной творческой лихорадки (он как раз писал автопортреты), художник отрубил себе кисть руки, которой писал. Он тут же наложил на руку тугую повязку и отвез кисть руки к знакомому таксидермисту, которого заранее предупредил о том, какого рода работа от него потребуется. Затем он приехал в больницу, где ему остановили кровотечение и зашили рану. В больнице его спросили, какого рода несчастный случай с ним произошел. Он нехотя ответил, что работал и нечаянно отрубил себе кисть мачете. Врачи спросили, где отрезанная конечность, ведь ее можно пришить обратно. Он сказал, что был в дикой ярости и рука так болела, что он швырнул отрубленную кисть в реку.

Хотя цены на картины были астрономические, он продал все, что выставил. Говорили, шедевр перешел в руки араба-биржевика, и этот же араб купил четыре большие картины. Некоторое время спустя художник сошел с ума, и его жене – к тому времени он успел жениться – пришлось положить его в клинику в окрестностях Лозанны или Монтре.

Он и до сих пор там, в клинике.

А вот другие художники начали селиться в этом районе. Они переезжали, потому что было дешево, а кроме того, их привлекала легенда о том, кто написал самый радикальный автопортрет современности. Затем туда наведальсь архитекторы, а следом за ними – некоторые семьи, которые приобрели отремонтированные и переделанные здания. А затем появились модные магазины, театральные мастерские, альтернативные рестораны – и вот район превратился в один из самых модных и самых дешевых (на первый взгляд) в Лондоне.

– Как тебе это?

– Даже не знаю, что и думать, – ответил Морини.

Подступившие к глазам слезы все еще грозили пролиться – расплакаться нельзя, зато можно упасть в обморок, но он выдержал и усидел на стуле.

Чай они пили дома у Нортон. Только тогда она заговорила об Эспиносе с Пеллетье, но эдак небрежно, словно бы историю ее отношений с испанцем и французом и так все знали и этот докучливый сюжет более не интересовал ни Морини (чья нервозность не укрылась от ее взгляда, хотя она и воздержалась от вопросов: известно, что вопросами тревогу не уймешь), ни даже ее саму.

Вечер выдался замечательный. Морини устроился в кресле, с которого ему открывался прекрасный вид на гостиную Нортон: книги, репродукции в рамках на белых стенах, фотографии и неведомо откуда привезенные сувениры, воля и вкус, претворившиеся в элементарные вещи – мебель, к примеру, далеко не роскошную, но создающую уют, – и даже вид из окна: кусочек улицы и зелень деревьев, которые Нортон видела каждый раз, выходя из дома, – словом, он почувствовал себя лучше, как если бы разнесенное между вещами присутствие подруги его окутало и укутало, а само это присутствие виделось ему фразой, которую он, подобно младенцу, не мог понять, но самая ее интонация утешала.

Незадолго до ухода он спросил, как звали художника, историю жизни которого он выслушал, и нет ли у нее случайно каталога этой счастливой и страшноватой выставки. Его зовут Эдвин Джонс, ответила Нортон. Потом встала и начала перебирать книги на одной из полок. Объемистый каталог нашелся, и она протянула его итальянцу. Прежде чем открыть его, Морини задался вопросом: зачем же он снова помянул эту историю, ведь ему только что стало лучше... И ответил себе: не узнаю сейчас – умру. И открыл каталог, который на самом деле был не столько каталогом, сколько искусствоведческой монографией, в которой были собраны все (или всё, что удалось найти) материалы о профессиональной биографии Джонса: на первой странице красовалась его фотография (явно сделанная до истории с отрубанием руки), и с нее смотрел прямо в камеру молодой человек лет двадцати пяти с то ли робкой, то ли насмешливой улыбкой. Волосы у него были темные и прямые.

– Дарю, – услышал он голос Нортон.

– Большое спасибо, – услышал свой голос он.

Час спустя они ехали вместе в аэропорт, а еще через час Морини уже летел в Италию.

В то время один сербский литературовед, дотоле не известный научному сообществу, преподаватель немецкого в Белградском университете, опубликовал в подопечном Пеллетье журнале любопытную статью, которая вызывала в памяти работу одного французского литературоведа о маркизе де Саде: работа вся состояла в подборе крошечных фактов, которые составляли своеобразную коллекцию факсимиле различных документов, косвенным образом свидетельствовавших о том, что божественный маркиз пользовался услугами прачечной, памятных записок, из которых явствовалась его связь с каким-то человеком из театральной среды, выписок врача с рецептами назначенных лекарств, счета за покупку камзола, где указывался тип застежки и цвет и так далее, причем все эти сведения приводились с огромным аппаратом сносок, из них можно было сделать единственный вывод: маркиз де Сад существовал, сдавал вещи в прачечную, покупал новую одежду и переписывался с людьми, память о которых история не сохранила.

Так вот, статья серба очень напоминала все эти штуки. Только в данном случае пристальному изучению подвергся не де Сад, а Арчимбольди; в статье же излагались с трудом отысканные (и зачастую не найденные), тщательно отобранные факты биографии писателя: начиналось все в Германии, затем продолжалось во Франции, Швейцарии, Италии, Греции, снова Италии и заканчивалось в турагентстве в Палермо, где, судя по всему, Арчимбольди купил билет на

самолет, следовавший в Марокко. Старик немец – так называл его серб. Слова «старик» и «немец» использовались и как волшебные палочки, с помощью которых можно было сорвать покров с тайн, и как пример ультраконкретного, а не теоретического литературоведения, какое не исследует идейное наполнение, избегает и утверждений, и отрицаний, не сомневается в себе и не претендует на роль судьи, литературоведения, которое не за и не против, потому что оно лишь глаз, который ищет то, что можно потрогать, не выносит суждений, а холодно раскладывает все по полочкам, – эдакая археология факсимиле, и в связи с этим – археология копировальной машины.

Пеллетье такой подход показался любопытным. До публикации он отослал копию Эспиносе, Морини и Нортон. Эспиноса сказал, что это, возможно, куда-то и приведет, и, хотя исследования и статьи такого рода всегда казались ему работой для библиотечной крысы, подчинением подчиненному, он так прямо и сказал: совсем неплохо, что во время повального увлечения Арчимбольди у нас появятся и такие фанатики безыдейности. Нортон сказала, что интуиция (женская) всегда подсказывала ей: рано или поздно Арчимбольди окажется где-то в Магрибе; а в статье есть лишь один заслуживающий внимания факт – тот самый билет на самолет на имя Бенно фон Арчимбольди, забронированный за неделю до вылета итальянского лайнера курсом на Рабат. И добавила: что ж, теперь мы с полным правом можем вообразить его где-нибудь в пещере Атласских гор. А вот Морини не сказал ничего.

А теперь время нам кое-что прояснить, дабы читатель мог правильно (или неправильно) интерпретировать текст. Итак, бронь на имя Бенно фон Арчимбольди действительно существовала. Тем не менее билет так и не был куплен и ко времени вылета никакой Бенно фон Арчимбольди в аэропорту не появился. Для серба все это представлялось яснее ясного. Действительно, Арчимбольди собственной персоной забронировал билет. Представим его в гостинице: вот он сидит, встревоженный, а может, просто пьяный, а возможно, подремывающий, а время уже давно за полночь, оно как пропасть под ногами, и кругом разливается тошнотный аромат (именно в такой час и таком состоянии чаще всего принимаются важнейшие решения), вот он говорит с девушкой из «Алиталии» и ошибочно бронирует билет не на свое настоящее имя, а на свой псевдоним, каковую ошибку на следующий день исправит, лично наведавшись в офис авиакомпании и купив билет на паспортное имя. Вот почему никакого Арчимбольди на борту самолета, летящего в Марокко, не оказалось. Естественно, это не единственно возможный ход событий: возможно, в последний момент Арчимбольди, дважды (или четырежды) все взвесив, решил не лететь, а может, решил отправиться в путешествие, но не в Марокко, а, например, в Соединенные Штаты, а возможно, это вообще какое-то недоразумение или чья-то шутка.

В статье серб описывал внешность Арчимбольди. Источником, естественно, послужил словесный портрет, данный швабом. Разумеется, в рассказе шваба Арчимбольди был молодым писателем послевоенной поры. А серб состарил этого молодого человека с единственной изданной книгой, оказавшегося в 1949 году во Фризии, – просто взял и превратил в старика семидесяти пяти или восьмидесяти лет с объемистой библиографией за плечами, а базовые свойства не тронул, словно Арчимбольди, в отличие от большинства людей, не менялся с течением времени. Наш автор, писал серб, если судить по его произведениям, – несомненно, человек упорный, упертый как мул, упертый как толстокожий носорог, и если одним грустным сицилийским вечером он решил лететь в Марокко, то даже такой промах, как бронь билета не на паспортное имя, а на имя Арчимбольди, не позволяет нам таить надежду, что на следующий день он переменит свое решение и отправится в турагентство, чтобы лично купить билет, в этот раз уже на паспортное имя и с официальным паспортом, и не сядет, как тысячи дру-

гих пожилых немецких холостяков, которые каждый день пересекают небеса курсом на какую-нибудь североафриканскую страну.

Пожилой и холостой, подумал Пеллетье. Один из тысяч пожилых и холостых немцев. Как холостяцкая машина⁵. Как безбрачник, который вдруг состарился, или как безбрачник, который возвращается из путешествия со скоростью света и обнаруживает других таких же дряхлыми или вовсе в виде соляных статуй. Тысячи, сотни тысяч холостяцких машин каждый день пересекают наше море, наши амниотические воды, летят «Алителией», едят спагетти с томатным соусом, запивают кьянти или яблочным ликером, полуприкрыв глаза, сидят и думают, что рай для пенсионеров – он не в Италии (и ни в какой другой европейской стране), и потому летят курсом на шумные аэропорты Африки или Америки, где покоятся слоны. Огромные кладбища проносятся со скоростью света. Не знаю даже, зачем я об этом думаю, подумал Пеллетье. Пятна на стене, пятна на руках, думал Пеллетье, глядя на свои руки. Мудак вонючий – вот кто этот ваш серб.

В конце концов, когда статья была уже опубликована, Эспиносе и Пеллетье пришлось признать: метод серба – сущая ерунда. Надо проводить исследование, заниматься литературоведческим анализом, писать эссе о смыслах произведения или даже политические памфлеты для широкой публики, если того требует момент, – но не писать гибрид научной фантастики и незаконченного детектива. Так сказал Эспиноса, и Пеллетье во всем согласился со своим другом.

Тогда, в начале 1997 года, Нортона охватила жажда перемен. Ей хотелось в отпуск. Полететь в Ирландию или в Нью-Йорк. Временно отдалиться от Эспиносы и Пеллетье. Она назначила встречу им обоим – в Лондоне. Пеллетье каким-то образом догадался, что ничего катастрофического или же непоправимого их не ждет, – и пришел на свидание совершенно спокойным, расположенным более слушать, чем говорить. А вот Эспиноса боялся, что случится самое страшное: Нортона позвала их, чтобы сообщить, что выбирает Пеллетье, а ему сказать, что их дружба отнюдь не пострадает, да еще и пригласить шафером на свадьбу.

Пеллетье добрался до квартиры Нортона первым. Спросил, не случилось ли чего плохого? Та ответила, что дождется Эспиносу, иначе придется повторять одно и то же два раза. Поскольку говорить было не о чем, они стали беседовать о погоде. Пеллетье это быстро опротивело, и он сменил тему разговора. Тогда Нортона заговорила об Арчимбольди. Новая тема беседы взбесила Пеллетье. На ум снова пришел серб, потом он задумался о том, сколько лет провел впустую, пока не встретил Нортона.

Эспиноса запаздывал. Вся жизнь – говно, с изумлением осознал Пеллетье. А потом подумал: если бы мы не составили дружескую компанию, сейчас она была бы моей. И потом: если бы мы не оказались столь схожи, если бы не дружба, союз и родство душ, она была бы моей. А затем: если бы ничего этого не было, мы бы не познакомились. И: а возможно, я бы с ней познакомился, потому что мы занимаемся Арчимбольди сами по себе, а не потому, что подружались. И, возможно, она бы меня возненавидела, сочла педантом, холодным высокомерным нарциссом, интеллектуалом, исключительным и исключаящим. Выражение «исключающий интеллект» его позабавило. Эспиноса опаздывал. Нортона выглядела совершенно спокойной. На самом деле Пеллетье тоже выглядел спокойным – вот только в душе у него бушевала буря.

⁵ Целибатные, или холостяцкие, машины – термин, применявшийся Марселем Дюшаном, любимый также дадаистами и психоаналитиками; обозначает механизм, работающий вхолостую, вырабатывая энергию без конечной цели или результата.

Нортон заметила, что Эспиноса часто опаздывает. Сказала, что иногда самолеты запаздывают. Пеллетье тут же представил самолет Эспиносы, как он, весь в пламени, обрушивается на взлетную полосу Мадридского аэропорта со скрежетом перекрученного железа.

– Может, телевизор включим? – сказал он.

Нортон посмотрела на него и улыбнулась. «Я никогда не включаю телевизор», – с улыбкой сказала она. Видимо, ее удивило, как это Пеллетье такого не знает. Естественно, Пеллетье знал. Но ему не хватало духа сказать: давай посмотрим новости, вдруг мы увидим на экране разбившийся самолет.

– Я могу его включить? – спросил он.

– Конечно, – ответила Нортон.

И Пеллетье, наклонившись к кнопкам телевизора, посмотрел на нее искоса: она просто сияла, такая естественная, вот наливает себе чашку чая или переходит из одной комнаты в другую, чтобы поставить на место книгу, которую она только что показала, вот отвечает на телефонный звонок – нет, не Эспиносы.

Он включил телевизор. Пробежался по каналам. Увидел бородатого дядьку в лохмотьях. Увидел группу негров – те шли по какой-то тропе. Увидел двух джентльменов в костюмах и при галстуках: они неспешно о чем-то говорили, оба сидели нога на ногу, время от времени посматривая на карту, которая то появлялась, то исчезала у них за спиной. Увидел пухленькую даму, которая говорила: дочь... фабрика... собрание... врачи... неизбежно... а потом слабо улыбалась и опускала глаза. Увидел лицо бельгийского министра. Увидел дымящийся остов самолета сбоку от взлетно-посадочной полосы, окруженный машинами скорой и пожарными. Заорал, призывая Нортон. Та еще говорила по телефону.

Самолет Эспиносы разбился, сказал Пеллетье уже обычным голосом, и Нортон, вместо того чтобы смотреть на экран, посмотрела на него. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять: этот самолет, который горит, он не испанский. Рядом с пожарными и командами спасателей виднелись и пассажиры, которые удалялись от места аварии: кто-то прихрамывая, кто-то завернутый в одеяло, с искаженными страхом или ужасом лицами, но в общем и целом невредимые.

Двадцать минут спустя приехал Эспиноса, и во время обеда Нортон рассказала: мол, Пеллетье думал, что на потерпевшем крушение самолете летел ты. Эспиноса засмеялся, но как-то странно посмотрел на Пеллетье; взгляд Нортон не заметила, а вот Пеллетье заметил очень хорошо. За исключением этого, обед вышел каким-то грустным – хотя Нортон вела себя как обычно, как будто встретила с ними случайно, а не попросила приехать к себе в Лондон. Она еще ничего не успела сказать, но они уже поняли, что сейчас будет: Нортон хотела прервать, пока на время, любовную связь с обоими. Она сказала, что ей нужно подумать и собраться, а потом добавила, что хотела бы остаться с ними в дружеских отношениях. Ей нужно подумать – собственно, вот и всё.

Эспиноса принял объяснения Нортон без вопросов. А вот Пеллетье хотел спросить, не обошлось ли здесь без бывшего мужа, однако, глядя на Эспиносу, предпочел молчать. После обеда они поехали посмотреть Лондон на машине Нортон. Пеллетье было уперся – хочу, мол, на заднее сиденье, но увидел, что в глазах Нортон сверкнул сарказм, и сказал: «А, ладно, сажайте меня куда хотите». «Куда хотите» оказалось то самое заднее сиденье.

Ведя машину по Кромвель-роуд, Нортон сказала: наверное, этой ночью будет правильно пригласить в постель вас обоих. Эспиноса рассмеялся: мол, это было бы мило – он посчитал, что Нортон шутит. А вот Пеллетье отнюдь не был в этом уверен, а еще меньше он был уверен в том, что готов поучаствовать в таком *menage a trois*. А потом они направились в Кенсингтон-гарденс – посмотреть закат рядом со статуей Питера Пэна. Они сели на скамейку под сенью огромного дуба – Нортон с детства тянуло к этому месту. Сначала вокруг сидели и лежали на

газоне люди, но постепенно все ушли. Мимо проходили пары или элегантно одетые женщины – все торопились, шагая к галерее «Серпентайн» или Мемориалу принца Альберта, а навстречу им шли мужчины с мятыми газетами или матери, тащившие коляски с детьми, – эти направлялись к Бэйсуотер-роуд.

В парк прокралась тень и стала затягивать окрестности, и тут к статуе Питера Пэна подошла молодая пара. Они говорили по-испански. У женщины были черные волосы, и смотрелась она сушей красавицей. Она протянула руку, словно бы хотела потрогать ногу Питера Пэна. Рядом топтался высокий бородатый и усатый мужик. Он залез в карман, вытащил блокнотик и что-то в него написал. А потом громко прочел:

– Кенсингтон-гарденс.

А женщина уже глядеть забыла на статую – ее внимание привлекло озеро, или скорее то, что двигалось через траву и кустарник по дороге к воде.

– На что она смотрит? – спросила Нортон на немецком.

– Похоже на змею, – ответил Эспиноса.

– Здесь нет змей! – воскликнула Нортон.

Тут девушка позвала спутника: «Эй, Родриго, иди сюда, ты должен это увидеть». Молодой человек, похоже, ее не услышал. Он положил блокнотик в карман своей кожаной куртки и застыл, созерцая статую Питера Пэна. Женщина нагнулась, и что-то в траве скользнуло к озеру.

– А ведь точно, похоже на змею, – заметил Пеллетье.

– А я что сказал? – проговорил Эспиноса.

Нортон не ответила, но поднялась со скамейки, чтобы получше видеть.

Той ночью Пеллетье и Эспиносе удалось поспать всего несколько часов. Они легли в гостиной, в их распоряжении были раскладной диван и ковер, но им так и не удалось уснуть. Пеллетье попытался завести разговор про крушение самолета, но Эспиноса сказал: «Не надо мне ничего объяснять, я и так все понял».

В четыре утра они, по взаимному соглашению, включили свет и сели читать. Пеллетье открыл книгу о творчестве Берты Морисо, первой женщины, принятой в кружок импрессионистов, но через некоторое время ему нестерпимо захотелось пухнуть книжкой в стену. А Эспиноса вытащил из кармана «Голову», последний роман Арчимбольди, и принялся просматривать записки на полях – конспект будущего эссе для журнала Борчмайера.

Эспиноса постулировал, а Пеллетье разделял его мнение, что этим романом Арчимбольди завершал свой путь на поприще романиста. После «Головы», говорил Эспиноса, Арчимбольди уйдет с книжного рынка – это мнение другой именитый архимбольдист, Дитер Хеллфилд, посчитал опрометчивым: оно основывалось исключительно на возрасте писателя; впрочем, то же самое говорили об Арчимбольди, когда вышло в свет «Железнодорожное совершенство», более того, то же самое пророчила берлинская профессура после публикации «Битциуса». В пять утра Пеллетье принял душ и сварил кофе. В шесть Эспиноса уснул во второй раз, но полседьмого снова проснулся в преотвратном настроении. Без пятнадцати семь они вызвали такси и убрались в гостиную.

Эспиноса написал прощальную записку. Пеллетье краем глаза пробежал ее и, подумав несколько секунд, решил также оставить прощальную записку. Прежде чем уйти, он спросил Эспиносу, не желает ли тот принять душ. В Мадриде помоюсь, ответил испанец. Там вода лучше. Это правда, согласился Пеллетье, и ему самому не понравился ответ: настолько глупым и примирительным он получился. Потом оба бесшумно ушли и позавтракали, как и несчетные разы до этого, в аэропорту.

На борту самолета, летящего в Париж, Пеллетье по какой-то непонятной причине принялся думать о книге про Берту Морисо – той самой, что давеча хотел швырнуть в стену. «С чего бы?» – спросил себя Пеллетье. Неужели ему не нравилась Берта Морисо? Или ему

не понравилось то, о чем книга напомнила? На самом деле ему нравилась Берта Морисо. И вдруг он понял: а ведь эту книгу не Нортон купила, а он сам, что это он поехал из Парижа в Лондон с завернутой в подарочную бумагу книгой, что Нортон впервые увидела репродукции Морисо именно в этой книге, а он сидел рядом, оглаживал ей затылок и рассказывал о каждой картине. Так что же, он расстраивается потому, что подарил эту книгу? Нет, конечно нет. А может, художница-импрессионистка и расставание с Нортон как-то связаны? Это вообще глупость... Так почему же ему так хотелось шваркнуть книгой о стену? А самое важное – почему он думает о Берте Морисо и ее альбоме и о затылке Нортон, а не о *menage a trois*, чей призрак сегодня ночью висел, как индейский воющий шаман, посреди квартиры англичанки, но так и не материализовался?

На борту летящего в Мадрид самолета Эспиноса, в отличие от Пеллетье, думал о последнем (с его точки зрения) романе Арчимбольди, ведь если Эспиноса прав (а он думал, что прав), романы Арчимбольди более не будут выходить и что` все это означает для него самого, ученого, неясно, а еще он думал об объётом пламенем самолете и о тайных желаниях Пеллетье (как тот прикидывается современным, если этого требует момент, вот же сраный сукин сын) и время от времени посматривал в иллюминатор и на двигатели и умирал от желания поскорее снова оказаться в Мадриде.

Некоторое время Пеллетье и Эспиноса не звонили друг другу. Пеллетье иногда говорил с Нортон, и их беседы становились все приторнее, словно бы их отношения теперь всецело зависели от хороших манер обоих; и еще так же часто, как и раньше, он звонил Морини, с которым у них ничего не поменялось.

То же самое происходило с Эспиносой, хотя тот не сразу это понял: Нортон не шутила и была совершенно серьезна. Естественно, Морини что-то такое ощутил, но чувство такта или лень, та самая тупая и время от времени болезненная лень, которая иногда вцеплялась в него намертво, – словом, Морини решил не показывать, что подметил нечто новое, и Пеллетье с Эспиносой были ему весьма признательны.

Даже Борчмайер (он до сих пор некоторым образом побаивался тандема испанца и француза), даже он заметил что-то новое в переписке, которую поддерживал с ними обоими: какие-то туманные намеки, чуть заметные поправки, легчайшие сомнения и прямо-таки поток красноречия, когда о них заходил разговор... чувствовалось, с некогда общей методологией что-то произошло.

Затем случилась Ассамблея германистов в Берлине, конференция по проблемам немецкой литературы XX века в Штутгарте, симпозиум по вопросам немецкой литературы в Гамбурге и конференция «Будущее немецкой литературы» в Майнце. На ассамблею в Берлине прибыли Нортон, Морини, Пеллетье и Эспиноса, но по ряду причин они сумели побыть вчетвером только один раз, во время завтрака, причем вокруг них сидели другие германисты, храбро ввязавшиеся в схватку с маслом и мармеладом. На конференцию приехали Пеллетье, Эспиноса и Нортон, и Пеллетье удалось поговорить с Нортон наедине (пока Эспиноса обсуждал научные вопросы со Шварцем); когда наступила очередь Эспиносы для разговоров с Нортон, Пеллетье тактично отошел побеседовать с Дитером Хеллфилдом.

В этот раз Нортон поняла, что ее друзья не хотят общаться друг с другом, да что там, они и видеться не очень-то желают, и это произвело на нее крайне тяжелое впечатление – ведь она некоторым образом чувствовала себя виноватой в том, что друзья отдалились друг от друга.

На симпозиум приехали только Эспиноса и Морини, и уж они-то постарались не скучать, а еще, пользуясь тем, что находятся в Гамбурге, отправились с визитом в издательство Бубис и застали там Шнелля, но не госпожу Бубис, которой купили букет роз, – та уехала по делам в

Москву. Вот ведь женщина, сказал им Шнелль, – непонятно, откуда в ней берется такая энергия. И, довольный, рассмеялся, да так, что Эспиноса и Морини сочли его веселье чрезмерным. Перед уходом они вручили букет роз Шнеллю.

На конференцию приехали только Пеллетье и Эспиноса, и в тот раз им не осталось ничего другого, как встретиться лицом к лицу и выложить карты на стол. Поначалу – и это понятно – они успешно избегали друг друга (впрочем, ни разу не погрешив против вежливости), а в некоторых, по пальцам пересчитать можно, случаях они все-таки погрешили против нее. Однако в конце концов им не осталось путей к отступлению, и пришлось все-таки поговорить. Это знаменательное событие случилось в баре гостиницы глубокой ночью, когда за стойкой оставался лишь один официант, самый молоденький из всех, высокий белокурый сонный паренек.

Пеллетье сидел в одном конце барной стойки, а Эспиноса в другом. Потом бар постепенно опустел, и, когда они остались вдвоем, француз встал и сел на табурет рядом с испанцем. Они попытались обсудить конференцию, но буквально через несколько минут поняли, что это глупо и смешно – интересоваться или делать вид, что интересуются, этой темой. И снова Пеллетье, как более поднаторевший в искусстве сближения и разговоров о секретах, сделал первый шаг. Он спросил про Нортон. Эспиноса честно ответил, что ничего не знает. Потом сказал, что время от времени говорил с ней по телефону, и его не оставляло чувство, что он разговаривает с незнакомкой. Про незнакомку ввернул в разговор Пеллетье, так как Эспиноса, время от времени изъяснявшийся многозначительными умолчаниями, сказал о Нортон «занятая», а потом «отсутствующая». Телефон кафедры Нортон некоторое время занимал их мысли, то и дело возникал в разговоре. Белый телефон в белой руке, в белых пальцах незнакомки. Но ведь она никакая не незнакомка. Во всяком случае, они побывали у нее в постели и кое-что да узнали. О белая лань, моя милая белая лань, прошептал Эспиноса. Пеллетье предположил, что цитируется кто-то из классиков, но никак не отреагировал и спросил: превратятся ли они во врагов? Вопрос, похоже, изумил Эспиносу, как будто тот и не рассматривал такую возможность.

– Но это же абсурдно, Жан-Клод, – сказал он, хотя Пеллетье заметил: Эспиноса надолго задумался, прежде чем ответить.

В результате они упились, и молодому официанту пришлось помочь обоим покинуть бар. Финал вечера запомнился Пеллетье прежде всего силой официанта – тот тащил их обоих до лифтов в лобби, словно бы они с Эспиносой были студентками пятнадцати лет, двумя худыми как палка подростками, которых молодой официант крепко зажал локтями; между прочим, этот добрый малый оставался с ними до самого конца, когда все остальные официанты-ветераны уже разъехались по домам; выглядел он как уроженец деревни – если смотреть на лицо и телосложение, а может, он был рабочего корня, а также, глядя на него, Пеллетье вспомнил нечто мимолетное, как шепоток, что же это такое было... да, такой смех, смех Эспиносы, которого официант-крестьянин транспортировал к лифту, тихий, приглушенный такой смешок, как будто было мало дурацкой ситуации, в которой они оказались, а вот Эспиносе она пришлось к месту и стала клапаном для выхода пара, точнее, горестей, о которых он умолчал.

Однажды, по прошествии трех месяцев, в течение которых они не ездили к Нортон, кто-то из них позвонил другу и предложил провести выходные в Лондоне. Неизвестно, кто кому позвонил. В теории человек, который первым набрал номер, видно, отличался развитым чувством верности или дружбы, что в принципе одно и то же, но, по правде говоря, Пеллетье и Эспиноса имели о данной добродетели весьма расплывчатое представление. На словах они, естественно, ее принимали – хоть и с некоторыми оговорками. А вот на практике – наоборот, никто из них не верил ни в верность, ни в дружбу. Они верили в страсть, верили в гибриды социальной и общественной справедливости – кстати, оба голосовали за социалистов, хотя и время от времени воздерживались от волеизъявления на выборах, – верили в возможность самореализации, наконец.

Но точно известно одно: один позвонил другому, тот принял предложение и вечером в пятницу они встретились в аэропорту Лондона, откуда взяли такси до гостиницы, а потом другое такси (время уже шло к ужину, и они забронировали столик на троих в «Джейн & Хлоэ»), которое доставило их к дому Нортон.

Они расплатились с таксистом и застыли на тротуаре, созерцая свет в окнах. Потом, пока машина отъезжала, они увидели тень Лиз, обожаемую тень, а потом... потом – словно бы порыв зловонного ветра ворвался в рекламу прокладок! – они увидели тень мужчины – и у них ноги приросли к земле, Эспиноса оцепенел с букетом в руках, Пеллетье – с альбомом сэра Джейкоба Эпстайна, завернутым в тончайшую подарочную бумагу. Однако китайский театр теней на этом не прекратил своего выступления. В окне тень Нортон, словно бы желая что-то объяснить собеседнику, который не желал слушать, подняла руки. Тень мужчины, к вящему ужасу единственных, раскрывших рот от удивления зрителей, задвигалась, словно бы крутила обруч – или сделала что-то, что Пеллетье и Эспиносе показалось верчением обруча: сначала закрутились бедра, потом ноги, туловище, да даже шея! – и было это движением, исполненным сарказма и насмешки, – если, конечно, мужчина за занавесками не раздевался и не таял, что, естественно, не могло случиться, это было движение или даже серия движений, в которых читались не только сарказм, но и злость, уверенность в себе и злость, причем уверенность в себе очевидная – ведь он был самым сильным, самым высоким и самым накачанным и даже мог крутить обруч.

А вот в движениях тени Лиз виделось нечто странное. Насколько они ее знали – и считали, что знают достаточно хорошо! – англичанка была не из тех, кто позволяет непристойности в своем присутствии, и тем более если эти непристойности имеют место у нее дома. Так что они, взвесив все обстоятельства, решили, что тень мужчины навряд ли крутила обруч или оскорбляла Лиз, – скорее всего, он просто смеялся, и не над ней, а с ней вместе. Вот только тень Нортон, похоже, не смеялась. Затем тень мужчины исчезла: возможно, удалилась смотреть книги, а может, ушла в туалет или на кухню. А может, повалилась в приступе хохота на диван, да так там и лежит. И тут же тень Нортон подошла к окну и, съезжившись, отодвинула занавески и открыла окно, всё с закрытыми глазами, словно бы ей во что бы то ни стало надо было вдохнуть воздух ночного Лондона, а потом она открыла глаза, посмотрела вниз, в пропасть, и увидела их.

Они помахали ей, словно бы такси только что высадило их здесь. Эспиноса махал букетом, а Пеллетье – книжкой, а потом, не задержавшись, чтобы увидеть бесконечно удивленное лицо Нортон, они направились ко входу в здание и подождали, пока Лиз из квартиры откроет им дверь в подъезд.

Они полагали, что все потеряно. Поднимаясь по лестнице, молчали, а затем услышали, как открывается дверь, и хотя не видели, но предчувствовали сияющее присутствие Нортон на лестничной площадке. В квартире пахло голландским табаком. Нортон стояла опершись о дверной косяк и смотрела на них так, словно бы ее друзья давным-давно умерли, а теперь призраками восстают из морских глубин. Мужчина, который ждал в гостиной, был младше их, родился, наверное, в семидесятых, ближе к семьдесят пятому, но никак не к шестидесятому. На нем был свитер с высоким, неприлично растянутым воротником, посветлевшие от стирки джинсы и кроссовки. Выглядел он как аспирант или временный преподаватель.

Нортон сказала, что его зовут Алекс Притчард. И что он ее друг. Пеллетье и Эспиноса пожали ему руку и улыбнулись, несколько делано конечно, но тут уж не приходилось выбирать. А вот Притчард даже не счел нужным улыбнуться. Две минуты спустя они все сидели в гостиной, потягивая виски в полной тишине. Притчард, который пил апельсиновый сок, сел рядом с Нортон и положил ей руку на плечи, – жест, который англичанка сначала не заметила (на самом деле длинная рука Притчарда лежала на спинке дивана, и только его пальцы, длинные,

как у паука или пианиста, поглаживали время от времени блузку Нортон), но, по мере того как шло время, Нортон нервничала все сильнее и сильнее и то и дело выходила то в спальню, то на кухню.

Пеллетье попытался поговорить на всякие обычные темы – кино, музыка, последние театральные премьеры (при этом Эспиноса никак не желал ему помочь и сидел в полном молчании, которое сделало бы честь Притчарду, который тоже не проронил ни слова, однако при всем при том безмолвие Притчарда было молчанием не слишком любопытного наблюдателя, а Эспиноса молчал как существо наблюдаемое и оттого полное горя и стыда). Тут непонятно, как и кто первым начал разговор, и они вдруг заговорили о делах литературоведческих – об Арчимбольди. Возможно, это Нортон из кухни что-то такое сказала про совместную монографию. Притчард дождался, пока она вернется, и снова положил руку на спинку дивана, а паучьи свои пальцы на плечо англичанки. И заявил: фигня это полная, ваша немецкая литература, фигня, обман и мошенничество.

Нортон посмеялась: похоже, она это слышала не впервые. Пеллетье спросил, что он, Притчард, читал из немецкой литературы.

– На самом деле мало что, – ответил юноша.

– Да вы, молодой человек, кретин, – сказал Эспиноса.

– Или невежда – и это еще легко сказано, – поддержал его Пеллетье.

– В любом случае – болван, – сказал Эспиноса.

Притчард не понял, что значит это слово, – Эспиноса произнес его по-испански. Нортон его тоже не знала и попросила объяснить.

– Болван, – сообщил Эспиноса, – это человек непоследовательный, но оно применимо также к невеждам, впрочем, есть невежды последовательные, а болван применим только к непоследовательным невеждам.

– Вы меня оскорбляете? – поинтересовался Притчард.

– Вы чувствуете себя оскорбленным? – спросил Эспиноса и начал обильно потеть.

Притчард одним глотком осушил апельсиновый сок и сказал, что да, он действительно чувствует себя оскорбленным.

– В таком случае у вас, сеньор, проблема, – сообщил Эспиноса.

– Реакции у вас типичны для болвана, – добавил Пеллетье.

Притчард поднялся с дивана. Эспиноса поднялся с кресла. Нортон сказала: так, хватит, что за детсадовские глупости. Пеллетье рассмеялся. Притчард подошел к Эспиносе и ткнул ему в грудь указательным пальцем (тот был длиной почти со средний). И ткнул в грудь раз, два, три, четыре раза, произнося вот что:

– Первое. Мне не нравится, когда меня оскорбляют. Два: мне не нравится, когда меня принимают за невежду. Три: мне не нравится, что какой-то сраный испанец смеется надо мной. Четыре: если тебе есть что сказать – пойдем выйдем.

Эспиноса поглядел на Пеллетье и спросил его – естественно, на немецком, – что тут можно сделать.

– Не выходи, – сказал Пеллетье.

– Алекс, уйди, – сказала Нортон.

В глубине души Притчард драться не хотел, поэтому поцеловал Нортон в щеку и ушел, не попрощавшись с Эспиносой и Пеллетье.

Этим вечером они поужинали втроем в «Джейн & Хлоэ». Поначалу чувствовали себя несколько подавленно, но затем еда и вино подняли им настроение, и домой они возвращались хохоча. Они тем не менее не захотели расспрашивать Нортон насчет того, кто был этот Притчард, равно как и она никак не прокомментировала этот вопрос, так что фигура длинного мрачного юноши так и осталась непроясненной. Практически под конец ужина они, напротив,

заговорили о себе, объясняя, что находились буквально в шаге от того, чтобы похоронить свою давнюю дружбу.

Секс, согласились они, слишком прекрасен (и тут они оба рассказали в том, что употребили именно это прилагательное) для того, чтобы превратиться в банальное препятствие для дружбы, основанной на общности чувств и мыслей. Пеллетье и Эспиноса тем не менее осторожно сформулировали, глядя друг другу в глаза, что идеальный вариант для них и, как они думали, для Нортон – наконец-то выбрать кого-то одного, обставив все как можно более мягко и нетравматично («совершить мягкую посадку», как выразился Пеллетье), – словом, выбрать кого-то одного – или вообще никого, как заметил Эспиноса, в любом случае решение за ней, в смысле за Нортон, и она может принять его, когда ей заблагорассудится, в наиболее удобный для нее момент – или вообще его никогда не принять, а отложить, отсрочить, отодвинуть, перенести и подвинуть хоть до самой своей смерти, им все равно, ибо они влюблены в нее – пусть она их и держит в лимбе – все так же, как раньше, когда они были любовниками и солюбовниками, – и продолжают ее любить потом, когда она выберет одного из них, или потом (и это второе «потом» горчит лишь чуточку, ибо горечь они разделят, то есть горечь будет некоторым образом смягчена), когда она, если будет на то ее воля, не выберет никого. Нортон ответила вопросом, отчасти риторическим, но все-таки приличным в конечном счете: а что случится, если она будет гадать на маргаритке «любит – не любит», а в это время один из них, например Пеллетье, влюбится с первого взгляда в студентку моложе и красивее, а также состоятельнее и привлекательнее, чем она? Должна ли она рассматривать это как нарушение договора и автоматически перестать распространять его действие на Эспиносу? Или она, напротив, должна остаться с испанцем, раз уж никого, кроме него, не осталось? На что Пеллетье и Эспиноса ответили: у подобного сценария практически нет шансов и что она, невзирая на этот сценарий, может делать все, что ей заблагорассудится, хоть в монахини уйти.

– Каждый из нас очень хочет жениться на тебе, жить с тобой, родить от тебя детей, но сейчас, в этот конкретный момент наших жизней, мы хотим только одного: сохранить твою дружбу.

После этого вечера полеты в Лондон возобновились. Иногда приезжал Эспиноса, иногда Пеллетье, а когда и оба прилетали к ней в гости. Когда это случалось, они, как обычно, селились в маленькую и неудобную гостиницу на Фоли-стрит, рядом с Миддлсекским госпиталем. Покидая дом Нортон, они иногда прогуливались по окрестностям гостиницы, обычно молчаливые и неудовлетворенные, даже можно сказать – измотанные необходимостью излучать радость и веселье во время подобных визитов. Время от времени они застывали рядом с фонарем на перекрестке, наблюдая, как в госпиталь въезжают скорые, а потом выезжают. Перекрикивались английские санитары, впрочем, до Пеллетье с Эспиносой их могучие голоса долетали уже приглушенными.

Однажды вечером, когда они вот так стояли и смотрели на необычно пустой въезд в госпиталь, они вдруг задали себе вопрос: а почему никто из них не оставался в квартире Лиз? Наверное, из вежливости – так они сказали. Но ни тот ни другой в такую вежливость больше не верили. А еще они спросили себя, поначалу с неохотой, но чем дальше, тем страстнее: а почему они не спят втроем? В тот вечер из ворот госпиталя изливался болезненно-зеленый свет, бледно-зеленый, как в бассейне, а еще там стоял санитар и курил сигарету, прямо посреди тротуара, а среди запаркованных машин одна уже включила мигалку, желтую, как освещение в отделении для новорожденных, но не в каком-то обычном отделении, а в отделении постапокалиптическом, постъядерном, отделении, в котором уже не было уверенности в будущем – только холод, уныние и равнодушие.

Однажды вечером, звоня Нортон из Парижа или Мадрида, один из них все-таки заговорил на эту тему. К его удивлению, Нортон сказала, что она тоже, и достаточно давно, раздумывала над этой возможностью.

– Не думаю, что мы когда-нибудь тебе это предлагали, – сказал тот, кто звонил.

– Да, я знаю, – ответила Нортон. – Вам страшно. Вы ждете, чтобы я сделала первый шаг.

– Не знаю, – сказал тот, кто звонил. – Возможно, все не так уж и просто.

Несколько раз они сталкивались с Притчардом. Верзила уже не смотрел так кисло, как раньше, хотя справедливости ради нужно сказать, встречи были случайными и времени на наглые выходки у него не было. Эспиноса появился в квартире Нортон, когда Притчард уже уходил, Пеллетье один раз разминулся с ним на лестнице. Тем не менее та встреча была короткой, но знаменательной. Пеллетье поздоровался с Притчардом, Притчард поздоровался с Пеллетье, и, когда оба уже повернулись друг к другу спиной, Притчард обернулся и, шикнув, позвал его.

– Хочешь совет? – сказал он. Пеллетье встревоженно посмотрел на него. – Я знаю, что тебе он на фиг не нужен, но я все равно дам тебе совет. Ты, это, поосторожней, – заявил Притчард.

– Осторожней с кем? – только и сумел выговорить Пеллетье.

– С Медузой, – пояснил Притчард. – Берегись Медузы. – И потом, прежде чем пойти дальше вниз, добавил: – Когда окажется у тебя в руках – будет всю эксплуатировать.

Пеллетье так и застыл на месте, слушая удаляющиеся шаги Притчарда и скрип отворяемой и захлопывающейся двери на улицу. Только когда тишина сделалась невыносимой, он снова пошел вверх. Вокруг смыкалась темнота, и он все думал и думал о случившемся.

Нортон он о странном разговоре не сказал ничего, но уже из Парижа позвонил Эспиносе и рассказал в подробностях о загадочном происшествии.

– Странно как-то, – сказал испанец. – Похоже на предупреждение... и на угрозу тоже похоже.

– А кроме того, – добавил Пеллетье, – Медуза – одна из трех дочерей Форка и Кето, тех самых горгон, трех морских чудовищ. Согласно Гесиоду, Сфено и Эвриала, две другие сестры, были бессмертными. А вот Медуза – смертной.

– Я смотрю, ты классическую мифологию решил почитать? – спросил Эспиноса.

– Как домой приехал, так сразу и бросился читать, – ответил Пеллетье. – И вот еще что: когда Персей отрубил голову Медузе, из тела вышел Хрисаор, отец чудовища Гериона, и конь Пегас.

– Получается, Пегас вышел из тела Медузы? Ни хрена ж себе... – пробормотал Эспиноса.

– Да, Пегас, крылатый конь. Для меня он символизирует любовь.

– Пегас – любовь? – удивился Эспиноса.

– Ну да.

– Странно как-то, – заметил Эспиноса.

– Ну я ж французский лицей оканчивал, – отозвался Пеллетье.

– И ты думаешь, Притчард все эти штуки знает?

– Это невозможно, – сказал Пеллетье. – Хотя кто его знает... Но нет, не думаю.

– Тогда какой из всего этого вывод?

– Что Притчард предупредил меня, ну, нас с тобой, что нам угрожает опасность, которую мы не видим. Или Притчард хотел сказать мне: я – в смысле, мы – обретем истинную любовь только через смерть Нортон.

– Смерть Нортон? – удивился Эспиноса.

– Ну да, разве непонятно? Притчард представляет себя Персеем. Убийцей Медузы.

Некоторое время Эспиноса с Пеллетье ходили как одержимые. Арчимбольди снова прочили в лауреаты Нобелевской премии, но их это не интересовало. Университетские труды, статьи для журналов кафедр немецкой литературы по всему миру, занятия и даже конференции, на которые они ездили, не выходя из сомнамбулического состояния, эдакими детективами под наркотиками, их злили. Они присутствовали – и не присутствовали. Говорили, но думали совсем о другом. Их интересовало только одно – Притчард. Точнее, его зловещее присутствие в жизни Нортон – он ведь ходил кругами, непрерывно, пытаясь ее обаять. Этот Притчард, для которого Нортон – Медуза, Медуза Горгона, этот Притчард, о котором они, как до необычайности скромные зрители, ничего не знали.

Чтобы восполнить пробелы, они начали спрашивать единственного человека, который мог бы дать ответы на их вопросы. Поначалу Нортон не пожелала ничего рассказывать. Он преподаватель – как они и подозревали, – но работал не в университете, а в средней школе. Не уроженец Лондона – он родом из деревни рядом с Борнмутом. Год проучился в Оксфорде, а потом – Эспиноса и Пеллетье этого не поняли и не поняли бы никогда – переехал в Лондон и окончил учебу в тамошнем университете. Политические взгляды – левые, так называемые «латентно левые», Нортон припомнила, что он некогда рассказывал ей о своих планах – которые все никак не воплощались в жизнь – вступить в партию лейбористов. Преподавал он в обычной государственной школе, где в классах училось приличное число детей иммигрантов. Импульсивный, щедрый, но без воображения – впрочем, в этом Пеллетье и Эспиноса даже не сомневались. Но это их не успокаивало.

– Ага, этот мудачина, может, и не наделен воображением, но потом-то он может – бабах!!! – и проявить это самое воображение, только держись! – злился Эспиноса.

– Да тут целая Англия таких свиней, – поддержал его Пеллетье.

Однажды вечером они общались по телефону, Мадрид с Парижем, и вдруг (на самом деле вовсе и не вдруг) обнаружили, что ненавидят, причем с каждым разом все сильнее, Притчарда.

Во время следующей конференции, в которой они принимали участие («Творчество Бенно фон Арчимбольди как зеркало XX века», два дня, принимала Болонья, зал плотно укомплектован молодыми итальянскими архимбольдистами и отрядом архимбольдистов-неоструктуралистов из нескольких стран Европы), они приняли решение рассказать Морини все, что с ними произошло в последние месяцы, – и проговорить все страхи, которые досаждали им при одной мысли о Нортон и Притчарде.

Морини, состояние которого несколько ухудшилось в сравнении с прошлым разом (хотя ни испанец, ни француз этого не заметили), терпеливо выслушал их в баре гостиницы, и в траттории неподалеку, и в дорогом ресторане Старого города, и во время прогулок по болонским улицам, пока они катили его инвалидную коляску и ни на минуту не замолкали. В конце концов они запросили его мнение насчет этого крайне запутанного в реальности и в воображении дела, а Морини просто спросил: поинтересовался ли кто-нибудь из них, а может, оба сразу, любит ли или чувствует влечение к Притчарду сама Нортон. Они признались: нет, не спросили, из чувства такта, ну и дело такое щекотливое, дело тонкое, и вот Нортон еще не хотелось обидеть, в общем, нет, не спросили.

– Так надо было с этого начать, – сказал Морини (он чувствовал себя плохо, и его тошнило от наматываемых по городу кругов, но ни разу он даже не застонал от боли).

(И вот когда наш рассказ подошел к этой теме, нужно сказать – права пословица: «прославься и можешь отправляться спать», потому что Эспиноса и Пеллетье не то что не внесли никакого порядочного вклада в материалы конференции «Творчество Бенно фон Арчимбольди как зеркало XX века», они в ней практически не участвовали, и это в лучшем случае, потому что в худшем – пребывали в кататоническом ступоре, как будто враз потеряли силы и

интерес к происходящему, преждевременно постарели или подверглись влиянию стресса, и это не укрылось от глаз некоторых гостей, привыкших, что на этого типа мероприятиях испанец и француз энергичны, и даже более чем нужно энергичны, ибо они могли атаковать невзирая на лица; а еще это заметил выводок архимбольдистов последнего поколения, эти мальчики и девочки, только что выпущенные из университета, мальчики и девочки с еще горяченькой, с пылу с жару, диссертацией под мышкой, – и все они требовали, не разбираясь в средствах, насадить свое прочтение Арчимбольди, словно миссионеры, готовые насадить веру в Бога, даже если для этого придется заключить договор с дьяволом, и были они, скажем, рационалистами – не в философском, а в буквальном смысле этого слова, которое часто употребляли с негативным оттенком, – людьми, кого интересовала не столько литература, сколько литературоведение, единственная область, где – так они говорили, во всяком случае, среди них были те, кто так говорил, – можно еще сделать революцию, так что они вели себя не просто как молодые люди, а как *новые* молодые люди, в том же смысле, как есть старые деньги и есть новые деньги, люди, в общем и целом, повторим это, вполне вменяемые, хотя зачастую не способные шнурки себе завязать, люди, которые заметили, что пролетевшие перед ними в Болонье, подобно кометам, Пеллетье и Эпиноса и были и не были, присутствовали и отсутствовали на конференции, но при этом не сумели понять главное: все, что говорилось там об Арчимбольди, навевало на них смертельную скуку; то, как они стояли под взглядами толпы – бесхитростно и очень похоже на жертв каннибализма, которых молодежь – завязтые и *постоянно* голодные каннибалы, – так и не увидела; их лица молодых тридцатилетних, налитые сознанием успеха; их гримасы, когда отвращения, а когда и безумия; их бормотание, сводящееся в конечном счете к одному-единственному слову: *полюби меня*, или, пожалуй, одно слово и одно предложение: *полюби меня, дай мне полюбить тебя*, – но это все, очевидным образом, никто не разглядел.)

Так что Пеллетье и Эпиноса, пронесшиеся подобно двум призракам над Болоньей, во время следующего визита в Лондон спросили – как бы это сказать, тяжело, как после пробежки, дыша, возможно во сне, а возможно и наяву, главное, что беспрерывно, – так вот, они спросили Нортона, эту самую любимую Лизу, которая не сумела приехать в Болонью: любит она Притчарда?

И Нортона ответила – нет. А потом сказала: возможно, что и да, и вообще трудно дать окончательный ответ на такой вопрос. А Пеллетье и Эпиноса ответили, что им это нужно знать. То есть им нужно окончательное, так сказать, подтверждение. А Нортона им: а почему сейчас, почему именно в этот момент их интересует Притчард?

А Пеллетье и Эпиноса, уже с глазами на мокром месте, сказали ей: если не сейчас, то когда же?

И Нортона их спросила: вы что, ревнуете? И тогда они ответили: дожили, как можно подумать, что они, старинные друзья, могут ревновать? Звучит практически как оскорбление.

А Нортона им: да я же просто спросила! И Пеллетье и Эпиноса сказали: не готовы мы отвечать на такой гадкий, провокационный и злонамеренный вопрос! А потом они втроем пошли ужинать и выпили лишнего, счастливые как дети, и говорили о ревности и печальных ее последствиях. А еще они говорили о неизбежности, в смысле о том, что ревность возникает неизбежно. А еще – о необходимости ревности – вы только посмотрите, полночь близится, а их ревность интересует. И это если не упоминать сладостность и открытые раны, что иногда, и под взглядом кое-кого, желанны. Потом они сели в такси и продолжили упражняться в дискурсе.

А таксист (пакистанец) поначалу несколько минут наблюдал за ними в зеркало заднего вида и, словно не веря своим ушам, молчал, а потом произнес что-то на своем языке и повел машину через Харсворт-парк к Императорскому военному музею, по Брук-стрит, а потом по Острал, а потом по Джеральдин, да еще обогнул парк, что было уже совсем неоправданно. И когда Нортона сказала ему, что он потерялся и ему нужно свернуть на такие-то улицы, таксист

промолчал и не стал ничего говорить на своем непонятном языке, но потом все равно признался: да, действительно, этот город-лабиринт запутает кого угодно.

И тут Эспиноса воодушевился и заявил, что таксист – естественно, сам того, блядь, не зная, – процитировал Борхеса, который однажды сравнил Лондон с лабиринтом. На что Нортон ответила, что задолго до Борхеса Диккенс и Стивенсон уже применили к Лондону этот троп. А вот этого уже, как стало ясно, таксист уже стерпеть не мог, потому что тут же сказал: он, пакистанец, может, и не знает этого самого Борхеса да не читал никогда этих самых товарищей Диккенса и Стивенсона, и Лондон он, пожалуй, хорошо не знает, и в улицах запутался, а потому и сравнил его с лабиринтом, но он зато знает, что такое достоинство и благородство, и что, судя по тому, чего он тут наслушался, присутствующая здесь женщина, то есть Нортон, лишена как достоинства, так и благородства, и в его стране таких женщин называют одним словом, и надо же, какое совпадение, в Лондоне называют их так же, и имя им – шлюха, хотя так же можно пустить в ход имена «сука», «потаскуха» и «проблядь», и что присутствующие здесь джентльмены, которые, судя по выговору, не англичане, также называются определенными именами в его стране, и имена эти – «сутенер», «кот», «сводник» и «шмаровоз».

Данный монолог, без преувеличения можно сказать, застал архимбольдистов врасплох – настолько, что они даже запоздали с реакцией: наглые речи таксист завел на Джеральдин-стрит, а они сумели выдать из себя слово только на Сейнт-Джордж-роуд. Слова эти были такими: немедленно остановите такси, мы выходим. Или такими: ну-ка давайте останавливайте свою мерзкую машину, мы предпочитаем выйти. Пакистанец это немедленно проделал – встал у обочины и, посмотрев на счетчик, объявил, сколько ему должны пассажиры. Подобное действие, или сцена, или прощание показались Пеллетье и Нортон, все еще парализованным неожиданной вербальной атакой, вполне нормальными, но переполнили, и с лихвой, стакан терпения Эспиносы, который, выйдя из машины, открыл переднюю дверь такси и извлек из него водителя. Тот, конечно, не ожидал подобной реакции от так хорошо одетого джентльмена. Еще менее таксист ожидал, что на него изольются дождевым потоком иберийского происхождения пендели, причем сначала пенделей давал только Эспиноса, а затем устал, и эстафету подхватил Пеллетье, несмотря на крики Нортон, мол, не надо, прекратите, несмотря на слова Нортон, мол, насилием дела не решишь, что теперь этот битый пакистанец, напротив, будет только больше ненавидеть англичан, – вот только на Пеллетье это не произвело ни малейшего впечатления, потому что он-то англичанином не был, а Эспиноса – тем более не был; впрочем, пенделям в их исполнении аккомпанировали ругательства на английском, и плевать им обоим было, что азиат уже давно лежит на земле, свернувшись в позе эмбриона, – н-на тебе раз, н-на тебе два, засунь себе в жопу свой ислам, там ему самое место, а это тебе за Салмана Рушди (с другой стороны, оба они считали его не самым лучшим писателем, но из песни слова не выкинешь), а это тебе от парижских феминисток (да хватит уже, мать вашу, орала Нортон), это от феминисток Нью-Йорка (да вы же его так убьете, орала Нортон), это лично от призрака Валери Соланас, сучий ты сын, и так они продолжали и продолжали, а потом остановились и увидели, что он без сознания, а из всех отверстий головы, исключая глаза, у него течет кровь.

Они прекратили пинать таксиста, и на несколько секунд на них снизошло самое странное в их жизни спокойствие. Странное – словно бы в конце концов они сумели объединиться в *menage a trois*, о котором так много мечтали.

Пеллетье чувствовал себя так, будто кончил. Эспиноса, за исключением некоторых различий и нюансов, чувствовал то же самое. Нортон смотрела на них, но в такой темноте ничего не видела, и она, похоже, испытала множественный оргазм. По Сейнт-Джордж-роуд время от времени проезжали машины, но заметить их, даже близко проехав, было невозможно. В небе – ни звезды. Ночь же тем не менее стояла ясная: все просматривалось так отчетливо, все очертания самых малых предметов, словно бы ангел одарил их очками ночного видения. Кожа ощу-

щалась чистой и нежной на ощупь, хотя все трое обильно потели. В какой-то момент Эспиноса и Пеллетье подумали, что убили пакистанца. Нортон явно пришло на ум то же самое, потому что она наклонилась над таксистом и пощупала ему пульс. Подойти, присесть на корточки – все это причиняло сильнейшую боль, словно бы ей вырвали из суставов все кости ног.

С Гарден-роу вышла группка людей. Они пели. Смеялись. Трое мужчин и две женщины. Не трогаясь с места, Эспиноса, Пеллетье и Нортон развернули головы в том направлении и замерли в ожидании. Группка людей двинулась в их сторону.

– Такси, – пробормотал Пеллетье, – они к такси идут.

И только тут они заметили, что внутри кабины горит свет.

– Уходим, – сказал Эспиноса.

Пеллетье взял Нортон за плечи и помог ей подняться. Эспиноса сел за руль и торопил их. Пеллетье затолкал Нортон на заднее сиденье, а потом залез туда сам. Люди с Гарден-роу шли прямо к углу, где лежал таксист.

– Он живой, дышит, – сказала Нортон.

Эспиноса завел машину, и они уехали. На другом берегу Темзы, на улочке рядом с Олд-Мэрилебоун, оставили такси и дальше пошли пешком. Хотели поговорить с Нортон, объяснить ей, что случилось, но она даже до дома себя довести не разрешила.

На следующий день за обильным завтраком в гостинице они перечитали все газеты в поисках новости о пакистанском таксисте – но нет, ничего такого не было. После завтрака они пошли за желтой прессой. Там тоже ничего не было.

Они позвонили Нортон, которая, похоже, уже немного отошла и не так сильно на них злилась. Они заверили ее, что надо срочно встретиться во второй половине дня. Что им нужно сказать ей кое-что важное. Нортон ответила, что она тоже хочет сказать нечто важное. Чтобы убить время, они решили прогуляться. Несколько минут постояли у Миддлсекского госпиталя, созерцая въезжавшие и выезжавшие машины скорой помощи, в них каждый пациент казался им пакистанцем, которого они немножко поколотили, но потом это им наскучило, и они пошли, частично совладав с совестью и ее упреками, гулять по Чаринг-кросс к Стрэнду. Естественно, они поделились секретами. Взаимно, так сказать, открыли сердца. Обоих больше всего беспокоил вопрос с полицией: а ну как их уже ищут? И скоро поймают!

– Перед тем как выйти из такси, – признался Эспиноса, – я стер свои отпечатки пальцев. Платком.

– Да знаю я, – откликнулся Пеллетье, – я на тебя посмотрел и то же самое сделал. Со своими отпечатками и Лизиними.

Они снова прошлись, на этот раз особо тщательно, по фактам, которые и привели их – без возможности что-либо изменить – к драке с таксистом. Притчард. Вне сомнений. И Горгона, смертная, ни в чем не виноватая Медуза, отделенная по природе от своих бессмертных сестер. И угроза – скрытая или не такая уж и скрытая. И нервы. И оскорбление, которое им нанес этот невежественный чурбан. Вот бы радио послушать – так они думали – вдруг там что-то передают про их дело. Поговорили и об ощущениях, которые испытывали, пока пинали скорчившееся на земле тело. Как во сне все было. И еще – сексуальное возбуждение. Неужели я хочу оттрахать этого несчастного? Да ни за что. Скорее... словно бы... словно бы они сами себя оттрахали. Словно бы сами себя расцарапывали. Длинными ногтями и безрезультатно, оставаясь с пустыми руками. Хотя, если у человека ногти длинные, это не обязательно значит, что у него пустые руки. Они, словно бы в странном сне, расцарапывали и расцарапывали кожу, раздирая ткани, вены и внутренние органы. Чего они искали? Сами не знали. А в данном положении это их и подавно не интересовало.

Вечером они увиделись с Нортон и высказали ей всё о Притчарде – что знали и чего боялись. И еще о Горгоне, о смерти Горгоны. О женщине, которая беззастенчиво использует других. Она позволила им говорить, пока у них не кончились слова. Потом их успокоила. Притчард не способен и муху обидеть, сказала она. Они разом подумали об Энтони Перкинсе, который всех уверял в своей безобидности, а потом случилось то, что случилось, но предпочли не спорить и согласились – правда, изрядно сомневаясь – с аргументами. Потом Нортон села и сказала: а вот то, что случилось вчера вечером, оно нуждается в объяснении.

Чтобы отвлечь ее внимание от их бесспорной вины, они поинтересовались, не слыхать ли чего-нибудь об этом пакистанце. Нортон сказала – да, слыхать. На местном канале телевидения прошла новость. Люди, возможно те самые, что у них на глазах вышли с Гарден-роу, нашли тело таксиста и вызвали полицию. Четыре сломанных ребра, сотрясение мозга, разбитый нос и выбиты все зубы на верхней челюсти. Сейчас он в больнице.

– Моя вина, – вздохнул Эспиноса. – Я психанул из-за этих оскорблений.

– Давайте некоторое время не будем встречаться, – сказала Нортон. – Мне нужно все обдумать.

Пеллетье согласился, но Эспиноса все еще винил себя: нет, что с ним Нортон не будет встречаться, – это справедливо, он согласен, но вот Пеллетье – с ним-то почему не видеться?

– Ну хватит уже глупостей, – тихо сказал Пеллетье, и Эспиноса только тогда понял, что действительно порет чушь.

Тем же вечером они вернулись каждый к себе домой.

По приезде в Мадрид Эспиноса перенес небольшой нервный срыв. Он начал плакать в такси, которое везло его домой, – тихонько, закрывая ладонью лицо, но таксист понял, что он плачет, и спросил, всё ли у него в порядке и как самочувствие.

– Всё в порядке, – ответил Эспиноса, – просто я разнервничался.

– Вы местный? – поинтересовался таксист.

– Да, – сказал Эспиноса, – я мадридец.

Некоторое время оба молчали. Потом таксист снова атаковал его вопросом: интересуется ли он футболом? Эспиноса сказал, что нет, никогда не интересовался. Ни футболом, ни каким-либо другим спортом. И, чтобы не обрывать грубым образом беседу, добавил: «Прошлым вечером я едва не убил человека».

– Ничего себе, – сказал таксист.

– Ну вот да, – вздохнул Эспиноса. – Едва не убил.

– А за что? – удивился таксист.

– Да вот нашло на меня что-то... – пояснил Эспиноса.

– За границей? – спросил таксист.

– Да! – Тут Эспиноса впервые рассмеялся. – Не здесь, не здесь, и, кстати, у того мужика профессия была редкая.

А вот у Пеллетье ни нервного срыва не было, ни с таксистом, который довез его до дома, он не разговаривал. Добравшись до квартиры, он принял душ и приготовил себе немного итальянской пасты с оливковым маслом и сыром. Потом просмотрел электронную почту, ответил на несколько писем и залег в постель с романом молодого французского автора – не шедевром, но занимательным – и литературоведческим журналом. Он быстро уснул, и приснилось ему нечто в высшей степени странное: что он женат на Нортон, а живут они в просторном доме у прибрежных скал, откуда открывался вид на пляж и людей в купальниках, которые загорали и плавали, не слишком, впрочем, удаляясь от берега.

Замелькали дни. Из своего окна он непрестанно смотрел, как садится и восходит солнце. Иногда подходила и что-то говорила Нортон – но никогда не переступала порога комнаты. Люди так и лежали на пляже. Иногда ему казалось, что ночью они вовсе не расходятся по домам

– или же, собравшись, возвращаются в темноте перед рассветом длинной такой процессией. А еще, бывало, он закрывал глаза и облетал пляж как чайка, и тогда мог разглядеть купальщиков вблизи. Попадались самые разные люди, правда, в основном взрослые – тридцатилетние, сорокалетние, пятидесятилетние – и все они сосредоточенно занимались какой-то ерундой: обмазывались маслом, ели сэндвичи, из вежливости прислушивались к болтовне друга, родственника или соседа по пляжу. Тем не менее они иногда, стараясь не привлекать внимания, вставали и вперялись взглядом в горизонт – не долее чем на секунду, а горизонт оставался таким же – безмятежно ясным, безоблачным, прозрачно-голубым.

Когда Пеллетье открывал глаза, то задумывался над поведением купальщиков. Очевидно, они чего-то ждали, но не так чтобы с огромным нетерпением. Просто время от времени принимали сосредоточенный вид, и глаза их задерживались на одну-две секунды на горизонте, а потом снова отдавали себя течению времени на этом пляже, и на лицах их не отражались ни сомнения, ни разочарования. Полностью погрузившись в созерцание купальщиков, Пеллетье забывал о Нортон, будучи, похоже, уверенным в ее присутствии, каковое присутствие обнаруживал шум, время от времени доносившийся из внутренних комнат, где или не было окон, или же они выходили на холмы и поля, а не на море и на переполненный пляж. Спал Пеллетье – это он обнаружил, основательно углубившись в сон, – в кресле рядом с рабочим столом и окном. Причем спал явно мало, и, даже когда солнце садилось, он пытался как можно дольше бодрствовать, вперившись глазами в пляж, превратившийся в черный холст или глубокий колодец; он пытался выискать хоть какой-нибудь свет – очерк фонаря или выходящая пламя костра. Чувство времени изменяло ему. Еще он смутно припоминал сцену, которая то ли вгоняла в краску стыда, то ли воодушевляла – всё в равных частях. На столе лежали бумаги – рукописи Арчимбольди, именно рукописи, он их и купил в таком качестве, хотя, просматривая теперь, сознавал, что написаны они на французском, а не на немецком. Рядом стоял телефон, который никогда не звонил. С каждым днем становилось все жарче.

Однажды утром, около полудня, он увидел, как купальщики отрываются от своих обычных занятий и застывают, глядя, все разом, на горизонт. Там ничего не происходило. Но тогда, в первый раз, купальщики начали разворачиваться и уходить с пляжа. Одни проскальзывали по грунтовой дороге между двумя холмами, другие уходили прямо в поле, цепляясь за кусты и камни. Немногие терялись из виду где-то по направлению к ущелью, и Пеллетье не видел их, но знал, что они начинают долгое восхождение к вершине. На пляже уже не было людей, только в песчаной впадине лежал, чуть высовываясь, какой-то сверток, темное пятно на желтом фоне. Несколько мгновений Пеллетье взвешивал в уме необходимость спуститься к пляжу и закопать, со всеми приличествующими случаю предосторожностями, этот сверток на дне дырки. Но только мысли его касались долгого пути, который пришлось бы проделать, чтобы дойти до пляжа, он покрывался потом и потел все сильнее и сильнее, словно где-то у него открылся краник, который никак не получалось прикрутить.

И тогда он замечал в море какое-то дрожание, словно бы вода тоже вспотела, в смысле, вскипела. Это едва заметное дрожание распространялось по волнам и в конце концов достигало волн, что катились к пляжу, дабы разбиться и умереть. И тогда Пеллетье чувствовал головокружение и слышал жужжание пчел, что доносилось откуда-то снаружи. А когда жужжание стихало, устанавливалась тишина, что была страшнее звука, и тишина эта затапливала дом и окрестности. Тогда Пеллетье начинал кричать, он звал Нортон, но никто не отзывался на его крики, словно бы призывы о помощи поглотило молчание. Тогда Пеллетье начинал плакать, и у него на глазах из металлически блестящего моря вырастала разбитая статуя. Бесформенный кусок камня, огромный, источенный временем и водой, но даже сейчас там можно было абсолютно ясно разглядеть руку, запястье, предплечье. И статуя эта вздымалась из моря и нависала над пляжем, и была она ужасна и одновременно красива.

В течение нескольких дней Пеллетье и Эспиноса продемонстрировали, каждый со своей стороны, муки раскаяния после истории с пакистанским таксистом, который вращался вокруг их растревоженной совести подобно призраку или электрогенератору.

Эспиноса задавался вопросом: а не открывает ли подобное поведение его истинную сущность – ультраправого ксенофоба, склонного к насилию? А Пеллетье, напротив, подкармливал уязвленную совесть такими соображениями: он ведь пинал пакистанца, когда тот уже лежал на земле, а это ведь крайне неспортивно... Еще он спрашивал себя: а какая в том была необходимость? Таксист уже получил заслуженное воздаяние, разве была надобность в том, чтобы прибавить к насилию насилие?

Однажды ночью они созвонились и долго беседовали. Изложили друг другу свои дурацкие соображения. Начали утешать друг друга. Но уже через несколько минут опять сожалели о случившемся, хотя в глубине души и были уверены в том, что настоящий ультраправый и мизогин – пакистанец, что склонность к насилию выказал – пакистанец, что в этом случае недостаток воспитания и отсутствие толерантности выказал – пакистанец, что все это навлек на себя – пакистанец, и так тысячу раз по кругу. В такие моменты, скажем честно, если бы таксист вдруг материализовался рядом с ними, они бы его точно убили.

В течение долгого времени они забыли и не вспоминали больше свои еженедельные поездки в Лондон. Забыли о Притчарде и Горгоне. Забыли об Арчимбольди, слава которого все росла, а они этого не видели. Забыли о своих работах, те писались рутинно и с отвращением, да и писали эти работы даже не они, а их ученики или преподаватели на временной ставке, заразившиеся любовью к Арчимбольди, что подкреплялась обещаниями постоянной ставки или повышения зарплаты.

Приехав на очередную конференцию, оба они – пока Поль читал прекрасную лекцию об Арчимбольди и теме стыда в немецкой послевоенной литературе – отправились в один берлинский бордель и переспали с двумя очень высокими длинноногими блондинками. Выйдя оттуда около полуночи, они почувствовали себя настолько довольными, что принялись распевать как малые дети под библейски сильным ливнем. Секс со шлюхами был чем-то радикально новым в их жизни, и они несколько раз закрепили этот опыт в разных европейских городах, и в конце концов он стал их повседневым занятием в городах, где они проживали. Другие, похоже, спали с аспирантками. Они же, боясь влюбиться или, наоборот, разлюбить Нортон, выбрали для себя шлюх.

В Париже Пеллетье находил их в Интернете, всякий раз с прекрасными результатами. В Мадриде Эспиноса отыскивал их в колонке объявлений с содержанием «предлагаем расслабиться...» и так далее в «Эль-Паис», которая хотя бы в этом отношении предоставляла проверенную информацию практического толка – в отличие от своего посвященного культуре приложения, в котором практически ничего не писали про Арчимбольди и где ломали копыя героипортугальцы. То же самое можно было сказать и о культурном приложении «АБС».

– Эх, – жаловался Эспиноса в разговорах с Пеллетье, возможно, в поисках хоть какого-то утешения, – всегда-то мы, испанцы, были провинциалами...

– Это правда, – отвечал Пеллетье после двухсекундной паузы на то, чтобы обдумать ответ. Авантюры со шлюхами, с другой стороны, не остались без последствий.

Пеллетье познакомился с девушкой по имени Ванесса. Та была замужем, и у нее был сын. Иногда она не виделась с ними целыми неделями. Говорила, муж ее просто святой. Были у него и недостатки – например, он был арабом, конкретнее марокканцем, кое в чем слабоватым, но в общем нормальным чуваком, который практически никогда не сердился, а если и сердился, то не впадал, как большинство мужчин, в гнев и не сыпал оскорблениями, а приобретал вид грустный и меланхолический, словно бы пасуя перед кошмарами слишком большого и непо-

нятно устроенного мира. Пеллетье спросил: а твой араб в курсе, что ты шлюха? Ванесса сказала, что да, в курсе, что он это знал, но ему все равно, так как он верил в свободу личности.

– Тогда он твой сутенер, – предположил Пеллетье.

На это Ванесса ответила, что да, вполне возможно, если присмотреться, то да, он ее сутенер, но не такой, как остальные сутенеры, которые требуют от женщин слишком многого. Марокканец же ничего от нее не требовал. Временами, сказала Ванесса, она тоже впадала в обычную свою лень, перманентную слабость и неохоту, и тогда все трое испытывали трудности с деньгами. В такие дни муж довольствовался тем, что у них было, и пытался – с редким успехом – найти себе поденный заработок, который позволил бы им оставаться на плаву. Он – мусульманин и иногда молился лицом к Мекке, но тут было все ясно: он не такой, как остальные мусульмане. Он говорил, что Аллах разрешает все или почти все. А вот если кто сознательно причинит вред ребенку – это нет, это не дозволено. Или вот еще издеваться над ребенком, убить ребенка, бросить ребенка на верную смерть – нет, это запрещено. Все остальное – вещи относительные и в конечном счете – дозволенные.

Однажды, рассказала Ванесса Пеллетье, они поехали в Испанию. Она, ее сын и марокканец. В Барселоне они встретились с младшим братом марокканца, который жил с другой француженкой, толстой и высокой. Марокканец сказал Ванессе, что они музыканты, но на самом деле профессиональные нищие. Никогда больше она не видела марокканца таким счастливым. Тот постоянно смеялся, рассказывал смешные истории и без усталости бродил по барселонским районам, доходя до пригородов или забираясь в горы, с которых открывался вид на весь город и величие Средиземного моря. Никогда, говорила Ванесса, никогда она не видела человека с такой жизненной силой. Детей-живчиков – да, видела. Немногих, но некоторых встречала. Но среди взрослых – нет, никогда.

Когда Пеллетье спросил Ванессу, от марокканца ли ее сын, та ответила нет, и что-то в тоне ее ответа дало понять, что вопрос показался ей обидным и ранящим, словно бы принижающим ее сына. Тот же был белым, практически светловолосым, и ему исполнилось шесть – если она не ошибалась – лет, когда Ванесса познакомилась с марокканцем. Тогда у меня в жизни был жуткий период, сказала она, не вдаваясь в детали. Появление марокканца трудно было считать Божией милостью. Однако, когда они встретились, у нее, конечно, были трудные времена, но он в буквальном смысле этого слова умирал от голода.

Пеллетье Ванесса понравилась, и они встречались несколько раз. Была она молодая и высокая, с прямым, словно греческим, носом, с надменным взглядом и стальным блеском в глазах. Ее презрение к культуре, в особенности книжной, отдавало, как ни странно, лицейским снобизмом, чем-то, где совпадали невинность и элегантность, чем-то, где концентрировалась, как считал Пеллетье, непорочность в такой степени, что Ванесса могла себе позволить самые дикие высказывания и никто бы этого не вменил ей в вину. Однажды вечером они закончили заниматься любовью, и Пеллетье поднялся, как был, обнаженным с кровати и поискал среди книг роман Арчимбольди. Посомневавшись немного, решил на «Кожаную маску», думая, что Ванесса, если все сложится хорошо, могла бы прочесть ее как роман ужасов, что мрачные страницы книги могли бы привлечь ее. Поначалу она удивилась подарку, а потом расчувствовалась – обычно клиенты дарили ей одежду, обувь или нижнее белье. Она на самом деле очень обрадовалась книге, особенно после того, как Пеллетье объяснил ей, кто такой Арчимбольди и какую роль этот немецкий писатель играет в его жизни.

– Это как если бы ты подарил мне что-то свое, – проговорила Ванесса.

Услышав это, Пеллетье немного смутился: да, с одной стороны, это действительно так: Арчимбольди – это нечто его, его собственное, ибо он, вместе с несколькими другими людьми, предложил новое прочтение творчества немца, прочтение, которое *проживет долго*, прочтение, такое же амбициозное, как и поэтика Арчимбольди, которое будет теперь сопровождать творчество Арчимбольди долгое время, до тех пор, пока не исчерпает себя или исчерпает себя

(но в это Пеллетье не верил) поэтика Арчимбольди, ее способность вызывать эмоции и прозрения; с другой стороны, все было не так: временами, особенно после того как они с Эспиносой перестали летать в Лондон и встречаться с Нортон, творчество Арчимбольди, то есть его романы и рассказы, виделось ему бесформенной и таинственной вербальной массой, массой, совершенно ему чуждой, чем-то, что появлялось и исчезало каким-то непредсказуемым образом, под непонятными предлогами, виделось ему ложной дверью, фальшивым именем убийцы, гостиничной ванной, полной амниотической жидкости, в которой он, Жан-Клод Пеллетье, сведет счеты с жизнью – а почему? Совершенно бесплатно, немного смущенно – словом, почему? Да потому, что – почему бы и нет?

Как он и ожидал, Ванесса не сказала, понравилась ли ей книга. Однажды утром он проводил ее до дома. Она жила в рабочем районе, и иммигрантов там было немало. Они пришли к ней домой, мальчик смотрел телевизор, и Ванесса принялась ругать его: почему, мол, в школу не пошел? Мальчик сказал, у него что-то не то с желудком, и Ванесса тут же приготовила ему травяной отвар. Пеллетье смотрел, как она ходит по кухне. Ванесса излучала колоссальную энергию, девяносто процентов которой уходило в ненужные движения. В квартире царил ужасающий беспорядок – частично из-за сына, частично из-за марокканца, но большею частью из-за самой Ванессы.

Через некоторое время доносившийся из кухни шум (падающие на пол ложки, отправившийся туда же стакан, крики в никуда и безадресные вопросы типа где, черт побери, эта трава для отвара), привлек марокканца. Их друг другу не представили, но они пожали друг другу руки. Муж оказался низеньким и худеньким. Вскоре сын Ванессы станет выше и крупнее его. Он носил усы (весьма густые) и постепенно лысел. Поздоровавшись с Пеллетье, который еще толком не проснулся, он уселся на диван и стал смотреть мультфильмы вместе с мальчиком. Когда Ванесса вернулась из кухни, Пеллетье сказал, что ему пора.

– Нет проблем, – бросила она.

Ответ ее показался Пеллетье несколько агрессивным, но затем он припомнил, что Ванесса всегда такая. Мальчик попробовал отвар и сказал, что надо положить сахар, а потом даже не притронулся к исходящей паром чашке, в которой плавали весьма странные и подозрительные, на взгляд Пеллетье, листья.

Этим утром в университете он часто отключался – все думал о Ванессе. Они снова встретились, но в постель не легли (хотя он заплатил ей за секс) и проболтали несколько часов. Прежде чем уснуть, Пеллетье успел сделать несколько выводов: Ванесса была прекрасно подготовлена как в аспекте душевном, так и физическом, к жизни в Средние века. Для нее понятие «современная жизнь» не существовало. Она верила в то, что видела своими глазами, а не в то, что сказали СМИ. Она ничего не принимала на слово и была храброй, хотя, парадоксальным образом, из-за этой храбрости почему-то полагалась, к примеру, на официантов, кондукторов поездов, коллег в трудных ситуациях – и эти люди практически всегда предавали или обманывали ее доверие. Подобные случаи приводили ее в бешенство, и она становилась чудовищно, невообразимо агрессивной. Еще она была злопамятна и хвалилась тем, что всегда говорит все в лицо без обиняков. Еще она считала себя свободной женщиной, и на все у нее находился ответ. То, что она не понимала, ее и не интересовало. Она не думала о будущем, даже о будущем собственного сына, а жила настоящим, которое у нее длилось вечно. Она была красива, но красивой себя не считала. Больше половины ее друзей были иммигрантами из Северной Африки, но она считала иммиграцию опасной для Франции, хотя так и не проголосовала за Ле Пена.

– Шлюх, – сказал Эспиноса тем вечером, когда Пеллетье ему рассказал о Ванессе, – надо трахать, а не психоанализом с ними баловаться.

В противоположность своему другу, Эспиноса не помнил их имен. С одной стороны помещались тела и лица, а с другой, как в вентиляционной шахте, мелькали Лорены, Лолы, Марты, Паулы, Сусанны – имена, у которых не было тела, лица, у которых не было имен.

И он никогда не ходил к одной женщине дважды. Он познакомился с доминиканкой, бразильянской, тремя андалусийками и одной каталонкой. С первого раза выучился молчаливости, оставаясь для них хорошо одетым чуваком, который платит и показывает, часто жестом, чего хочет, а потом одевается и уходит, словно бы и не было его никогда. Он познакомился с чилийкой, которая рекламировала себя как чилийку, и колумбийкой, которая рекламировала себя как колумбийку – словно бы национальность придавала делу некой извращенной остроты. Он делал это с француженкой, двумя поляками, русской, украинкой и еще с немкой. Однажды переспал с мексиканкой, и она оказалась лучшей.

Как всегда, они сняли номер в гостинице, но утром, проснувшись, он не обнаружил мексиканку в постели. Тот день выдался каким-то странным. Словно бы внутри у него что-то переполнилось и лопнуло. Он долго сидел на кровати – голый, поставив ноги на пол, и пытался вспомнить что-то смутное. В душе вдруг обнаружил, что под ягодицей у него что-то есть. Как будто кто-то укусил или поставил пиявку на левую ногу. Синяк остался будь здоров – с кулачок ребенка. Первым делом он подумал на шлюху – может, это она ему засос оставила. Но ничего такого не вспоминалось, в памяти всплывало только, как он лежал на ней, а она перекинула ноги ему через плечи, и еще там были какие-то мутные, непонятные уже слова, и неясно, кто это говорил, он или мексиканка, и, похоже, там еще ругательства проскакивали.

Несколько дней он все еще верил, что забыл ее, но однажды вечером обнаружил, что ищет ее на улицах Мадрида – тех, на которых обычно стояли шлюхи, а еще в Каса-де-Кампо. Однажды вечером ему показалось, что это она, и он пошел за женщиной и тронул ее за плечо. Она обернулась – испанка, это была испанка, и ничем она не походила на мексиканскую проститутку. Другой ночью, во сне, ему показалось, что он вспомнил ее слова. Он прекрасно понимал, что все происходит во сне, что сон этот хорошим не кончится, понимал, что, скорее всего, забудет ее слова, и это, наверное, к лучшему, но все равно решился сделать все возможное, лишь бы вспомнить их по пробуждении. Даже во сне, где небо вращалось, как водоворот в замедленной съемке, он попытался резко проснуться, попытался включить свет, попытался крикнуть – чтобы собственный крик вверх его в бодрствование, однако лампочки в доме, похоже, все перегорели, а вместо крика у него вырвался тихий стон, словно бы девочка или мальчик заплакали, или подвывал какой-то зверь, запертый в далекой комнате.

Проснувшись, он, естественно, все забыл, помнил только, что ему снилась мексиканка, как она стояла посреди плохо освещенного коридора, а он смотрел на нее, и она этого не замечала. Мексиканка вроде как читала что-то на стене – граффити или какие-то непристойности, выведенные фломастером, – она их выговаривала по слогам, словно бы не умела читать молча. Еще несколько дней он продолжал искать ее, а потом устал и переспал с венгеркой, двумя испанками, гамбийкой, сенегалкой и аргентинкой. Больше она ему не снилась, и в конце концов он ее забыл.

Время все лечит, и у него получилось заглушить голос совести, стереть чувство вины за учиненное в Лондоне побоище. И вот однажды Пеллетье и Эспиноса вернулись к работе свеженькие как мытый салат. Стали снова писать статьи и ездить по конференциям с невиданным энтузиазмом, словно бы время, когда они ходили по шлюхам, было эдаким отпуском на борту круизного лайнера. Снова стали часто общаться с Морини, которого сначала решили не информировать о своих авантюрах, а потом нечувствительно забыли. Итальянца они нашли, как всегда, не в здравии и даже в худшем состоянии, чем раньше, но тот оставался по-прежнему открытым к общению, умным и скромным, что значило буквально следующее: преподаватель Туринского университета не задал им ни единого вопроса и не потребовал никаких объяснений. Однажды вечером, к удивлению обоих, Пеллетье заявил Эспиносе, что Морини –

он как приз. Приз, который боги присудили им обоим. Подобное утверждение не имело никаких оснований, приводить аргументы было тут занятием рискованным, ибо аргументирующая сторона рисковала раствориться в топях пошлости, но Эспиноса, который думал то же самое, тут же заявил Пеллетье, что тот прав. Жизнь снова им улыбалась. Они съездили на несколько конференций. Насладились новыми блюдами. Читали и позволяли себе быть несерьезными. Все то, что вокруг них раньше застопорилось и скрипело и ржавело, вновь пришло в движение. Жизнь других снова стала видимой, хотя и не так уж отчетливо. Угрызения совести растворились, словно смех весенней ночью. Они снова стали звонить Нортон.

На радостях (они снова вместе!) Пеллетье, Эспиноса и Нортон договорились встретиться в баре, точнее, в крошечном кафетерии (даже не крошечном, а лилипутском: два столика и стойка, за которой плечом к плечу умещается не более четырех клиентов) в какой-то не пойми какой художественной галерее, размером чуть больше, чем этот бар: там выставлялись картины, но также продавались подержанные книги, одежда и обувь, и все это располагалось на перекрестке Хайд и Парк-гейт, совсем недалеко от посольства Голландии – страны, в которой всех троих восхищала приверженность демократическим ценностям.

Там, сказала Нортон, подают лучшие маргариты во всем Лондоне; Пеллетье и Эспиносе было все равно, но они изобразили воодушевление. Естественно, они оказались единственными посетителями, а единственный служащий – или хозяин? – заведения, похоже, либо уснул, либо только что встал с кровати; в противоположность ему Пеллетье и Эспиноса держались молодцом, хотя оба поднялись в семь утра и летели самолетом, который, в довершение всего, опоздал; так вот, оба они, свеженькие и крепкие, были готовы пережить эти лондонские выходные.

Правда, поначалу им было сложно разговаривать. Пеллетье и Эспиноса воспользовались паузой, чтобы рассмотреть Нортон: она, как всегда, была прекрасна и привлекательна. Время от времени ее внимание привлекал хозяин галереи: тот муравьиными шапочками обходил свои владения, снимал с вешалок платья и уносил в заднюю комнатку, из которой выходил с такими же или очень похожими платьями и развешивал их на местах, где висели те, что он унес.

То же молчание, что никак не смущало Пеллетье и Эспиносу, для Нортон оказалось крайне некомфортным – и она принялась быстро и даже немного свирепо рассказывать о своих университетских делах за то время, пока они не виделись. Тема изначально была крайне скучной и быстро себя исчерпала, после чего Нортон пустилась в рассказы о вчерашнем и позавчерашнем дне, а потом и вовсе замолчала. Некоторое время они, улыбаясь как белки, дегустировали свои маргариты, но молчание становилось все более и более неловким, словно бы внутри себя, в этом вербальном междуцарствии, медленно вызревали и теснили и обдирали друг друга слова и мысли, а подобные зрелища и танцы – не то, на что хочется смотреть с удовольствием. Поэтому Эспиноса решил припомнить поездку в Швейцарию: Нортон в ней не участвовала, так что рассказ должен был ее немного развлечь.

Разливаясь соловьем, Эспиноса не позабыл ни о чистеньких городах, ни о реках, которые зывали своим видом художников, ни о горных склонах, покрытых по весне зеленым ковром. А потом он рассказал о том, как они, трое друзей, уже после завершения конференции, отправились на поезде через засеянные поля в одну деревеньку на полпути между Монтрё и отрогами Бернских Альп; там взяли такси, которое их повезло по зигзагообразной, но прекрасно асфальтированной дорожке к санаторию, пафосно названному в честь политика или финансиста конца XIX века, Клинике Августа Демарра, за чьим в высшей степени достойным именем скрывался весьма цивилизованный и неприметный сумасшедший дом.

Идея отправиться в подобное место посетила не Пеллетье и не Эспиносу, а Морини, он умудрился где-то выяснить, что там живет художник, которого итальянец считал одной из

самых неприятных и странных фигур конца XX века. Или нет. Возможно, итальянец ничего такого не говорил. В любом случае, художника того звали Эдвин Джонс и он отрезал себе правую руку – руку, которой писал картины! – забальзамировал и приклеил к холсту с чем-то вроде множественного автопортрета.

– А почему ты мне раньше ничего такого не рассказывал? – перебила его Нортон. Эспиноса пожал плечами.

– Да нет, я рассказывал, – возразил Пеллетье.

Но через несколько секунд сам понял: нет, и вправду никогда не рассказывал.

Нортон, ко всеобщему изумлению, расхохоталась – а это, надо сказать, за ней почти не водилось – и заказала еще одну маргариту. Некоторое время – точнее, время, которое понадобилось хозяину, который все так же развешивал и снимал платья, чтобы принести им коктейли, все трое провели в молчании. Потом, уступив просьбам Нортон, Эспиносе пришлось продолжить свой рассказ, но это быстро ему наскучило.

– Давай ты дальше рассказывай, – сказал он Пеллетье, – ты же тоже там был.

История Пеллетье начиналась с того места, где трое архимбольдистов застыли перед решеткой из черного металла на входе в сумасшедший дом имени Августа Демарра, решеткой весьма внушительной, возведенной, дабы приветствовать посетителей или помешать им выйти (или зайти); хотя нет, история Пеллетье началась несколькими секундами ранее, когда он с Эспиносой и Морини в инвалидной коляске замерли у железных врат и железной же ограды, что тянулась и вправо и влево, и там и там теряясь из виду под нависшими над ней кронами старых и хорошо ухоженных деревьев, а Эспиноса подошел к машине, залез по пояс в кабину, расплатился с таксистом за ожидание и договорился, чтобы тот подъехал забрать их через какое-то разумное время. Затем все трое встали лицом к лицу с сумасшедшим домом, который вырисовывался вдалеке, там, где заканчивалась дорога, и виделся он крепостью XV века, но не из-за облика, а из-за ощущения, которое инерция его силуэта вызывала в душе.

Так что же это было за ощущение? Оно... оно было странное. Например, в смотрящего вселялась совершеннейшая уверенность в том, что Американский континент не был открыт, в смысле, уверенность в том, что Американский континент *никогда* не существовал, что вовсе не препятствовало постоянному экономическому росту, или обычному демографическому росту, или продвижению демократических ценностей в швейцарской республике. В конечном счете, сказал Пеллетье, это одна из этих странных и бесполезных идей, которые забредают в головы во время путешествий, в особенности если путешествие совершенно точно бесполезно для путешествующего, как, например и скорее всего, этот их вояж.

Затем им пришлось пройти через лес всевозможных формальностей и бюрократических препон швейцарского сумасшедшего дома. В конце концов – а надо сказать, за все это время им не попался на глаза ни один страдавший душевной болезнью пациент из тех, что проходили лечение в данном учреждении, – медицинская сестра средних лет с совершенно бесстрастным лицом отвела их к маленькой беседке в садах за клиникой – а надо сказать, сады те были огромны и на них открывался прекрасный вид; впрочем, с точки зрения Пеллетье, который катил инвалидную коляску Морини, то, что деревья произрастали на устремленном вниз склоне холма, совершенно не способствовало излечению души, страдающей серьезным или очень серьезным расстройством.

Однако же павильон, против их ожиданий, оказался вполне уютным: окружали его сосны и розовые кусты, оплетавшие балюстраду, а внутри стояли кресла, словно бы позаимствованные из комфортабельного английского сельского дома, также наличествовали камин, дубовый стол, наполовину пустая этажерка с книгами (в основном на немецком и французском языках, впрочем, попадались и английские издания), офисный стол с компьютером и модемом, турецкий диван, совершенно не гармонизировавший с остальной мебелью, санузел с унитазом и раковиной и даже душ с пластиковой занавеской.

– А неплохо они тут живут, – заметил Эспиноса.

Пеллетье же молча подошел к окну и принялся рассматривать открывавшийся за ним пейзаж. У подножия далеких гор он разглядел какой-то город. Видимо, это Монтрё, сказал он сам себе, а может, и деревенька, где они наняли такси. Еще там виднелось озеро – озеро как озеро, без особых примет. Эспиноса подошел к окну и заявил, что те домики вдалеке – точно та деревенька, а не Монтрё. Морини сидел не шевелясь, в своей коляске, сидел и не спускал глаз с двери.

Когда та открылась, он первым увидел его. У Эдвина Джонса были прямые волосы – впрочем, он уже начал лысеть на макушке – и бледная кожа, росту он был невысокого и по-прежнему оставался худым. Под тонким кожаным пиджаком можно было разглядеть серый свитер с высоким воротом. Первым делом Джонс обратил внимание на коляску Морини, которая его приятно удивила: он, видно, не ожидал, что тут может материализоваться подобный предмет. Морини, со своей стороны, не удержался и посмотрел на правую руку художника, точнее, на ее отсутствие; каково же оказалось его удивление, признаться, совсем не приятное, когда он увидел, что из рукава куртки, где должна была зиять пустота, высовывается рука! Да, из пластика, однако сделанная до того искусно, что только терпеливому и заранее осведомленному посетителю стало бы понятно, что это протез.

Следом за Джонсом вошла медсестра, но не та, что привела их сюда, а другая, немного моложе и намного более светловолосая; она присела на один из стульев около окна, вытащила карманную толстенькую книжечку и принялась читать, не обращая вовсе никакого внимания на Джонса и посетителей. Морини представился как филолог из Туринского университета и большой поклонник мистера Джонса, а затем представил своих друзей. Джонс все это время стоял не шевелясь, но протянул руку Эспиносе и Пеллетье, которые осторожно пожали ее, а потом уселся на стул рядом со столом и принялся наблюдать за Морини, словно бы в павильоне никого, кроме них двоих, не было.

Поначалу Джонс предпринял минимальное, едва заметное усилие, чтобы завести беседу. Он спросил, купил ли Морини какое-либо из его произведений. Морини ответил, что нет. А потом добавил, что картины Джонса ему, увы, не по карману. И тут Эспиноса заметил, что книга, которую, не отрываясь, читает медсестра, – антология немецкой литературы XX века. Он пихнул локтем Пеллетье, и тот спросил у медсестры – более, чтобы разбить лед меж ними, нежели из любопытства, – есть ли в этом сборнике тексты Бенно фон Арчимбольди. Медсестра сказала, что да, есть. Джонс искоса поглядел на книгу, закрыл глаза и провел ладонью протеза по лицу.

– Это моя книга, – сказал он. – Я дал ей почитать.

– Невероятно, – пробормотал Морини. – Какое совпадение...

– Но я, естественно, ее не читал – не владею немецким.

Тогда Эспиноса спросил, зачем же он тогда купил эту книгу.

– Из-за обложки, – ответил Джонс. – На ней рисунок Ханса Ветте, он хороший художник. Что же до остального, – добавил Джонс, – то речь не о том, чтобы верить или не верить в совпадения. Самый наш мир – одно большое совпадение. У меня был друг, он говорил, что подобный образ мыслей ошибочен. Мой друг говорил, что для того, кто едет в поезде, мир – не случайность, пусть даже поезд проезжал бы через неизвестные путешественнику страны, которые ему больше никогда в жизни не увидать. Так же не случайность этот мир для того, кто с невероятным трудом в шесть утра поднимается, чтобы идти на работу. У кого нет выбора, тот поднимется и пойдет умножать уже накопленную боль. Боль умножается, говорил мой друг, это факт, и чем сильнее боль, тем меньше случайность.

– Выходит, случайность – она сродни роскоши? – спросил Морини.

В этот момент Эспиноса, который внимательно слушал монолог Джонса, увидел, что Пеллетье стоит рядом с медсестрой, облокотившись на подоконник, а свободной рукой – из учтивости – помогает ей найти страницу с рассказом Арчимбольди. Светловолосая медсестра, сидящая на стуле с книгой на коленях, и Пеллетье, стоящий рядом, – картина эта дышала покоем. В прямоугольнике окна переплетались розы, а за ними зеленели газон и деревья, а вечер уже подплывал тенями между скал, ущелий и одиноких утесов. Тени неприметно расплзались по комнате, и появлялись углы, где их прежде не было, на стенах возникали неровной рукой начертанные рисунки и завивались круги, тут же рассеивающиеся безмолвной взрывной волной.

– Случайность – не роскошь. Это другое лицо судьбы и кое-что еще, – сказал Джонс.

– Что же это? – спросил Морини.

– То, что ускользало от зрения моего друга по очень простой и понятной причине. Мой друг (хотя звать его так – слишком смело с моей стороны) верил в человечество и потому верил в порядок, порядок в живописи и порядок слов, ибо живопись ими пишется. Он верил в искупление. Он даже в прогресс, наверное, верил. Случайность же, напротив, – это полная свобода, к которой мы стремимся в силу собственной природы. Случайность не подчиняется законам, а если и подчиняется, то мы этих законов не знаем. Случайность, если вы мне позволите так выразиться, – она как Бог, который открывает себя каждую секунду существования нашей планеты. Бог, непознаваемый, непознаваемо действует в отношении непознаваемых творений. В этом урагане, сминающем все окостенелое, совершается причастие. Причастие случайности, оставляющее следы в мироздании, каковых следов причащаемся мы.

Тогда и только тогда Эспиноса и Пеллетье услышали или прочувствовали неслышимое – вопрос, который тихим голосом задал Морини, наклонившись вперед так, что едва не выпал из инвалидной коляски.

– Зачем вы нанесли себе увечье?

По лицу Морини бежали последние отблески света, пронизывающие парк сумасшедшего дома. Джонс бесстрастно выслушал его. По его виду можно было подумать, что он знал: этот человек в коляске приехал сюда, дабы получить, как ранее все остальные до него, ответ на этот вопрос. Тогда Джонс улыбнулся и задал свой вопрос:

– Вы опубликуете заметки об этой встрече?

– никоим образом, – ответил Морини.

– Тогда зачем вы меня спрашиваете?

– Я хочу услышать ответ от вас, – прошептал Морини.

Джонс просчитанным – во всяком случае, так показалось Пеллетье – медленным жестом поднял правую руку и поднес ее к лицу застывшего в ожидании Морини.

– Думаете, вы на меня похожи? – спросил Джонс.

– Нет, я же не художник, – ответил Морини.

– Я тоже не художник, – сказал Джонс. – Так что же? Считаете, вы на меня похожи?

Морини повертел головой, и коляска под ним тоже задвигалась. В течение нескольких секунд Джонс наблюдал за ним с улыбкой на тонких бескровных губах.

– А вы как думаете, зачем я это сделал? – спросил он снова.

– Не знаю, честно – не знаю, – проговорил Морини, глядя ему в глаза.

Итальянца и англичанина уже окутал полумрак. Медсестра хотела подняться, чтобы включить свет, но Пеллетье приложил палец к губам и не разрешил ей. Медсестра снова села. На ней были белые ботинки. На Пеллетье и Эспиносе – черные. На Морини – коричневые. На Джоне были белые кроссовки, удобные и для бега на большие расстояния, и для прогулок по мостовым городов. Это было последнее, что увидел Пеллетье, – цвет ботинок, их форма и их неподвижность, а потом ночь погрузила все в холодное альпийское ничто.

– Я скажу, почему я это сделал, – сказал Джонс, и в первый раз за все время жесткое напряжение – плечи расправлены по-военному, спина по стойке смирно – покинуло его тело, и он наклонился, приблизился к Морини и что-то прошептал ему на ухо.

Потом поднялся, подошел к Эспиносе и безупречно пожал ему руку, потом подошел к Пеллетье и проделал то же самое, а потом вышел из павильона, а медсестра покинула комнату вслед за ним.

Включив свет, Эспиноса довел до их сведения – а то вдруг они не поняли, – что Джонс не пожал руку Морини ни в начале, ни в конце встречи. Пеллетье сказал, что он-то как раз заметил. Морини не сказал ничего. А потом пришла та первая медсестра и проводила их к выходу. Пока они шли по парку, она сказала, что такси ждет их у ограды.

Машина отвезла их в Монтрё, где они провели ночь в гостинице «Гельвеция». Все трое чувствовали себя очень усталыми и решили не идти ужинать. Но через пару часов тем не менее Эспиноса позвонил в номер Пеллетье и сказал, что голоден и что собирается пойти прогуляться и заодно посмотреть, может, что-то еще и открыто. Пеллетье сказал, чтобы тот его подождал – пойдем, мол, вместе. Когда они встретились в лобби, Пеллетье спросил, звонил ли он Морини.

– Позвонил, – ответил Эспиноса, – но никто не взял трубку.

Они решили, что итальянец, видимо, уже спит. Тем вечером они вернулись в гостиницу поздно и немного навеселе. Поутру пошли в номер Морини, но не обнаружили его там. Портье сообщил им, что клиент Пьеро Морини закрыл свой счет и покинул гостиницу вчера в полночь (в это время Эспиноса и Пеллетье спокойно ужинали в итальянском ресторане), – так говорит компьютер. В это время он спустился к стойке и попросил вызвать ему такси.

– Он уехал в двенадцать часов ночи? Куда?

Портье по понятным причинам не знал.

Этим утром они обзвонили все больницы Монтрё и окрестностей – Морини туда не поступал. Тогда Пеллетье и Эспиноса сели на поезд до Женевы. Из женевского аэропорта позвонили Морини домой в Турин. Попали на автоответчик, который оба художественно выругали. Потом каждый из них сел на свой самолет.

Едва добравшись до дома, Эспиноса позвонил Пеллетье. Тот уже где-то с час находился у себя дома и сказал: о Морини так ничего и не слышно. Весь день как Эспиноса, так и Пеллетье названивали на номер итальянца и оставляли короткие и с каждым разом все более унылые сообщения на автоответчике. На следующий день они обеспокоились не на шутку и даже подумывали сесть на самолет в Турин и, не найдя Морини, передать это дело в руки правосудия. Однако страх попасть из-за поспешности в дурацкое и смешное положение пересилил, и они никуда не полетели.

Третий день прошел в точности как второй: они звонили Морини, звонили друг другу, взвешивали различные возможности и думали, что можно тут предпринять, взвешивали возможные варианты – как там с психическим здоровьем у Морини? – и признали, что он человек в высшей степени зрелый и здравомыслящий, но так и ничего не предприняли. На четвертый день Пеллетье позвонил прямо в Туринский университет. Трубку взял молодой австриец, временно работавший на немецкой кафедре. Австриец понятия не имел, куда пропал Морини. Тогда Пеллетье попросил к телефону лаборантку. Австриец сообщил ему, что лаборантка вышла позавтракать и пока не вернулась. Пеллетье тут же позвонил Эспиносе и рассказал о звонке, в красках описав подробности. Эспиноса сказал, что теперь его очередь попытать судьбу.

В этот раз к телефону подошел не австриец, а студент кафедры немецкой филологии. Тем не менее немецкий студента был не слишком хорош, поэтому Эспиноса перешел на итальянский. Спросил, вернулась ли лаборантка. Студент ответил, что он сейчас на кафедре один, все ушли завтракать. Эспиноса поинтересовался, в котором часу завтракают служащие Туринского университета и сколько этот завтрак длится. Студент не понял скверный итальянский

Эспиносы, и тому пришлось два раза повторить вопрос, причем второй раз он говорил уже на повышенных тонах.

Студент сообщил, что он, к примеру, практически никогда не завтракает, но это ничего не значит, у каждого свои привычки. Понятно, нет?

– Понятно. – Эспиноса уже скрипел зубами от злости. – Но мне необходимо поговорить с кем-нибудь, кто работает на кафедре.

– Поговорите со мной, – предложил студент.

Тогда Эспиноса спросил: а не пропустил ли доктор Морини какие-либо свои занятия?

– Так, дайте подумать, – проговорил студент.

И потом Эспиноса услышал, как кто-то, тот самый студент, шептал «Морини... Морини... Морини...» каким-то чужим, не своим голосом, голосом волшебника, точнее волшебницы, прорицательницы времен Римской империи, голосом, который доносился до него, подобно каплям, сочащимся из базальтового источника, он рос и наполнился оглушающим шумом, шумом тысяч голосов, грохотом огромной реки, выходящей из русла, и скрывал в себе некий шифр, в котором сокрыта судьба всех голосов.

– Вчера у него было занятие, но он не пришел, – сказал студент после долгого размышления.

Эспиноса поблагодарил его и повесил трубку. Ранним вечером он еще раз позвонил Морини, а потом Пеллетье на домашний. Ни там, ни там никто не ответил, и ему пришлось удовольствоваться пространным сообщением на автоответчики. Затем он сел и задумался. Однако мысли его немедленно устремились к тому, что произошло, к прошедшему в строгом смысле этого слова, прошедшему, что обманчиво видится как практически настоящее. Он припомнил голос на автоответчике Морини, в смысле, записанный голос самого Морини, который без риторических излишеств, но очень вежливо сообщал, что это номер Пьеро Морини, пожалуйста, оставьте свое сообщение; а голос Пеллетье, вместо того чтобы сказать – это телефон Пеллетье, повторял собственный номер, чтобы никаких сомнений не осталось, а затем просил звонящего сообщить свое имя и номер телефона, все в обмен на неопределенное «я потом вам перезвоню».

Тем вечером Пеллетье позвонил Эспиносе, и они, разогнав с горизонта висевшие там тяжкими тучами предчувствия, пришли к соглашению: пусть пройдет несколько дней, нет причин впадать в глупую панику; надо всегда иметь в виду: Морини, что бы он ни учинил, имеет на это полное право и они не могли и не должны были ставить ему никаких препон. Тем вечером, впервые после возвращения из Швейцарии, они смогли спокойно уснуть.

Следующим утром оба отправились на службу, отдохнув телом и успокоив дух, хотя в одиннадцать, перед тем как отправиться обедать с коллегами, Эспиноса не утерпел и снова позвонил на немецкую кафедру Туринского университета – с тем же нулевым результатом. Позже ему позвонил из Парижа Пеллетье и спросил, имеет ли смысл ввести Нортон в курс дела.

Они взвесили все за и против и решили пока не срывать покров молчания с частной жизни Морини – во всяком случае, пока не узнают что-либо поконкретнее. Два дня спустя, уже почти на автомате, Пеллетье позвонил Морини на домашний, и в этот раз кто-то снял трубку. У Пеллетье вырвались слова удивления – его друг подошел к телефону! Это он! Наконец-то!

– Не может быть! – закричал Пеллетье. – Не может быть, это невозможно!

Голос Морини звучал как обычно. Затем настало время поздравлений, чувства облегчения, радости, что закончился не только скверный, но и совершенно непонятный сон. В середине разговора Пеллетье сказал ему, что ему нужно немедленно позвонить Эспиносе.

– Ты же никуда не уйдешь? – спросил он, прежде чем повесить трубку.

– Куда мне идти, сам-то посуди, – ответил Морини.

Но Пеллетье не стал звонить Эспиносе, а пошел и налил себе стакан виски, а потом двинулся на кухню, потом в ванную, потом в кабинет, везде включая люстры и лампы. И только

потом позвонил Эспиносе и рассказал, что обнаружил Морини в здравом уме и трезвой памяти и только что побеседовал с ним по телефону, но сейчас уже не может говорить. Повесив трубку, Пеллетье налил себе еще виски. Спустя полчаса ему позвонил из Мадрида Эспиноса. Действительно, с Морини все в порядке. Сказать, где он пропал эти дни, он отказался. Сказал, ему нужно отдохнуть. Кое-что для себя понять. Эспиноса не стал донимать его вопросами, но ему показалось, будто Морини что-то скрывает. Но что? Эспиноса даже представить себе не мог...

– На самом деле мы о нем крайне мало знаем, – проговорил Пеллетье, которому уже поперек горла стояли Морини, Эспиноса и телефонные звонки.

– Ты спросил, как он себя чувствует? – поинтересовался Пеллетье.

Эспиноса сказал, что да, и Морини его заверил, что чувствует себя превосходно.

– Что мы здесь можем поделать? Ничего, – сделал вывод Пеллетье, и грусть в его голосе не укрылась от Эспиносы.

Через некоторое время они повесили трубки, Эспиноса взял книгу и попытался читать, но не смог.

Нортон тогда сказала (а владелец или служащий галереи все так же снимал с вешалок и развешивал платья), что те дни, на которые пропал, Морини находился в Лондоне.

– Первые два дня он провел один, даже не позвонил мне ни разу.

Когда я его увидела, он сказал, что ходил по музеям и ездил по незнакомым ему районам, которые смутно напоминали ему рассказы Честертона, но уже ничего не имели с ним общего, хотя тень отца Брауна все еще пребывала в них, скажем, не совсем ортодоксальным образом. Все это Морини рассказал, словно бы пытаясь очистить косточку своих хождений по городу от привнесенной драматической шелухи; однако на самом деле картина виделась иначе: вот он сидит в своем номере круглые сутки, занавески раздвинуты, и он час за часом созерцает открывающийся из окна уродливый ландшафт задних стен зданий и читает. Потом Морини ей позвонил и пригласил на обед.

Естественно, Нортон была весьма рада его слышать и в назначенный час подошла к стойке портье, рядом с которой сидел в своей коляске Морини со свертком на коленях, подобно судну, удерживающемуся на волнах, и терпеливо и совершенно бесстрастно наблюдал за толпами гостей и клиентов, которые носились туда-сюда по лобби, выставляя на всеобщее обозрение множество чемоданов, которые тоже перекачивали то туда, то сюда: перед ним проходили люди с усталыми лицами, в воздухе, подобно метеоритному шлейфу кометы, плыли ароматы духов, коридорные стояли с видом хранящего страшную тайну и оттого взволнованного человека, под глазами у постоянного или замещающего менеджера по приему гостей расплывались синяки, за менеджером вилась парочка помощников, на вид весьма наглых, и наглость эту источали также (беспреданно хихикая) некоторые девушки, но Морини, по причине душевной щепетильности, предпочитал на такое не смотреть. Нортон подошла, и они отправились в бразильский вегетарианский ресторан в Ноттинг-хилле – Нортон только недавно в нем побывала.

Узнав, что Морини уже два дня как приехал в Лондон, она спросила, какого черта и где его носило и почему, черт побери, он ей не позвонил. Тогда Морини рассказал ей про Честертона, сказал, что ему нужно было проветриться, похвалил городскую инфраструктуру, хорошо приспособленную для инвалидов – полную противоположность Турину, где люди в колясках ежедневно встречали препятствия для передвижения, сказал, что побывал у некоторых букинистов, кое-что купил, но названий не сказал, упомянул о двух визитах в дом Шерлока Холмса – Бейкер-стрит одна из самых любимых его улиц, улица, которая для такого, как он, итальянца среднего возраста, образованного и слабого здоровьем, увлекающегося детективами, – так вот, эта улица – она вне времени или даже дальше, чем время, любовно (хотя точное слово здесь не «любовно», а «филигранно») сохраненная на страницах доктора Ватсона. Потом они пошли к Нортон домой, и там Морини ей вручил купленный для нее подарок –

книгу о Брунеллески, с замечательными фотографиями, выполненными фотографами четырех национальностей, заснявшими одни и те же здания великого архитектора Возрождения.

– Это всё интерпретации, – сказал Морини. – Лучший – француз. Меньше всего мне нравится американец. Слишком шикарно. И слишком много рвения – во что бы то ни стало хочется ему открыть Брунеллески. *Стать* Брунеллески. Немец ничего такой, но вот француз – да, он лучший, как мне кажется, ты мне потом расскажи, что тебе понравилось.

И хотя она никогда не видела эту книгу, отпечатанную на такой прекрасной бумаге и с такой невероятной обложкой, что она уже сама по себе была редкостной жемчужиной, – так вот, Нортон показалось, есть в ней что-то знакомое. На следующий день они встретились перед театром. У Морини было два билета, которые он купил в гостинице, и они посмотрели дурацкую вульгарную комедию и хохотали над ней без усталости, причем Нортон смеялась больше, чем Морини, который время от времени не понимал фраз на лондонском жаргоне. Тем вечером они поужинали, и, когда Нортон спросила, что подельывал Морини сегодня до театра, тот признался, что гулял по Кенсингтон-гарденс и Итальянским садам Гайд-парка и просто бесцельно передвигался, – хотя Нортон, неизвестно почему, представляла его тихо сидящим в парке, как он иногда вытягивает шею, пытаясь разглядеть нечто, ускользающее от взора, а в основном сидит с закрытыми глазами, делая вид, что спит. За ужином Нортон объяснила ему то, что он не понял в комедии. Только тогда Морини понял, что комедия оказалась даже пошлей, чем он думал. Тут он сполна оценил актерские работы, и по возвращении в гостиницу, пока снимал с себя одежду, не слезая с коляски перед выключенным телевизором, в котором отражались он и номер, отражались странно, призрачно, как персонажи пьесы, которую благоразумие и страх никогда не позволили бы поставить на сцене, он сделал вывод, что не такая уж дурацкая была эта комедия, хорошая она на самом деле: он посмеялся, актерская игра приличная, кресла удобные, а билеты не то чтоб очень дорогие.

На следующий день он сказал Нортон, что ему пора возвращаться. Та отвезла его в аэропорт. Пока они ждали, Морини самым беззаботным тоном, на который был способен, сказал, что, похоже, теперь он знает, почему Джонс отрезал себе правую руку.

– Какой Джонс? – удивилась Нортон.

– Эдвин Джонс, художник, которого ты мне открыла, – ответил Морини.

– Ах да, Эдвин Джонс, – покивала Нортон. – Так почему?

– Из-за денег, – сказал Морини.

– Из-за денег?

– Он верил в инвестиции, в денежные потоки, что тот, кто не вкладывает, не выигрывает, – вот это всё.

Нортон, судя по выражению лица, надолго задумалась. А потом сказала: а что, возможно.

– Он сделал это из-за денег, – еще раз сказал Морини.

Потом Нортон спросила его (в первый раз за все время), как там Пеллетье с Эспиной.

– Я бы предпочел, чтобы они не знали о моей поездке сюда, – проговорил Морини.

Нортон ответила ему вопросительным взглядом, но потом сказала: мол, не волнуйся, я сохраню твой секрет. Потом спросила, позвонит ли он ей, как долетит до Турина.

– Конечно, – ответил Морини.

К ним подошла стюардесса, они обменялись парой слов, и через несколько минут та отошла улыбаясь. Очередь пассажиров пришла в движение. Нортон поцеловала Морини в щеку и ушла.

Прежде чем покинуть галерею, они, грустные и задумчивые, столкнулись с хозяином (или служащим?), и тот сообщил, что всё, скоро закрываемся. Перекинув через руку платье из блестящей ткани, он рассказал: дом, частью которого является галерея, принадлежал его бабушке – благородной и прогрессивной даме. После ее смерти дом унаследовали три племянника –

теоретически, в равных долях. Но тогда он – один из этих трех племянников – жил на Карибах, где научился не только маргариты смешивать, – словом, занимался продажей информации и шпионажем. Для всех родственников он был все равно что пропавшим без вести. А так, да, как он сам сказал: был я шпионом-хиппи с массой вредных привычек. Вернувшись в Англию, обнаружил, что двое его кузенов заняли весь дом. Тогда он подал на них в суд. Но услуги адвокатов стоили дорого, и в результате он согласился на три комнатки, в которых открыл галерею. Но дело не шло: картины не продавались, секонд-хенд тоже не приносил дохода и мало кто приходил в бар продегустировать маргариту. Этот район слишком пафосный для моих клиентов, сказал владелец, сейчас галереи открывают в обновленных рабочих районах, бары – в традиционных для баров местах, а здешние люди не покупают поношенные вещи. Когда Нортон, Пеллетье и Эспиноса уже поднялись и направились к металлической лесенке, которая вела на улицу, хозяин галереи сказал им, что, словно этого было мало, ему стал являться призрак бабушки. Это признание заинтересовало Нортон и ее спутников.

– Вы прямо ее видели, да? – спросили они. Да, видел, кивнул хозяин галереи. Поначалу слышались только странные шумы, словно вода льется или пузырьки лопаются. Таких шумов он еще не слышал в этом доме, хотя, после того как его разделили на отдельные квартиры и, соответственно, оборудовали, чем положено, санузлы, можно было подобрать рациональное объяснение звуку текущей воды. Правда, раньше он ничего подобного не слышал... А потом начали слышаться стоны и даже вскрики, причем не боли, а удивления и горести: видимо, призрак бабушки бродил по своему дому и не узнавал его – еще бы, ведь его разделили на несколько жилищ поменьше и теперь появились стены там, где она их не помнила, и современная мебель, которая ей наверняка казалась вульгарной, и зеркала висели там, где прежде не было никакого зеркала.

Время от времени подавленный и несчастный хозяин оставался ночевать в магазине. Естественно, страдал он не от шумов и стонов призрака, а от того, что дела шли из рук вон плохо и предприятие могло прогореть. В такие ночи он совершенно отчетливо слышал шаги и стоны бабушки, которая бродила по верхним квартирам, словно бы не понимала, что случилось с миром мертвых и с миром живых. Однажды ночью, заперев входную дверь, он увидел ее отражение в единственном зеркале, которое стояло в углу – старинное викторианское зеркало в полный рост, предназначавшееся для примеряющих одежду дам. Бабушка разглядывала картины на стене, потом переводила взгляд на вешалки, а потом, словно бы этого было мало, на два единственных стола в заведении.

Лицо ее искажал ужас, сказал хозяин. Так что это был первый и последний раз, когда он ее видел, хотя время от времени все равно слышал, как она ходит по квартирам наверху, где она явно могла проходить сквозь стены, которых не было в ее время. Когда Эспиноса спросил его, чем именно он занимался в ту пору, когда жил на Карибах, хозяин грустно улыбнулся и заверил их, что вовсе не безумен, как некоторые могли бы полагать. Да, я был шпионом, сказал он, а что, профессия не хуже любой другой, кто-то описывает имущество, кто-то работает в отделе статистики, а он вот шпионом работал. Рассказ хозяина галереи почему-то вверх всех в печаль.

На одном семинаре в Тулузе они познакомились с Родольфо Алаторре, молодым мексиканцем, среди многих прочих авторов прочитавшим и Арчимбольди. Мексиканец, наслаждавшийся стипендией литератора и пытавшийся, похоже безрезультатно, написать современный роман, ходил там на некоторые лекции и, среди прочего, представил сам себя Нортон и Эспиносе, которые отделались от него без долгих слов, потом он подошел к Пеллетье, который тоже не удостоил его своего царственного внимания: он видел в Алаторре лишь одного из бегающих тут стаями молодых европейских исследователей, занудных и бестолковых, вечно толкущихся вокруг апостолов архимбольдианства. К стыду своему, Алаторре не знал и слова по-немецки,

что мгновенно дисквалифицировало его как собеседника. Семинар в Тулузе, с другой стороны, пользовался успехом у публики и того семейства критиков и исследователей, которые знали друг друга по прошлым конференциям и, по крайней мере на словах, были рады снова встретиться и продолжить дискуссии, – так вот, в этой обстановке мексиканцу было нечего делать, разве что отправиться домой (чего он делать не хотел, потому что домом его была голая комната стипендиата, заваленная книгами и рукописями) или остаться здесь и засесть в уголочке, улыбаясь направо и налево и изо всех сил изображая из себя философичный ум, погруженный в решение важных вопросов, – собственно, чем он и занялся. Эта позиция, или, если угодно, плацдарм, тем не менее позволила ему заметить среди гостей Морини, который, будучи ограничен в перемещениях, сидел в своей коляске и рассеянно отвечал на приветствия, то есть виделся Алаторре (или на самом деле был) таким же чужим на этом празднике жизни. Через некоторое время после того, как Алаторре представился Морини, мексиканец и итальянец уже бродили по Тулузе.

Сначала они говорили об Альфонсо Рейесе, которого Морини неплохо знал, а потом о Сор Хуане, о которой написал незабываемую книгу Морино, тот самый Морино, который был так похож на Морини, особенно в тех местах, где рецензировались кулинарные рецепты мексиканской монахини. Затем они заговорили о романе Алаторре, том самом, что он хотел написать, и единственном романе, который у него написать получилось, о жизни молодого мексиканца в Тулузе, о зимних днях, коротких, но почему-то нескончаемых, о немногих французских друзьях (библиотекаряша, еще один стипендиат, эквадорец по происхождению, с которым он встречался от случая к случаю, парень в баре, чьи представления о Мексике казались Алаторре наполовину дикими, наполовину обидными), о друзьях, которых он оставил в столице и которым каждый день писал длинные электронные письма на единственные темы: меланхолия и как продвигается роман.

Один из его столичных друзей, сказал Алаторре самым невинным тоном и с едва замаскированным хвастовством, столь характерным для литераторов нижнего звена, сообщил, что когда-то *совсем недавно* встречался с Арчимбольди.

Поначалу Морини, дотоле особо не обращающий внимания на своего спутника и разрешавший тому возить себя по местам, которые Алаторре посчитал достойными интереса (кстати, все это были места не туристические, но действительно интересные, словно подлинным призванием Алаторре была не литература, а работа туристическим гидом), подумал, что мексиканец, который, ко всему прочему, прочитал только два романа Арчимбольди, хвастался, или он неправильно его понял, или тот не знал, что Арчимбольди никогда никому не показывается на глаза.

Одним словом, Алаторре рассказал, если вкратце, вот такую историю: его друг, эссеист и романист и поэт по имени Альмендро, чувак за сорок и все эти годы известный своим друзьям по кличке Свинья, в полночь проснулся от телефонного звонка. Свинья, поговорив пару минут на немецком, оделся, сел в машину и поехал в гостиницу неподалеку от аэропорта Мехико. Хотя в этот час уже не было пробок, он приехал в гостиницу только в начале второго. В лобби его уже поджидали портье и полицейский. Свинья показал свое удостоверение высокопоставленного чиновника и поднялся вместе с полицейским в номер на четвертом этаже. Там их ждали еще двое полицейских и пожилой немец, который сидел на постели, растрепанный, босой, в серой футболке и джинсах – словно приход полицейского его неожиданно разбудил. Видимо, немец, подумалось Свинье, спал одетым. Один из полицейских смотрел в телевизор. Другой курил, прислонившись к стене. Полицейский, который привел Свинью, выключил телевизор и приказал следовать за ним. Полицейский у стены потребовал объяснить, что происходит, но полицейский, который пришел со Свиньей, приказал тому закрыть рот. Прежде чем копы покинули номер, Свинья спросил на немецком, не украли ли чего. Старик сказал, что нет. Им были нужны деньги, но они ничего не украли.

– Это хорошо, – сказал Свинья по-немецки, – похоже, у нас тут обстановка понемногу улучшается.

Потом спросил полицейских, из какого они участка, и разрешил им уйти. Когда те ушли, Свинья сел рядом с телевизором и сказал, что ему очень жаль. Старик-немец молча поднялся с постели и пошел в туалет. Он был просто гигант, написал Свинья Алаторре. Под два метра чувак. Ну или метр девяносто. В любом случае – огромный и представительный. Когда старик вышел из туалета, Свинья заметил, что теперь на нем ботинки, и спросил, не хочется ли ему выйти прогуляться по городу или чего-нибудь выпить.

– Если вы хотите спать, – добавил он, – так и скажите. И я мгновенно уйду.

– У меня завтра рейс в семь утра, – сказал старик.

Свинья посмотрел на часы – было уже начало третьего ночи, и он не нашелся что сказать. Он, как и Алаторре, практически ничего из прозы старика не читал – переводы его книг на испанский публиковались в Испании и в Мексику попадали с опозданием. Три месяца назад, когда он был главредом одного издательства (до того как превратился в одного из руководителей по культурной части при новом правительстве), он попытался напечатать «Берлинские трупы», но права уже выкупило одно барселонское издательство. Еще Свинью интересовало: откуда у старика его номер телефона? Уже сам факт, что он задал себе вопрос, вопрос, на который не собирался давать никакого ответа, сделал его счастливым, наполнил радостью, которая до определенной степени оправдывала его существование как личности и как писателя.

– Можем выходить, – сказал он. – Я готов.

Старик набросил поверх серой футболки кожаную куртку и последовал за ним. Свинья отвел его на площадь Гарибальди. Они дошли до места: народу было немного, большая часть туристов уже разошлась по гостиницам и на площади оставались пьяницы и гуляки, люди, идущие ужинать, и музыканты-марьячи, живо обсуждавшие последний футбольный матч. По выходящим на площадь переулкам скользили тени, которые время от времени замирали и внимательно их рассматривали. Свинья пощупал пистолет – он носил его со времени, как получил работу в правительстве. Они вошли в бар, и Свинья заказал тако со свиной-карнитас. Старик пил текилу, а он удовольствовался пивом. Пока старик ел, Свинья размышлял над переменами в своей жизни. Меньше чем десять лет назад попробовал бы он зайти в этот бар и заговорить на немецком с высоченным стариканом-иностранцем – тут же бы обругали или почувствовали, по самым странным причинам, себя оскорбленными. Драку Свинья мог бы предотвратить, попросив прощения, или объяснив ситуацию, или проставившись текилой. А сейчас к нему никто не лез, словно бы пистолет под рубашкой или высокая должность в правительстве облакали ореолом святости, который бандиты и пьяницы чуяли издали. Сраные трусливые ублюдки – вот они кто. Учуют его – и сразу в штаны наложат. Потом Свинья принялся размышлять о Вольтере (так почему о Вольтере, уроды поганые?) и потом задумался на тему, которая давно не давала ему покоя: а не попроситься ли ему в Европу послом, ну или на худой конец культурным атташе; хотя с его-то связями должность посла – самое меньшее, что они могли бы ему предложить. А печально то, что в посольстве у него будет только одна зарплата – зарплата посла. Пока немец ел, Свинья думал, уехать ли ему из Мексики, взвешивая все за и против. Среди «за» числилась, без сомнения, возможность вернуться к писательству. Соблазнительная идея, не правда ли: живешь в Италии и где-то рядом, сезон то в Риме проведешь, то в Тоскане, пишешь себе эссе о Пиранези и его воображаемых тюрьмах, думаешь: а вот мексиканские тюрьмы – их архитектор не вдохновлялся чертежами итальянца, однако посмотрите на их иконографию и культурный пласт – вот где Пиранези-то, безусловно, наследил. А вот среди «против» фигурировала, безусловно, необходимость пребывать далеко от власти. А быть далеко от власти – дело дрянное: это он очень рано понял, еще до того, как эту самую власть получил в руки, руководя издательством, которое хотело опубликовать Арчимбольди.

– Послушайте, – тут же сказал он. – А разве про вас не говорили, что, мол, вас никто не видел?

Старик посмотрел на него и вежливо улыбнулся.

Тем же самым вечером, после того, как Пеллетье, Эспиноса и Нортон снова выслушали от Алаторре историю встречи с немцем, они позвонили Альмендро, в смысле Свинье, – тот с удовольствием пересказал Эспиносе то, что в общих чертах уже рассказал им Алаторре. Между Алаторре и Свиньей установились отношения, чем-то похожие на связь учителя и ученика, или старшего брата с младшим братом; на самом деле это Свинья раздобыл для Алаторре стажировку со стипендией в Тулузе – отсюда видно, насколько он ценил братика: в его власти было одарить самыми престижными стипендиями в самых элегантных местах, не говоря уж о должности культурного атташе где-нибудь в Афинах или Каракасе, а что, вроде как ничего особенного, но Алаторре бы и за это был премного благодарен – хотя, по правде, в Тулузе ему было тоже неплохо. А вот в будущем, уверял себя он, Свинья станет пощеднее. Альмендро, со своей стороны, еще не исполнилось и пятидесяти лет, но творчество его за пределами Мехико пребывало в невероятном, невообразимом забвении. Зато в пределах Мехико, а также, скажем откровенно, в некоторых американских университетах, кое-кому его имя было знакомо, причем слишком знакомо. Вот как этот Арчимбольди – если поверить, что старик немец не пошутил над ними и это действительно был Арчимбольди, – раздобыл его телефон? Свинья полагал, что телефон дала немецкая издательница, госпожа Бубис. Эспиноса не без удивления спросил, знакома ли ему эта именитая дама.

– Естественно! – ответил Свинья. – Мы были на празднике в Берлине, устроили там культурное родео с немецкими издателями. Там-то нас и представили.

«Культурное родео – это, мать его, что такое?» – нацарапал Эспиноса на бумажке, которую увидели все, но только Алаторре, коему, собственно, она и была адресована, сумел расшифровать написанное.

– Я, наверное, дал ему визитку, – донесся из Мехико голос Свиньи.

– А что, у тебя на визитке – личный телефон, что ли?

– Ну да, – подтвердил Свинья. – Видно, я дал ему мою визитку А, потому что на визитке Б только телефон офиса. А на визитке С – только номер моей секретарши.

– Понятно, – сказал Эспиноса, набираясь терпения.

– А на визитке D вообще ничего нет, на белом фоне имя – и всё, – сказал, посмеиваясь, Свинья.

– Так-так, – сказал Эспиноса. – Только ваше имя.

– Точно, – подтвердил Свинья. – Имя – и все. Ни номера телефона, ни рода деятельности, ни адреса, понимаете?

– Понимаю, – сказал Эспиноса.

– А госпоже Бубис я, естественно, вручил визитку А.

– А она дала ее Арчимбольди, – покивал Эспиноса.

– Точно, – сказал Свинья.

Свинья расстался со стариком немцем около пяти утра. Поев (старик был голоден и заказал еще такос и еще текилы, пока Свинья прятал как страус голову в раздумья о меланхолии и власти), они отправились прогуляться по Сокало, посмотрели площадь и ацтекские древности, прораставшие из земли словно кусты сирени из бесплодной почвы; как там выразился Свинья, «каменные цветы среди других каменных цветов», беспорядок, который годился лишь на то, чтобы произвести еще больший беспорядок, добавил Свинья, пока они с немцем бродили по улочкам Сокало, пришли на площадь Санто-Доминго, где днем под арками галереи устраивались со своими печатными машинками писцы, составлявшие многочисленные письма, проше-

ния и обращения к властям или в суды. Потом отправились посмотреть Ангела независимости на бульваре Пасео-де-Реформа, но той ночью Ангел не подсвечивался, и Свиные пришлось наворачивая круги по площади, объяснять все это немцу, который смотрел вверх из открытого окна машины.

В пять утра они вернулись в гостиницу. Свиные ждал старика в лобби, покуривая сигарету. Вскоре тот вышел из лифта с одним чемоданом и в той же серой футболке и джинсах. Ведущие в аэропорт проспекты были пусты, и Свиные несколько раз проскочил на красный. Еще он хотел подыскать какую-нибудь тему для разговора, но тщетно. Пока они ели, он уже спросил, бывал ли старик раньше в Мексике, и тот ответил, что нет, – странное дело, обычно европейские писатели любили сюда приезжать. Но старик сказал: «Я здесь в первый раз». В аэропорт ехали многие, так что движение замедлилось. Они заехали в паркинг, старик хотел уже попрощаться, но Свиные настоял на том, чтобы пойти с ним.

– Дайте мне чемодан, – сказал он.

Чемодан катился на колесиках и практически ничего не весил. Старик летел из Мехико в Эрмосильо.

– Эрмосильо? – заинтересовался Эспиноса. – Где это?

– В штате Сонора, – ответил Свиные. – Это столица Соноры, северо-восток Мексики, рядом с границей с Соединенными Штатами.

– А чем вы собираетесь заняться в Соноре? – спросил Свиные.

Старик замялся, словно потерял дар речи.

– Я еду, чтобы узнать получше, – наконец сказал он.

Впрочем, тут Свиные не был уверен. Не сказал ли старик «научиться», а не «узнать»?

– Что узнать? Эрмосильо? – удивился Свиные.

– Нет, Санта-Тереса, – сказал старик. – Вы там бывали?

– Нет, – ответил Свиные, – я пару раз был в Эрмосильо, лекции по литературе читал...

Это давно было. А в Санта-Тереса никогда не был.

– Думаю, это большой город, – сказал старик.

– Большой, да, – кивнул Свиные. – Там фабрики – и много проблем. Не очень-то красивое место.

Свиные показал свое удостоверение и довел старика до выхода на посадку. А перед тем как проститься, дал ему визитку. Визитку А.

– Если возникнут проблемы, звоните, – сказал он.

– Большое спасибо, – ответил старик.

Потом они пожали друг другу руки и разошлись. Больше они друг друга не видели.

Они никому ничего не рассказали. Почему? Решили, что молчание – не предательство, они просто действовали с должной осторожностью и благоразумием, каких требовало дело. Они быстро поняли: лучше не обольщаться ложными надеждами. Борчмайер говорил, что в том году имя Арчимбольди снова прозвучало в числе кандидатов на Нобеля по литературе. Впрочем, за год до того его имя тоже называли в числе тех, кому светил выигрыш в этой лотерее. Вот они, ложные надежды. Дитер Хеллфилд рассказывал, что какой-то член шведской академии – или его секретарь – связался с издательницей прощупать почву: мол, как автор отнесется к премии и что будет делать, когда ее получит? А что может сказать человек, которому за восемьдесят? Зачем человеку за восемьдесят, одинокому, ни жены, ни детей, ни узнаваемого лица, – короче, зачем такому человеку Нобелевская премия? И госпожа Бубис ответила: ему будет очень приятно. Наверное, она ни с кем даже не посоветовалась – видимо, думала только о продажах, которые в таком случае увеличатся. Так что же, выходит, баронессу волновала судьба книг, проданных и непроданных, осевших на складах издательства «Бубис» в Гамбурге? Нет, конечно же, нет. Так говорил Дитер Хеллфилд. Баронессе было уже за девяносто,

и складские остатки ее абсолютно не волновали. Она много путешествовала: Милан, Париж, Франкфурт. Время от времени ее можно было увидеть беседующей с госпожой Селлеро у стенда «Бубиса» на Франкфуртской книжной ярмарке. Или в немецком посольстве в Москве, где она, облаченная в костюм от Шанель и с двумя местными поэтами под локоток, со знанием дела рассуждала о творчестве Булгакова и о красоте (несравненной!) русских рек осенью, перед зимними морозами. Иногда, сказал Пеллетье, кажется, что госпожа Бубис начисто забыла о существовании Арчимбольди. Вот это у нас в Мексике в порядке вещей, заметил молодой Алаторре. Так или иначе, говорил Шварц, все это вполне возможно – Арчимбольди в числе фаворитов нобелевской гонки. Возможно, шведским академикам захотелось перемен. А тут у нас как раз ветеран, дезертир с полей Второй мировой войны, который так и продолжает скрываться – эдакое напоминание Европе о конвульсиях ее недавней истории. Автор – левый, которого уважают даже ситуационисты⁶. Человек, не пытаю-

щийся примирить непримиримое, как сейчас модно. Представь, сказал Пеллетье, Арчимбольди получает Нобеля, и тут появляемся мы с Арчимбольди под ручку.

Они не стали задаваться вопросом, что Арчимбольди понадобилось в Мексике. Действительно, а зачем человеку за восемьдесят ехать в страну, в которой он ни разу не бывал? Внезапно проснувшийся интерес? Необходимость лично увидеть описываемое в книге? Это вряд ли, решили они – по ряду причин. Например, все четверо думали, что новых книг Арчимбольди больше не будет.

Они не сказали этого вслух, однако все четверо решили, что тут и разгадывать-то нечего: Арчимбольди приехал в Мексику как турист – как делали многие немцы и другие европейцы преклонного возраста. Однако объяснение все равно выглядело неудовлетворительным. Они представили себе: вот старый пруссак-мизантроп просыпается, и тут раз – а он уже сумасшедший. Они долго взвешивали за и против – уж не старческая ли у него деменция? Гипотезу, впрочем, отвергли и решили держаться рассказа Свины. Но... а вдруг Арчимбольди бежал? А если Арчимбольди вдруг обнаружил еще одну причину, чтобы скрываться?

Поначалу Нортон была категорически против поисков Арчимбольди. Вот представьте, возвращаются они в Европу с Арчимбольди под ручку – и на кого они похожи? Правильно, на похитителей! Естественно, никто даже и не думал о том, чтобы выкрасть писателя. Более того, никто даже не хотел закидать его вопросами. Эспиноса просто хотел его увидеть. Пеллетье удовлетворился бы ответом на вопрос: из чьей кожи была сшита маска из одноименного романа? Морини бы хотелось просто увидеть несколько фотографий писателя на фоне сонорских пейзажей.

Алаторре никто не спросил, но он бы удовлетворился дружбой по переписке с Пеллетье, Эспиной, Морини и Нортон и, пожалуй, если это не в тягость, возможностью время от времени видеться с ними в их родных городах. Только Нортон упрямо не соглашалась ни на что. Но в конце концов и она решилась ехать. Дитер Хеллфилд сказал: «Арчимбольди живет в Греции. Либо там, либо он уже умер. Также есть третья опция: автор, которого мы знаем как Арчимбольди, на самом деле – госпожа Бубис».

– Да, да! – воскликнули четверо наших друзей. – Госпожа Бубис!

В последний момент Морини решил не ехать: мол, слабое здоровье тому причиной. А вот Марсель Швоб – а он был тоже весьма хрупкого здоровья – в гораздо более трудных условиях отправился в 1901 году к могиле Стивенсона на одном из тихоокеанских островов. Путешествие Швоба было долгим: сначала на «Виль-де-ла-Сиутат», потом на «Полинезьянн», а затем на «Манапуре». В январе 1902 года он заболел воспалением легких и едва не умер. Швоб путе-

⁶ *Ситуационизм* – направление в западном марксизме, возникшее в 1957 году в результате отпочкования от троцкизма.

шествовал со своим слугой, китайцем по имени Тин, и тот вовсе не переносил качку. Или его укачивало только в шторм?.. Так или иначе, все время плавания их то качало, то укачивало. Однажды Швоб лежал на своей кровати в каюте, готовясь отдать Богу душу, и вдруг почувствовал, как кто-то прилег на кровать рядом с ним. Обернувшись, он увидел своего восточного слугу, кожа которого была зелена как молодой салат. Только тогда он понял, в какую передрагу всех втянул с этим путешествием. Преодолев все трудности, он наконец-то добрался до Самоа, но к могиле Стивенсона... не пошел. С одной стороны, он все еще был очень болен, а с другой – зачем приходить на могилу человека, который не умер? Стивенсон – кстати, этим озарением он был обязан своему путешествию – жил в нем.

Морини восхищался Швобом (на самом деле, даже не восхищался – нежно любил) и поначалу подумал, что эту поездку в Сонору что-то роднило (несмотря на разницу в масштабе затеи) с тем путешествием французского писателя, а также с английским писателем, чью могилу хотел навестить французский писатель; однако, вернувшись в Турин, Морини понял, что ехать не может. Он позвонил друзьям и соврал, что врач категорически воспретил ему нагрузки такого рода. Пеллетье и Эспиноса приняли его объяснения и пообещали, что будут регулярно звонить и держать его в курсе относительно успехов в поисках, которые на этот раз всенепременно будут.

С Нортон все вышло по-другому. Морини и ей сказал, что не сможет поехать. Что ему запретил доктор. Что будет писать им каждый день. Даже рассмеялся и позволил себе рассказать глупый анекдот, который Нортон не поняла. Это был итальянский анекдот: летят в самолете итальянец, француз и англичанин, а парашютов всего два. Нортон решила, что это политический анекдот. На самом же деле это был детский анекдот, хотя итальянец в самолете (у которого сначала ломался один двигатель, потом второй, а потом самолет кувырчался в воздухе через нос) походил – во всяком случае, в исполнении Морини – на Берлускони. На самом же деле Нортон практически не открывала рот: в трубке слышалось лишь ее «ага, ага, ага». Потом она пожелала Морини спокойной ночи, и английский ее был до невозможности сладостен – а может, просто Морини так показалось, – а затем положила трубку.

Нортон по каким-то своим причинам восприняла отказ Морини ехать с ними как оскорбление. С тех пор они больше не говорили по телефону. Морини мог бы, конечно, позвонить, но на свой манер и до того, как его друзья занялись поисками Арчимбольди, он, подобно Швобу на Самоа, уже отправился в путешествие, путешествие не к месту погребения смельчака, а к смирению – а такого опыта у Морини еще не было, ибо это было не то смирение, которое обычно называют смирением, и не было оно ни терпеливостью, ни уступчивостью, а походило более на спокойную мягкость, на скромность, удивительную и непонятную, и в этом состоянии он то и дело проливал слезы безо всякого повода, а его собственный образ, то, как Морини воспринимал Морини, постепенно, но неуклонно растворялся, подобно реке, которая пересыхает, или дереву, что пылает на горизонте и само не знает, что горит.

Пеллетье, Эспиноса и Нортон вылетели из Парижа в Мехико, где их уже ждал Свинья. Они провели ночь в гостинице и следующим утром вылетели в Эрмосильо. Свинья был не в курсе всех перипетий их дела, но безмерно обрадовался возможности оказаться полезным столь знаменитым профессорам из европейских университетов; единственно, гости, к его безмерному разочарованию, отказались прочитать какую-либо лекцию в Изыячных Искусствах, Университете или Колехьо Мехикано.

Вечером того дня, что они провели в Мехико, Эспиноса и Пеллетье отправились со Свиньей в гостиницу, где ночевал Арчимбольди. Портье без возражений дал им возможность покопаться в компьютере. Свинья прошелся мышкой по именам, что возникали на светящемся экране: вот те, кто в день знакомства с Арчимбольди заселился в гостиницу. Пеллетье подметил, что у Свиньи грязь под ногтями, и понял, почему его так прозвали.

– Вот оно, – сказал Свинья. – Это он.

Пеллетье и Эспиноса посмотрели, что там с человеком, на которого показал мексиканец Ханс Райтер. Одна ночь. Оплата наличными. Карточкой не пользовался, мини-баром тоже. Потом все трое вернулись обратно в гостиницу, хотя Свинья предлагал им пойти в какое-нибудь местечко с хорошей мексиканской кухней. Эспиноса и Пеллетье отказались.

А Нортон тем временем сидела в номере. Спать не хотелось, но она выключила свет, только экран телевизора светился и еле-еле слышалось его бормотание. В открытые окна номера вползало какое-то негромкое жужжание, словно бы где-то, за много километров отсюда, в районе окружной дороги, эвакуировали население. Она решила, что жужжит телевизор, и выключила его. Опершись на подоконник, оглядела город: море трепещущих огоньков, простирающееся к югу. Если высунуться из окна как следует, жужжания не слышно. Холодало, и это было приятное ощущение.

У входа в гостиницу двое портье спорили с постояльцем и таксистом. Постоялец был пьян. Один портье поддерживал его за плечо, другой выслушивал претензии таксиста, который, судя по жестике, горячился все сильнее и сильнее. И тут перед гостиницей остановилась машина, и из нее вышли Эспиноса, Пеллетье и тот мексиканец. Глядя из своего окна, Нортон не могла бы поручиться, что это ее друзья. Так или иначе, даже если это были они, то все трое выглядели изменившимися: походка стала другая, гораздо мужественнее – если это вообще возможно, слово «мужественность», примененное к походке, Нортон посчитала чудовищным: бред какой-то, чушь и глупость. Мексиканец отдал ключи от машины одному из портье, а затем все трое вошли в гостиницу. Портье с ключами сел в машину Свиньи, и таксист принялся орать на портье, который поддерживал пьяного. Судя по всему, таксист требовал доплаты, а пьяный клиент отеля не хотел платить. Из своего окна Нортон не видела подробностей, но, похоже, клиент был американцем. На нем была белая рубашка, не заправленная в парусиновые брюки цвета капучино или кофейного коктейля. Возраст его трудно было угадать. Тут вернулся второй портье, и таксист отступил на два шага и что-то им сказал.

Выглядел он, по мнению Нортон, угрожающе. Тогда один из портье, тот, что поддерживал пьяного гостя, прыгнул и вцепился таксисту в шею. От неожиданности тот сумел лишь отшатнуться, но портье уже было не стряхнуть. В заволоченном черными тучами смога небе мелькнули огни самолета. Нортон вскинула взгляд – что такое? В воздухе снова послышалось жужжание, словно бы к гостинице слетались тысячи пчел. Поначалу в голове у нее мелькнуло: террористы-смертники? Крушение? У входа в гостиницу двое портье били таксиста, который уже упал на землю. Били ногами, но без энтузиазма: пять-шесть пинков – и пауза. Видимо, они хотели дать таксисту возможность убраться отсюда или что-то сказать, но тот, перегнувшись пополам, продолжал орать и на чем свет стоит костерить их, и тогда портье снова принимались за дело.

Самолет в черном небе немного снизился, так что Нортон, казалось, могла разглядеть прикинувшие к иллюминаторам лица ждущих посадки пассажиров. Тут лайнер развернулся и снова набрал высоту и через несколько секунд исчез в черном брюхе тучи. Красные и голубые хвостовые огни мигнули и исчезли из виду. Тогда она снова посмотрела вниз: один из администраторов вышел на улицу и утаскивал, как тащат раненых, пьяного гостя, а двое портье волокли таксиста – но не к его машине, а к подземному паркингу.

Нортон подумала спуститься в бар, но в конце концов решила закрыть окно и лечь спать. Жужжание продолжалось, и она решила, что это шумит кондиционер.

– У нас тут между таксистами и портье война идет, – пояснил Свинья. – Необъявленная, то потише, то погорячее, с кризисами и перемириями...

– И что теперь будет? – спросил Эспиноса.

Они сидели в баре гостиницы, рядом с огромным, выходящим на улицу окном. Воздух снаружи тек водой, черной как гагат, хотелось положить ладонь на его хребет и погладить.

– Портье объяснят таксисту что к чему, и он еще не скоро сюда вернется, – пояснил Свинья. – Это все из-за чаевых.

Потом Свинья вынул электронную записную книжку с адресами, и они записали в свои органайзеры телефон ректора Университета Санта-Тереса.

– Я с ним сегодня поговорил, – сказал Свинья. – И попросил, чтобы вам оказали всемерную поддержку.

– А кто вытащит отсюда таксиста? – поинтересовался Пеллетье.

– На своих ногах выйдет, – отмахнулся Свинья. – Его отпинают по полной программе в паркинге, а потом выльют пару ведер холодной воды, чтоб очнулся, в машину свою залез и более сюда не совался.

– А если портье и таксисты воюют, то что делать клиентам, когда нужно такси вызвать? – спросил Эспиноса.

– А, в этом случае в гостинице звонят в компанию такси по заказу, те таксисты ни с кем не ссорятся, – ответил Свинья.

Когда они вышли проводить его, из паркинга, хромая, показался таксист. На лице у него не было синяков, а одежда не казалась мокрой.

– Видимо, договорились они, – сообщил Свинья.

– Договорились?

– Ну да. С портье. Деньги, – пояснил Свинья. – Он им денег, наверное, дал.

Пеллетье и Эспиноса на секунду подумали, что Свинья сядет в такси – то как раз стояло в нескольких метрах от них, с противоположной стороны улицы, и выглядело невероятно запущенным; но Свинья кивнул одному из портье – мол, выгоняй мою машину.

На следующий день они вылетели в Эрмосильо, позвонив ректору Университета Санта-Тереса из аэропорта. А потом взяли напрокат машину и отправились в путь к границе. Выйдя из аэропорта, все трое отметили невероятную яркость света Соноры. Словно бы свет изливался в Тихий океан по огромной дуге. Под этим светом очень хотелось есть, хотя, думала Нортон – возможно, подводя итог, – хотелось еще и вытерпеть это чувство голода до конца.

Они въехали в Санта-Тереса с юга, и город показался им огромным цыганским табором или лагерем беженцев, готовых сняться с места по первому сигналу. Они сняли три номера на четвертом этаже отеля «Мехико». Номера казались одинаковыми, однако различались в некоторых деталях интерьера. Так, в номере Эспиносы висело большое полотно с изображением пустыни и отряда всадников – с левой стороны, все одеты в бежевые рубашки, как солдаты или члены клуба верховой езды. В номере Нортон было два зеркала вместо одного. Первое висело рядом с дверью, как в остальных номерах, а второе – на дальней стене, рядом с выходящим на улицу окном, так что можно было, приняв определенную позу, отразиться в обоих зеркалах сразу. В номере Пеллетье они обнаружили, что от унитаза отбит кусок. С первого взгляда незаметно, однако, когда поднимаешь крышку, этот отсутствующий кусок бросался в глаза, да так резко, словно собака над ухом гавкнула. «Какого черта это не починили?» – подумал Пеллетье. Нортон никогда еще не видела столь увечного унитаза. Отбитый край длиной сантиметров двадцать. Под белым слоем фарфора что-то красное, похожее на глину для кирпичей и намазанное глиной печенье. Отбитый кусок имел форму полумесяца. Казалось, его откололи ударом молотка. Или кто-то поднял с пола человека и ударил его со всей силой головой об унитаз, вдруг подумалось Нортон.

Ректор Университета Санта-Тереса показался им человеком любезным и робким. Был он высокий, с легким загаром, словно каждый день подолгу гулял за городом. Он пригласил их на чашку кофе и терпеливо выслушал объяснения, притворяясь, что ему это очень интересно. Потом провел гостей по университету, показывая, какому факультету какое здание принадлежит. Когда Пеллетье решил сменить тему и заговорил про особый свет в Соноре, ректор тут же завел длинные речи про закаты в пустыне и о нескольких художниках – о которых они слыхом не слыхивали – что переехали в Сонору или в соседнюю Аризону.

По возвращении в ректорат он снова угостил их кофе и спросил, в какой гостинице они остановились. Они сказали в какой, и он записал название отеля на бумажке, которую положил в верхний карман пиджака, а потом пригласил их отужинать в его доме. Немного погодя они откланялись. А по дороге из ректората к паркингу увидели стайку студентов, юношей и девушек, которые шли по газону как раз в тот момент, когда включили поливалки. Студенты закричали от неожиданности и бросились бежать прочь.

Прежде чем вернуться в гостиницу, все трое осмотрели город. Он показался таким хаотичным, что они рассмеялись. Оказалось, до этого момента они пребывали в дурном расположении духа. Они осматривались и расспрашивали жителей – такова была их основная стратегия. Вернувшись в гостиницу, вдруг обнаружили, что окружающая среда перестала быть враждебной – впрочем, «враждебная» – это не то слово, это была среда, язык которой они отказывались понимать, среда, существовавшая параллельно с ними, а они могли лишь навязать себя ей – повисить голос, заспорить, а этого им вовсе не хотелось.

В гостинице их ожидала записка Аугусто Герра, декана филологического факультета. В ней декан обращался к своим «коллегам» Эспиносе, Пеллетье и Нортон. «Дорогие коллеги» – так и написал, безо всякой иронии. Глядя на это, они засмеялись еще веселее, но тут же расстроились: дурацкое слово каким-то образом наводило бетонные мосты между Европой и этим скотоводческим захолустьем. «Словно слушаешь, как ребенок плачет», – сказала Нортон. Еще в записке Аугусто Герра желал им как можно лучше провести время в городе и писал о некоем преподавателе Амальфитано, «нашем эксперте по творчеству Бенно фон Арчимбольди», который обязательно придет к ним в гостиницу в этот же самый день, чтобы оказать всемерную помощь. На прощание декан украсил свое послание весьма поэтической фразой: «пустыня – сад окаменевший».

В ожидании эксперта по Арчимбольди они решили никуда не уходить из гостиницы – это решение, похоже, разделяла с ними группа американцев: все трое посматривали в огромные окна гостиничного бара и видели, что туристы неуклонно накачиваются алкоголем на террасе, украшенной самыми разными кактусами, некоторые из них достигали трех метров в высоту. Время от времени какой-нибудь турист вставал из-за стола, подходил к балюстраде, заросшей полусухими растениями, и смотрел в сторону проспекта. Потом, изрядно покачиваясь, возвращался к своим приятелям и приятельницам, и все тут же начинали хохотать, словно бы услышали какой-то сальный, но все равно смешной анекдот. Молодежи среди них не наблюдалось, впрочем, стариков тоже – группа состояла исключительно из людей за сорок и за пятьдесят, и все они, похоже, сегодня вечером должны были лететь домой, в Соединенные Штаты. Понемногу терраса гостиницы стала заполняться, и вот уже не осталось ни одного пустого столика. Ночь постепенно напознала с востока, и в колонках заиграла музыка – первые ноты песни Вилли Нельсона.

Один из набравшихся узнал ее и торжествующе заорал. А потом встал. Эспиноса, Пеллетье и Нортон подумали, что американец сейчас пустится в пляс, однако он подошел к ограде террасы, вытянул шею, посмотрел вверх, посмотрел вниз, а потом вдруг успокоился и сел рядом с женой и своими друзьями. «Тронутые какие-то типы, – пробормотали Эспиноса и Пеллетье. А Нортон, наоборот, подумала: тут явно происходит что-то не то, причем и на про-

спекте, и на террасе, и в номерах гостиницы, и даже во всем Мехико с этими нереальными таксистами и портье, – а может и нет, но человеку рациональному не за что здесь зацепиться, и все это странно, странно настолько, что она не может понять, что происходит, и эти странности – они в Европе тоже присутствовали, начиная с аэропорта в Париже, где они встретились втроем, а может, и еще раньше, когда Морини отказался ехать с ними или вот когда они познакомились с несколько противным молодым человеком в Тулузе, ну или даже с Дитером Хеллфилдом и его неожиданными новостями об Арчимбольди. Да, с Арчимбольди тоже все странно: и с тем, что он пишет, и с ней тоже – тут присутствует что-то неопознанное, как будто внезапные порывы ветра что-то до нее доносят, – и с тем, как она читает, описывает и интерпретирует творчество Арчимбольди.

– Ты попросил, чтобы они тебе унитаза починили? – спросил Эспиноса.

– Да, сказал, пусть что-нибудь придумают. Правда, администратор предложил мне поменять номер. Хотели поселить меня в третий. А я им сказал, мне и тут хорошо, и я хочу остаться в *своей* комнате, а они пусть чинят унитаз после того, как я съеду. Хочу быть поближе к вам, – улыбаясь, заключил Пеллетье.

Об Амальфитано исследователи составили не слишком хорошее мнение – в полном соответствии с впечатлением от города: хотя чего тут ждать от ничем не примечательного места, вот только город этот, расплзшийся по сторонам посреди пустыни, можно было рассмотреть как нечто типичное, полное местного колорита, как дополнительное доказательство того, как богата человеческая натура, даже слишком богата; между тем Амальфитано в первую очередь напоминал уцелевшего в кораблекрушении человека, кое-как одетого, несуществующего преподавателя несуществующего университета, рядового солдата после проигранной битвы с варварами, или, если выразаться не столь патетически, того, кем он действительно являлся – страдающим меланхолией преподавателем философии, что отправился попасть на собственном поле, оседлав капризного и инфантильного зверя, который в один присест заглотив бы Хайдеггера целиком, если бы Хайдеггеру не повезло родиться на американо-мексиканской границе. Эспиноса и Пеллетье видели в нем неудачника, неудачника еще и потому, что он в свое время жил и преподавал в Европе, а теперь вот хотел произвести впечатление человека толстокожего, но его тут же выдавала трогательная, присущая ему мягкость. А вот Нортон, наоборот, увидела в нем человека грустного, стремительно угасающего, которому совершенно не сдались прогулки по этому городу.

Той ночью все трое отправились спать довольно рано. Пеллетье снился разбитый унитаз. Приглушенный шум разбудил его, и он, как был голым, встал и заметил, что из-под двери ванной льется свет. Кто-то его там включил. Поначалу он думал, что это Нортон или даже Эспиноса, но, подойдя, понял – не они. Пеллетье открыл дверь ванной – никого. На полу – большие пятна крови. К ванне и шторке присохла какая-то масса, поначалу показавшаяся ему глиной или рвотой, – но нет, это было дерьмо. Его тошнило от вида дерьма, настолько, что кровь на полу уже не казалась страшной. В этой точке сюжета он и проснулся.

Эспиносе снилась картина с изображением пустыни. Во сне он приподнимался и садился в кровати и оттуда, словно в телевизоре полтора на полтора метра, рассматривал застывшую и полную света пустыню, желтое сияние солнца, которое слепило глаза, фигуры всадников, чьи движения – что у людей, что у лошадей – едва угадывались, словно бы они находились в другом, не нашем мире, где скорость не такая – скорость, которая на вкус Эспиносы была медлительностью, хотя он понимал, что именно благодаря этой медлительности стоящий перед картиной человек не сходил с ума. А еще до него доносились голоса. Эспиноса их слушал. Но голоса трудно было расслышать, и поначалу это были отдельные звуки, короткие стоны, метеоритами

падающие в пустыню и в защищенное пространство гостиничного номера и сна. Отдельные слова он, кстати, разобрал. Быстрота, спешка, скорость, легкость. Слова продирались сквозь разреженный воздух картины, словно вирусы через мертвую плоть. «Наша культура, – сказал кто-то. – Наша свобода». Слово это – «свобода» – прозвучало как щелчок хлыста в пустой аудитории. Проснулся Эспиноса весь в поту.

Во сне Нортон видела себя отраженной в обоих зеркалах. Одно перед ней, второе за спиной. Стояла она, немного наклонившись в сторону. Хотела идти вперед? Отступить? Трудно было понять. В комнате задержался скудный мягкий свет – прямо как вечером в Англии. Ни одна лампа не горела. В зеркалах Нортон отражалась принаряженной: сшитый на заказ серый костюм и, надо же (она очень редко надевала эту вещь), серая шляпка, какие можно было увидеть в модных журналах пятидесятых годов. Возможно, она также надела туфли на каблучке, черные, хотя в зеркале они не отражались. Неподвижность ее тела наводила на мысли о бесплезности и беззащитности, а еще Нортон спрашивала себя, чего, собственно, ждет и почему не уходит, какого сообщения ей не хватает, чтобы выйти из поля зрения обоих зеркал, открыть дверь и исчезнуть. Может, она услышала какой-то шум в коридоре? А может, кто-то пытался открыть ее дверь? Какой-нибудь заблудившийся гость...

Служащий, кто-то, кого прислал администратор, уборщица? Тем не менее вокруг стояла полная тишина, и чувствовалось в ней что-то от спокойствия, от долгого молчания, какое предшествует наступлению ночи. Вдруг Нортон поняла, что женщина в зеркале – это не она. Ею овладел страх, но и любопытство тоже – и она застыла, наблюдая с крайней внимательностью за фигурой в зеркале. «Объективно говоря, – сказала она себе, – та женщина – она же один в один со мной, и с чего бы это мне предполагать, что это не так. Это я». А потом она присмотрелась к шее: вот вена, набухшая, словно вот-вот лопнет, идет от уха и теряется за лопаткой. Странная такая вена, выглядит как нарисованная. И тут Нортон подумала: «Надо уходить отсюда». И обвела взглядом комнату, пытаясь отыскать, где стояла другая женщина, но тщетно. Чтобы отразиться в обоих зеркалах, та должна была стоять между входным коридорчиком и собственно комнатой. Но там ее не было. А вот в зеркалах она изменилась. У женщины совсем тихонько, но шевелилась шея. «А ведь я тоже отражаюсь в зеркалах, – сказала себе Нортон. – И если она продолжит движение, в конце концов мы окажемся друг против друга. Увидим наши лица». Нортон сжала руки в кулаки – надо подождать. Женщина в зеркале тоже сжала кулаки, накрепко, словно бы сверхчеловеческим усилием. Свет в комнате поменял цвет и окрасился пепельным. Нортон показалось, что там, на улице, где-то вспыхнул пожар. Ее бросило в пот. Она опустила голову и закрыла глаза. Потом снова посмотрелась в зеркало: та вспухшая вена на шее увеличилась и теперь уже угадывался профиль женщины. «Нужно бежать отсюда, – подумала Нортон. И еще: – А где же Жан-Клод и Мануэль?» Потом подумала о Морини, но увидела лишь пустую инвалидную коляску, а за ней – огромный непролазный зеленый в черноту лес, в котором через некоторое время узнала Гайд-парк. Когда она открыла глаза, взгляд женщины в зеркале и ее взгляд пересеклись в какой-то неопределенной точке комнаты. У другой были такие же, как у Нортон, глаза. Скулы, губы, лоб, нос. Нортон расплакалась или ей показалось, что расплакалась. От горя или от страха. Она абсолютно такая же, как я, только мертвая. Женщина улыбнулась уголком рта, а потом, практически без перехода, лицо ее исказил страх. Вздвогнув, Нортон обернулась, но за спиной никого и ничего не было – только стена номера. Женщина снова улыбнулась ей. В этот раз она выглядела не испуганной, а безмерно печальной. А потом снова улыбнулась, и в лице ее проглянула горькая тоска, а потом с него и вовсе изгладилось всякое выражение, а потом оно стало беспокойным, а затем смиренным, а потом на нем отразились по очереди все чувства человека безумного, и она так продолжала улыбаться, в то время как Нортон, к которой вернулось хладнокровие, вытаскивала блокнотик и быстро записывала все, что происходило, словно бы в этих заметках была зашифрована ее судьба и доля счастья, отпущенного на земле, и так она писала, пока не проснулась.

Когда Амальфитано сказал им, что в 1974 году перевел для одного аргентинского издательства «Неограниченную розу», литературоведы переменили к нему свое отношение. Им захотелось узнать, где он учил немецкий, как познакомился с творчеством Арчимбольди, какие еще книги его авторства читал и какое составил о них мнение. Амальфитано ответил, что немецкий выучил в Чили, в Колехьо-Алеман, куда ходил сызмальства; а в пятнадцать лет перешел, по причинам, не имеющим отношения к делу, в обычную школу. Первый раз познакомился с книгами Арчимбольди где-то лет в двадцать и тогда прочитал на немецком то, что выдавали на дом в библиотеке Сантьяго: «Неограниченную розу», «Кожаную маску» и «Реки Европы». В библиотеке нашел только три эти книги, а еще *Bifurcaria bifurcata*, но ее начал, но не смог прочитать. Фонды этой обычной библиотеки обогатились частной коллекцией одного немецкого сеньора, который собрал целую библиотеку на немецком и незадолго до смерти передал ее во владение товариществу жителей квартала Ньюньоа в Сантьяго.

Естественно, Амальфитано составил себе хорошее мнение об Арчимбольди, впрочем, это его мнение и близко не походило на обожание, с каким литературоведы относились к немецким авторам. Амальфитано, к примеру, считал одинаково талантливими Гюнтера Грасса и Арно Шмидта. Когда литературоведы поинтересовались, кто первым, он или издатели, захотел перевести «Неограниченную розу», Амальфитано сказал, что, кажется, это издатели из того аргентинского издательства вышли на него. В то время он переводил все что придется, а еще и подрабатывал корректором оттисков. Издание, насколько он знал, было пиратское, хотя решил он так гораздо позже и не мог подтвердить свое предположение.

Когда литературоведы, уже значительно смягчившись в отношении своего гида, спросили, что он делал в 1974 году в Аргентине, Амальфитано посмотрел на них, посмотрел в свою маргариту и сообщил тоном, в котором читалось «сколько можно повторять одно и то же»: в 1974 году он уехал в Аргентину, так как был вынужден покинуть родную землю из-за государственного переворота в Чили. Потом попросил прощения за излишне пафосную фразу. «Все приклеивается», – сказал он, но литературоведы не придали ровно никакого значения этой последней фразе.

– Эмиграция – это, наверно, очень тяжело, – понимающе кивнув, сказала Нортон.

– На самом деле, – отозвался Амальфитано, – сейчас я на это смотрю как на вполне естественное явление: эмиграция на свой лад обнуляет судьбу. Или то, что обычно называют судьбой.

– Но ведь изгнание, – вмешался Пеллетье, – это же неустроенность, разрыв привычных связей и прыжок в неизвестность, и все это переживаешь не по разу. Как тут совершить что-нибудь важное? Трудно ведь...

– Вот в этом и заключается, – ответил Амальфитано, – обнуление судьбы. Еще раз прошу прощения.

Следующим утром они обнаружили Амальфитано в холле гостиницы. Если бы не чилийский преподаватель, они бы точно поделились подробностями своих ночных кошмаров, и кто знает, что еще там могло выплыть на поверхность. Но Амальфитано приехал, и все четверо пошли завтракать и планировать день. Они сидели и рассматривали одна за другой все возможности. Во-первых, было ясно: Арчимбольди не приходил в университет. По крайней мере, он точно не посетил филологический факультет. В Санта-Тереса не было немецкого консульства, так что любые движения в эту сторону можно с чистой совестью прекратить. Они спросили у Амальфитано, сколько в городе гостиниц. Тот ответил, что не знает, но может это уточнить сразу после завтрака.

– Каким образом? – удивился Эспиноса.

– Спрошу у администратора, – ответил Амальфитано. – У них должен быть полный список гостиниц и мотелей в городе и окрестностях.

– Точно, – кивнули Пеллетье и Нортон.

За завтраком они вернулись к главному вопросу: зачем, почему Арчимбольди приехал сюда? Тут Амальфитано наконец узнал, что никто и никогда не встречался с Арчимбольди лично. Это ему показалось – он и сам не понимал почему – смешным, и он спросил: зачем искать Арчимбольди, если совершенно ясно – тот не хочет, чтобы с ним встречались. «Ну мы же творчество его изучаем», – ответили литературоведы. Ведь он умирает, и несправедливо, чтобы лучший немецкий писатель XX века отошел в мир иной, так и не поговорив с теми, кто лучше всех понимал его творчество. «Потому что мы хотим уговорить его вернуться в Европу», – сказали они.

– Я думал, – ответил Амальфитано, – что лучший немецкий писатель этого века – Кафка.

Критики тут же уточнили: хорошо, пусть будет лучший немецкий писатель послевоенного периода или лучший немецкий писатель второй половины XX века.

– А вы читали Петера Хандке? – поинтересовался Амальфитано. – А Томаса Бернхарда?

– Ага-а-а! – вскричали критики.

И до самого конца завтрака беспощадно атаковали Амальфитано, пока тот не превратился в кого-то вроде Перикильо Сарньенто⁷, паршивого попугая, вспоротого от горла до паха и без единого перышка.

У стойки администратора им выдали список городских гостиниц. Амальфитано предложил обзванивать их из университета, раз уж у них сложились отличные отношения с Герра, точнее, вот так: Герра испытывал к литературоведам глубокое, прямо до дрожи, благоговение, впрочем, несвободное от тщеславия и кокетства; правда, тут нужно было бы добавить: за кокетством и благоговением скрывалась хитрость – благорасположение Герры возникло не на пустом месте – такова была воля ректора Негрете, – и Амальфитано прекрасно понимал, что к чему: Герра хотел выжать все, что можно, из приезда сиятельных ученых из Европы, и его можно было понять: будущее сокрыто, и никто не знает наверняка, когда жизненный путь извернется и в каких дотоле незнакомых местах окажется идущий по нему. Но литературоведы отказались от приглашения позвонить из университета и воспользовались телефонами в номерах, записав расходы на свой счет в гостинице.

Чтобы выиграть время, Эспиноса и Нортон звонили из номера Эспиносы, а Амальфитано и Пеллетье – из номера француза. Спустя час результаты обзвона оказались более чем плачевны. Нигде, ни в какой гостинице не останавливался никакой Ханс Райтер. По прошествии двух часов они решили временно прекратить расспросы и спуститься в бар чего-нибудь выпить. Осталось прозвонить лишь несколько гостиниц в городе и некоторые мотели в пригородах. Просмотрев список внимательно, Амальфитано сказал им, что большая часть мотелей в нем – замаскированные бордели, и сложно вообразить, что немецкий турист отправится в такое место.

– Мы ищем не немецкого туриста, а Арчимбольди, – ответил Эспиноса.

– Согласен, – кивнул Амальфитано и действительно вообразил Арчимбольди в мотеле.

– Вопрос, – заметила Нортон, – в том, зачем в этот город приехал Арчимбольди.

Потом они заспорили и в конце концов пришли к выводу, и Амальфитано тоже с этим согласился, что Арчимбольди мог приехать в Санта-Тереса повидаться с другом или собрать

⁷ Герой романа «Паршивый попугай: жизнь и времена Перикильо Сарньенто» (1816) мексиканского писателя Хосе Хоакина Фернандеса де Лизарди. Эта книга считается первым романом, который был написан и опубликован в Латинской Америке.

материал для будущего романа. Или для того и другого вместе. Пеллетье склонялся к тому, что Арчимбольди все-таки приехал к другу.

– К старому другу, – предположил он. – Тоже немцу.

– Немцу, которого он давно не видел. С конца Второй мировой войны, – сказал Эспиноса.

– Армейский друг, Арчимбольди дорожил им, а тот исчез после войны или даже до ее конца, – заметила Нортон.

– И да, этот друг в курсе, что Арчимбольди – это Ханс Райтер, – сказал Эспиноса.

– Необязательно, может, этот друг понятия не имеет, что Арчимбольди и Ханс Райтер – один и тот же человек, он знает лишь Райтера и знает, как с ним связаться, – вот и все, – возразила Нортон.

– Но это не так уж и легко, – вздохнул Пеллетье.

– Нет, не легко, потому что подразумевается, что Райтер, с тех пор как виделся последний раз с другом, скажем в 1945 году, не поменял адреса, – заметил Амальфитано.

– Статистика говорит нам, что все немцы, родившиеся в 1920 году, меняли место жительства хотя бы раз в жизни, – сказал Пеллетье.

– Так что, может, этот друг не сам с ним связался, а наоборот – Арчимбольди связался со своим другом, – предположил Эспиноса.

– Другом или подругой, – сказала Нортон.

– Мне кажется, что это скорее друг, чем подруга, – сказал Пеллетье.

– А может, ни друг, ни подруга тут ни при чем, а мы тут на ощупь бредем и ничего толком не знаем, – пожал плечами Эспиноса.

– Но тогда... зачем-то ведь Арчимбольди сюда приехал? – задалась вопросом Нортон.

– Это точно друг, причем близкий, иначе Арчимбольди не отправился бы в такое долгое путешествие! – сказал Пеллетье.

– А если мы ошиблись? А если Альмендро наврал? Или что-то перепутал? Или ему наврали? – спросила Нортон.

– Какой Альмендро? Эктор Энрике Альмендро? – заинтересовался Амальфитано.

– Да, он, вы знакомы? – спросил Эспиноса.

– Лично нет, но я бы не слишком доверял его свидетельству, – сказал Амальфитано.

– Почему? – удивилась Нортон.

– Ну... это такой типичный мексиканский интеллеktуал. Для него главное – выжить, – ответил Амальфитано.

– Разве не все латиноамериканские интеллеktуалы озабочены тем же самым? – возразил Пеллетье.

– Я бы это сформулировал по-другому. Есть, к примеру, люди, которым интереснее писать...

– А можно поподробнее? – спросил Эспиноса.

– Да не знаю я, как это лучше объяснить, – отмахнулся Амальфитано. – Отношения наших интеллеktуалов с властью – долгая история. Нет, конечно, не все они такие. Есть заметные исключения. Также не могу сказать, что те, кто сдаются, делают это с дурными намерениями. Даже более того: не думаю, что они сдаются, в смысле совсем сдаются, в полном смысле этого слова. Это, скажем, у них работа такая. Но работают-то они на государство. В Европе интеллеktуалы трудятся в издательствах или газетах, или их содержат жены, или у них родители хорошо устроены в жизни и выплачивают им ежемесячное содержание, или они рабочие или преступники и честно живут на доход от своего труда. А вот в Мексике, и думаю, что это релевантно для всей Латинской Америки, кроме Аргентины, интеллеktуалы работают на государство. Так было при Революционной институциональной партии у власти, так остается и с Партией национального действия. Интеллеktуал, со своей стороны, может быть пламенным защитником государства, а может критиковать его. Государству все равно. Государство

его питает и молча наблюдает за ним. Зачем же государству эта огромная когорта большей частью бесполезных писателей? А вот зачем. С их помощью оно изгоняет демонов, меняет или, по крайней мере, пытается повлиять на время. Забрасывает слой за слоем извести в яму, про которую никто не знает, есть она или нет. Естественно, это не всегда так. Интеллектуал может работать в университете или, что гораздо лучше, отправиться работать в американский университет (чьи литературные кафедры столь же плохи, как мексиканские), но это не гарантирует, что когда-нибудь ночью перед рассветом ему не позвонят и от имени государства не предложат работу получше, поденжнее, – нечто, что интеллектуал полагает причитающимся ему по праву, ибо интеллектуалы *всегда* полагают, что заслуживают *большего*. Таким образом государство, скажем так, купит мексиканским писателям ушки. Они сразу сходят с ума. Некоторые бросаются переводить японскую поэзию, не зная японского, а другие, уже не стесняясь, пьют горькую. Альмендро, чтобы далеко не ходить, делает и то и другое. Литература в Мексике – это детский сад, ясли, вечно дошкольное учреждение – не знаю, поймете ли вы меня. Климат тут чудесный, дни солнечные, выходишь из дому и садишься в парке, открываешь книжку Валери (наверное, это самый популярный у мексиканских писателей автор), а потом идешь к друзьям поболтать. А вот тень твоя уже за тобой не идет. В какой-то момент она просто тихо покидает тебя. Ты делаешь вид, что ничего не заметил, но ты же заметил, правда? – твоя сраная тень уже не идет за тобой, но хорошо, это же можно объяснить самыми разными причинами: положением солнца на небосводе, потемнением, что солнечный удар вызывает в непокрытой голове, количеством потребленного алкоголя, движением подземных танков атакующей боли, страхом того, что может произойти, первыми признаками болезни, раненым самолюбием, желанием быть пунктуальным хоть раз в жизни. Но очевидно одно: тень исчезает и ты – моментально! – об этом забываешь. А на самом деле ты на сцене у самой рампы, а в глубине – зев огромной трубы или даже шахты или входа в шахту громадных размеров. Или, скажем, пещеры. Но можем и сказать, что шахты. Из зева шахты доносятся непонятные шумы. Звукоподражания, фонемы яростные, или соблазнительные, или соблазнительно-яростные, или, возможно, просто бормотания и шепотки и стоны. Вот только никто не видит, в полном смысле слова «видеть», вход в шахту. Осветительное оборудование, игра света и теней, манипуляции со временем скрывают от зрителя очертания этого громадного зева. На самом деле только зрители, которые сидят ближе всего к рампе, прямо у оркестровой ямы, могут рассмотреть сквозь густую камуфляжную сеть контуры чего-то, не те самые контуры, но, по крайней мере, контуры чего-то. Другие зрители не видят ничего дальше сцены у рампы и, можно честно сказать, не заинтересованы что-то там видеть. Со своей стороны, интеллектуалы без тени всегда развернуты к сцене *стильной*, и потому – если у них нет глаз на затылке – они и не могут ничего увидеть. Они слышат только шумы, что вырываются из глубин шахты. И переводят их или толкуют, или воссоздают. Получается у них, честно говоря, очень плохо. Они балуются риторикой там, где слышат ураган, пытаются быть красноречивыми там, где бушует безоглядная ярость, стараются попасть в размер там, где стоит бесполезная оглушающая тишина. Они издают беспомощное «пи-пи», «гав-гав», «мяу-мяу», потому что не способны вообразить животное колоссальных размеров – или отсутствие такого зверя. А вот декорации, в которых они работают, – о да, они очень красивые, очень продуманные, кокетливые, но с течением времени их размеры всё сокращаются. Хотя нет, они уменьшаются, но декорации остаются декорациями. Просто с каждым представлением они уменьшаются в размере, и партер уменьшается в площади, и зрителей, естественно, с каждым разом все меньше. Рядом с этими декорациями, что логично, стоят другие. Это новые сцены, которые возвели с течением времени. Есть, например, сцена для живописи, огромная, и зрителей там немного, но все они, как бы это сказать, весьма элегантны. А вот сцена кино и телевидения. У них огромная аудитория, там всегда полно зрителей, а сцена увеличивается каждый год в хорошем темпе. Время от времени актеры со сцены интеллектуалов переходят, как приглашенные гости, на сцену телевидения. Вход в шахту зияет так же, как и везде, просто

тут немного поменяли перспективу, камуфляж сделали поплотнее и, как это ни парадоксально, пропитали его странноватым юмором, который тем не менее смердит. У этого юмористического камуфляжа, естественно, может быть много толкований, но все они в конце концов сводятся, для большего удобства публики или коллективного зрения публики, к двум. Время от времени интеллектуалы устраиваются у рампы телевизионной сцены и более ее уже не покидают. Из зева шахты по-прежнему доносятся рычания и ворчания, и интеллектуалы продолжают неверно толковать их. На самом деле они – в теории, хозяева языка – даже не способны обогатить его. Их лучшие реплики – заимствования из речи зрителей, что сидят в первом ряду. Этих зрителей обычно называют *флагеллантами*. Они больны и время от времени изобретают жуткие слова, и их уровень смертности крайне высок. Когда заканчивается рабочая неделя, театры закрываются, а зевы шахт прихлопывают большими стальными плитами. Интеллектуалы расходятся. Луна полна, и ночной воздух свеж настолько, что его хочется есть ложкой. В некоторых заведениях слышатся песни, их обрывки долетают до улицы. Иногда интеллектуал сбивается с дороги и проникает в одно из таких заведений и пьет мескаль. Тогда он задумывается: а что, если однажды и он... Но нет. Ничего он не думает. Просто пьет и поет. Время от времени кто-то думает, что видит легендарного немецкого писателя. На самом деле он видит лишь тень, время от времени он видит *собственную* тень, которая возвращается домой каждую ночь, – иначе вдруг интеллектуал лопнет или повесится в подъезде. Но он клянется, что видел именно немецкого писателя, и в этом убеждении зашифрованы его собственное счастье, его порядок, его головокружение и смысл его попойки. Следующее утро встречает хорошей погодой. Солнце искрит, но не обжигает. Из дома можно спокойно выходить, волоча за собой тень, и присесть в парке и прочитать несколько страниц Валери. И так до самого конца.

– Я ничего не поняла, – заявила Нортон.

– На самом деле я наговорил глупостей, – отозвался Амальфитано.

Потом они обзвонили оставшиеся гостиницы и мотели и нигде не нашли Арчимбольди среди постояльцев. В течение нескольких часов они думали, что Амальфитано прав, что сообщение Альмендро – не более чем плод его подогретых алкоголем фантазий, и что поездка Арчимбольди в Мексику существовала единственно в извилистых закоулках головы Свиньи. Остаток дня они провели за чтением и выпивкой, и никто из троих не пожелал выбраться из гостиницы.

Тем вечером Нортон, просматривая свою электронную почту на гостиничном компьютере, увидела письмо от Морини. В нем Морини писал о погоде, словно ему больше нечего было сказать, о текущем дожде, который пошел в Турине около восьми вечера и не затихал до часу ночи, и он желал Нортон от всего сердца лучшей погоды на севере Мексики, где, как он думал, дождь не шел никогда и только ночью, только в пустыне, становилось холодно. Этой же ночью, ответив на несколько писем (но не на то, что прислал Морини), Нортон поднялась к себе в номер, причесалась, почистила зубы, нанесла на лицо увлажняющий крем, некоторое время посидела на кровати, уперев ноги в пол, – думала. А потом вышла в коридор и постучала в дверь Пеллетье, а потом в дверь Эспиносы и, не произнеся ни слова, отвела их в свой номер, где занималась с ними обоими любовью до пяти утра, в каковой час литературоведы по указанию Нортон разошлись по номерам, где мгновенно погрузились в глубокий сон, который сбежал от Нортон – та немного разгладила простыни, выключила весь свет в комнате, но так и не смогла сомкнуть глаз.

Она думала о Морини, точнее, увидела Морини, как он сидит в инвалидной коляске перед окном своей туринской квартиры, где Нортон ни разу не была, как он оглядывает улицу и фасады соседних домов и смотрит, смотрит, как идет дождь. Здания напротив были серого

цвета. Внизу темнела широкая улица, проспект, по которому не ехала ни одна машина, с высаженными через каждые двадцать метров рахитичными деревцами – глупая шутка мэра или городского архитектора, не иначе. Небо донельзя походило на одеяло, укрытое другим одеялом, в свою очередь укрытым еще более толстым и влажным одеялом. Окно, из которого смотрел на улицу Морини, было большим, такие обычно ведут на балкон: более узкое, чем широкое, и, да, очень вытянутое в высоту. И чистое, настолько чистое, что казалось: стекло, по которому стекали капли дождя, прозрачно до хрустальности. Деревянная рама окна была выкрашена в белый цвет. В комнате горел свет. Паркет блестел, на стеллажах в безупречном порядке выстроились книги, на стенах висело несколько картин, отобранных с идеальным вкусом. Ковров не было, а мебель – диван черной кожи и два кресла белой кожи – не мешала коляске передвигаться в комнате. За полуоткрытой двойной дверью темнел коридор.

А что же сказать о самом Морини? Он сидел в коляске с несчастным видом, словно бы все его бросили, и созерцание ночного дождя и спящих домов было максимумом, на который он мог надеяться. Время от времени он клал обе руки на подлокотники коляски, иногда подпирал голову рукой. Джинсы казались слишком широкими для его неподвижных, тонких, как у агонизирующего подростка, ног. На нем была белая рубашка с расстегнутым воротом, а на запястье болтались на слишком свободном ремешке часы. На ногах были не туфли, а очень старые кроссовки из черной ткани – они блестели как дождливая ночь. Удобная домашняя одежда, и, судя по виду Морини, скорее всего, он не собирался на следующий день идти на работу – ну или планировал прийти туда попозже.

По ту сторону оконного стекла шел дождь – ровно так, как он описывал в письме, наискось, и его усталость, покой и одиночество казались чем-то смертельно сельским, словно бы телом и душой он без единой жалобы предался бессоннице.

На следующий день они пошли на ярмарку мастеров, изначально задуманную как место, где жители окрестностей Санта-Тереса могли бы продавать и обменивать свои товары, куда съезжались бы мастера и крестьяне из ближайших селений, нагрузив тачки и навьючив ослов, – да что там ближайших, на ярмарке ждали торговцев скотом из Ногалес и Висенте Герреро, перекупщиков лошадей из Агуа-Прьета и Кананеа, а сейчас она существовала исключительно ради американских туристов из Феникса, которые приезжали автобусом или вереницей из трех-четырёх машин и уезжали из города вечером того же дня. Литературоведам, впрочем, рынок понравился, и хотя изначально они ничего не планировали покупать, в конце концов Пеллетье приобрел по смехотворной цене глиняную статуэтку человека, сидящего на камне с газетой в руках. У человека были светлые волосы, а на лбу намечались крохотные дьявольские рожки. Эспиноса же купил индейский ковер у девушки, что стояла за лотком с коврами и пончо. На самом деле ковер не то чтобы сильно ему нравился, но девушка оказалась очень милой и они с удовольствием поболтали. Он спросил, откуда она родом – почему-то ему показалось, что она приехала со своими коврами из дальней дали, – но нет, девчонка жила в самой Санта-Тереса, в квартале к западу от рынка. Также она сказала, что ходит на подготовительные курсы и, если все сложится, пойдет учиться на медсестру. Эспиносе девушка показалась не только красивой – пусть и слишком миниатюрной на его вкус, – но также и умной.

В гостинице их ожидал Амальфитано. Они пригласили его пообедать, а потом все четверо отправились по редакциям газет, что издавались в Санта-Тереса. Там они просмотрели все номера за месяц, предшествующий дню, когда Альмендро встретился с Арчимбольди в Мехико, не оставив без внимания даже вчерашний день, однако не нашли ни единого указания на то, что Арчимбольди побывал в этом городе. Сначала они просмотрели некрологи. Потом углубились в изучение разделов «Общество и политика», и даже прочитали заметки в «Сельском хозяйстве и животноводстве». У одной газеты не было приложения с новостями культуры. В другой раз – в неделю выходила рецензия на какую-нибудь книгу и печатались сведе-

ния о всяких культурных событиях в Санта-Тереса (уж лучше бы они посвятили эту страницу спорту). В шесть вечера они попрощались с чилийским преподавателем в дверях одной из редакций и вернулись в гостиницу. Там приняли душ и принялись просматривать накопившуюся корреспонденцию. Пеллетье и Эспиноса написали Морини, сообщая о скудных результатах своих изысканий. В обоих письмах они также писали, что если ничего не изменится, то они скоро, максимум через пару дней, вернутся в Европу. Нортон ничего не написала Морини. На последнее его письмо она тоже не ответила – ей не хотелось вызывать на разговор Морини, который сидел неподвижно в комнате и созерцал дождь, словно бы она хотела ему что-то сказать, но в последний момент передумала. Вместо этого она, не предупредив друзей, позвонила Альмендро в Мехико, и после двух неудачных попыток (секретарша Свины и его домработница не говорили по-английски, хотя обе старались изо всех сил) сумела-таки попасть на него.

С удивительной терпеливостью Свинья снова пересказал ей на блестящем стэнфордском английском все, что произошло, начиная с того, как ему позвонили из гостиницы, где Арчимбольди допрашивали трое полицейских. Он рассказал – ни в чем не расходясь с предыдущей версией истории – как они впервые встретились, как пили на площади Гарибальди, как вернулись в гостиницу, где Арчимбольди забрал свой чемодан, и как они доехали до аэропорта (молча по большей части), где Арчимбольди сел на самолет до Эрмосильо и навсегда исчез из его жизни. Начиная с этого момента, Нортон расспрашивала только про то, как Арчимбольди выглядел. Высокий, выше чем метр девяносто, волосы седые, густые, несмотря на лысину на затылке, худой и явно сильный физически.

– Суперстарик какой-то, – сказала Нортон.

– Нет, я бы так не сказал, – ответил Свинья. – Когда он открыл чемодан, я там увидел много лекарств. И у него пятна на коже. Иногда кажется, что он очень устает, хотя и восстанавливается быстро. А может, так только кажется.

– Какие у него глаза? – спросила Нортон.

– Голубые, – ответил Свинья.

– Нет, я знаю, что голубые, я прочитала все его книги, и не по разу, они совершенно точно голубые и другими быть не могут, я хочу спросить, какие они, какое впечатление они произвели на вас.

На том конце провода воцарилось глубокое молчание, словно бы Свинья не ожидал такого вопроса или сам им задавался много раз, но так и не сумел ответить.

– Трудный вопрос, – проговорил наконец Свинья.

– Вы единственный человек, который может на него ответить, его никто долгое время не видел, так что вы, так сказать, в привилегированном положении, – настояла Нортон.

– Ничосе, – пробормотал Свинья.

– Простите? – переспросила Нортон.

– Ничего-ничего, я просто думаю, – отозвался Свинья.

И, помолчав немного, сказал:

– У него глаза слепого, в смысле, нет, он-то не слепой, просто они точь-в-точь как у слепого, хотя, может, я и ошибаюсь.

Вечером все трое отправились на вечеринку, которую давал в их честь ректор Негрете, хотя они сами ни сном ни духом не знали, что вечеринка, оказывается, дается в их честь. Нортон гуляла по саду вокруг дома и восхищалась растениями, которые жена ректора называла одно за другим (впрочем, она потом все равно забыла все названия). Пеллетье долго беседовал с деканом Геррой и с другим преподавателем университета, который защищал диссертацию в Париже по творчеству одного мексиканца, который писал на французском (мексиканец – и на французском пишет?..), да-да, очень интересный и любопытный человек, и писатель хороший, – университетский преподаватель назвал его несколько раз (Фернандес?.. или Гарсия?..),

жизнь у него бурная, это точно, – он был коллаборационистом, да-да, близко дружил с Селином и Дриё Ла Рошелем, был учеником Морраса, которого Соппротивление расстреляло, не Морраса, конечно, а мексиканца, который сумел, да-да, до самого конца держаться как мужчина, не то что эти его французские коллеги, которые сбежали в Германию поджав хвост, но этот Фернандес или Гарсия (или Лопес?.. а может, Перес?..) никуда из дома не пошел, а сидел и ждал, как настоящий мексиканец, когда за ним придут, и ноги у него не дрожали, когда его вывели (или выволокли?) на улицу, толкнули к стене и расстреляли.

Эспиноса же все это время просидел рядом с ректором Негрете и несколькими влиятельными лицами того же возраста, что и хозяин дома, которые говорили только по-испански и совсем чуть-чуть по-английски, и ему пришлось терпеливо сносить беседу, в которой полагалось расхваливать признаки неостановимого прогресса города Санта-Тереса.

Все трое литературоведов не могли не заметить, кто весь вечер был спутником Амальфитано. А был им молодой статный и спортивный молодой человек с очень белой кожей, который прилип к чилийскому преподавателю как банный лист и время от времени начинал бурно, по-театральному жестикулировать и корчить дикие гримасы, приличествующие лишь безумцу, а в остальных случаях просто выслушивал то, что Амальфитано говорил ему, и постоянно мотал, почти спазматически, головой, отрицая все ему сказанное, как будто универсальные правила беседы ложились на него непосильным грузом или слова Амальфитано (судя по лицу, увещевания) никогда не попадали в цель.

С ужина все трое ушли, отягощенные одним подозрением и несколькими предложениями. Предложения были такие: прочитать в университете лекцию о современной испанской литературе (Эспиноса), прочитать лекцию о современной французской литературе (Пеллетье), прочитать лекцию о современной английской литературе (Нортон), провести семинар по творчеству Бенно фон Арчимбольди и немецкой послевоенной литературе (Эспиноса, Пеллетье и Нортон), принять участие в коллоквиуме по экономическим и культурным связям между Европой и Мексикой (Эспиноса, Пеллетье и Нортон, кроме того, декан Герра и два преподавателя экономики из университета), съездить посмотреть предгорья Сьерра-Мадре и, наконец, поехать на ранчо рядом с Санта-Тереса на барбекю, где предполагалось запечь на огне ягненка, а также встретиться с множеством университетских преподавателей на фоне потрясающей красоты пейзажа (как сказал Герра), – впрочем, ректор Негрете уточнил, что пейзаж отличался скорее дикой красотой и для некоторых выглядел так и вовсе шокирующе. Подозрение было следующим: похоже, Амальфитано – гомосексуалист, и тот страстный юноша – его любовник (подозрение совершенно ужасное, поскольку за ужином их быстро проинформировали, что этот молодой человек – единственный сын декана Герры, непосредственного начальника Амальфитано, правая рука ректора и что либо они ошибаются, либо Герра не имел представления о том, в какой переплет попал его отпрыск).

– Все это может кончиться перестрелкой, – проронил Эспиноса.

Потом они заговорили о чем-то другом, а потом пошли, совершенно измученные, спать. На следующий день объехали на машине весь город, предоставив случаю выбирать направление и никуда не спеша, словно на самом деле ожидали увидеть, что по тротуару идет высокий старик немец. Западные кварталы оказались очень бедными: улицы без асфальтового покрытия, наскоро построенные из бросового материала халупы. В центре располагалась историческая часть, с трех-четырёхэтажными старинными домами и площадями с нижними галереями, погруженными в молчание и забвение, вымощенными булыжниками улочками, по которым быстро шли молодые офисные работники в одних рубашках и индианки с мешками за плечами, там же на перекрестках празднично болтались шлюхи и молодые сутенеры – все сценки из мексиканской жизни, взятые из черно-белого фильма. В восточной части города селились люди

среднего класса и богачи. Там литературоведы видели проспекты с ухоженными деревьями, и детские площадки, и торговые центры. Там же находился университет. В северной части города они ехали мимо фабрик и заброшенных ангаров и улицы, сплошь состоявшей из баров, сувенирных магазинов и маленьких гостиниц, про которую говорили, что здесь никогда не спят, а вокруг – снова бедные кварталы, пусть и менее пестрой застройки, и пустыри, среди которых время от времени торчала школа. На юге они обнаружили железные дороги и футбольные поля для бедняков, проживавших тут же, в окрестных хижинах, и даже увидели, как те играют, смотрели прямо из машины, а играли команда умирающих против конченных доходяг, а еще они увидели два ведущих из города шоссе и овраг, превращенный в городскую свалку, а также кварталы, которые росли увечными – хромыми, или безрукими, или слепыми, – и время от времени, вдалеке, силуэты промышленных складов и сборочные цеха на горизонте.

Город, сам город, казался бесконечным. Если ты углублялся, скажем, в восточные районы, в какой-то момент кварталы среднего класса заканчивались и появлялись, как зеркальное отражение западной окраины, такие же бедняцкие кварталы, только здесь они тянулись по сильно пересеченной местности со сложной орографией: холмы, впадины, развалины старинных ранчо, сухие русла рек – все это помогало избежать скученности. В северной части они видели забор, разделявший Соединенные Штаты и Мексику, а за забором созерцали – на этот раз выйдя из машины – Аризонскую пустыню. В западной части города объехали по кругу несколько промышленных полигонов, которые, в свою очередь, окружали кварталы халуп.

Ощущение было такое, что город растет с каждой секундой. В окрестностях Санта-Тереса литературоведы видели стаи черных настороженных птиц, прыгающих по конским пастбищам, – их называли грифами, но на самом деле это были маленькие стервятники. Где они видели стервятников, других птиц не было. Они выпили текилы, поели такос, любясь замечательным видом с террасы мотеля на шоссе, ведущее в Каборку. К вечеру небо покраснело, как цветок-живоглот.

Когда они вернулись, их уже поджидал Амальфитано в компании сына Герры, который всех пригласил отужинать в ресторане, специализирующемся на северной мексиканской кухне. Место оказалось атмосферное, но еда им не пошла абсолютно. Они также обнаружили (или думали, что обнаружили): отношения между чилийским преподавателем и сыном декана были скорее характера сократического, нежели гомосексуального, и это в некоторой степени их успокоило, поскольку необъяснимым образом все трое привязались к Амальфитано.

В течение трех дней они жили словно погруженные в глубины океана. Выискивали по телевизору самые дикие и неправдоподобные новости, перечитывали романы Арчимбольди, которые теперь вдруг перестали понимать, долго спали после полудня и засиживались допоздна на террасе, рассказывали про свое детство – чего раньше никогда не делали. В первый раз они почувствовали себя, все трое, побратимами или солдатами-ветеранами ударного батальона, которым по большей части ничего уже не интересно. Напивались и вставали поздно, и только время от времени снисходили до того, чтобы прогуляться с Амальфитано по городу, посмотреть достопримечательности, которые могли бы привлечь гипотетического туриста-немца в годах.

И да, они действительно поехали на барбекю, и их движения были выверенными и скромными, как у трех космонавтов, только что прибывших на планету, где все непонятно. В патио, где запекали ягнят, они увидели многочисленные благоухающие мясом дыры в земле. Преподаватели Университета Санта-Тереса выказали себя до крайности ловкими во всем, что касалось сельхозработ. Двое устроили скачки. Третий спел романс 1915 года. В загоне предназначенных для корриды быков некоторые бросали лассо – впрочем, получилось не у всех. Когда появился ректор Негрете – до этого он сидел в главном доме с каким-то типом, похоже, начальником

персонала на ранчо, – начали откапывать мясо и по патио поплыла тонкая завеса дыма, пахущая мясом и горячей землей, и обволокла всех подобно туману, который предшествует убийствам, а потом взяла и таинственным образом исчезла, а женщины носили к столам тарелки, и одежда, и кожа пропитывались этими ароматами.

Той ночью, наверное потому, что переели и перепили, всем троим приснились кошмары, которые они так и не сумели припомнить после пробуждения несмотря на все приложенные усилия. Пеллетье снилась страница, страница, которую он просматривал и слева направо, и справа налево, всеми возможными способами: двигал ее, поворачивал голову, и с каждым разом все быстрее, – и все равно не находил в ней никакого смысла. Нортон приснилось дерево, английский дуб, который она поднимала и носила с места на место по какому-то полю, и ни одно ее полностью не устраивало. У дуба то не было корней, то были, и они, длинные как змеи или как волосы Горгоны, волочились вслед за ней. Эспиносе приснилась девушка в ковровой лавке. Он хотел купить ковер, любой ковер, и девушка показывала ему много ковров, один за другим, не останавливаясь. Ее тонкие загорелые руки все время двигались, и это мешало ему заговорить, мешало сказать что-то важное, взять ее за руку и вывести отсюда.

На следующее утро Нортон не вышла к завтраку. Они позвонили ей – а вдруг она плохо себя чувствует? – но она ответила, что просто хочет спать, пусть они на нее не рассчитывают. Они расстроились, но приехал Амальфитано, и они отправились на машине на северо-восток города, где устанавливали цирковой шатер. Амальфитано сообщил, что в цирке выступает немецкий иллюзионист доктор Кениг. Он узнал об этом вчера вечером, по возвращении с барбекю: кто-то прошелся от сада к саду и распишал небольшие, с листок величиной, рекламные объявления. На следующий день на перекрестке, где он ждал автобус, идущий до университета, Амальфитано увидел на голубой стене цветной плакат с перечнем звезд будущего представления. Среди них фигурировал и немецкий фокусник, и Амальфитано подумал: а вдруг этот самый доктор Кениг – псевдоним Арчимбольди? С точки зрения здравого смысла идея была вполне идиотской (так он сам подумал), но литературоведы настолько расстроились, что ему показалось: а чего бы им не сходить в цирк? И когда предложил это гостям, те воззрились на него как на самого глупого ученика в классе.

– А что Арчимбольди делать в цирке? – спросил Пеллетье, когда они уже сели в машину и поехали.

– Не знаю, – признался Амальфитано, – вы у нас эксперты, а я думаю, это будет первый немец, которого мы здесь встретим.

Цирк назывался «Международный», и какие-то люди раскидывали огромный шатер-шапито, орудуя шнурами и шестами (или так показалось литературоведам), и люди эти показали трейлер, в котором жил хозяин. Им оказался чикано⁸ лет пятидесяти, который долгое время проработал в европейских цирках и объехал с ними весь континент от Копенгагена до Малаги, не всегда успешно выступая в городках и деревнях, а потом решил вернуться в Эрлимарт, в Калифорнию, откуда был родом, и основал свой собственный цирк. Он назвал его международным, потому что одно время держался идеи собрать в нем артистов со всего мира, но на самом деле у него были в основном заняты мексиканцы и американцы, впрочем, с просьбой взять на работу к нему обращались даже люди из Центральной Америки, а однажды у них выступал канадский дрессировщик семидесяти лет от роду, которого уже не брали цирки в Соединенных Штатах. Да, цирк у нас скромный, сказал он, зато это первый цирк, где хозяин чикано.

⁸ Мексиканец, живущий или родившийся в США.

Когда они не гастролировали, труппу можно было увидеть в Бейкерсфилд (это неподалеку от Эрлимарта), где у них была зимняя штаб-квартира, хотя иногда они зимовали в мексиканском городе Синалоа, но не надолго, а строго для того, чтобы съездить в Мехико и подписать контракты с южными городками, вплоть до границы с Гватемалой, – а потом снова возвращались в Бейкерсфилд. Когда иностранцы спросили хозяина о докторе Кениге, тот сразу поинтересовался, нет ли у них проблем (долгов или спорных моментов) с иллюзионистом, на что Амальфитано быстро ответил, что нет, как вы могли такое подумать, эти сеньоры – уважаемые университетские преподаватели из Испании и Франции, а он сам – чтобы не оставалось уже никаких сомнений – преподает в Университете Санта-Тереса.

– А, ну тогда ладно, – сказал чикано, – раз так, я вас отведу к доктору Кенигу. Кстати, он сам тоже был, ежели я ничего не путаю, преподавателем в университете.

Сердце литературоведов при этих словах перекувыркнулось в груди. Потом они пошли вслед за хозяином между трейлеров и передвижных клеток цирка, пока не дошли до того, что, по всей видимости, было окраиной лагеря. Дальше тянулась только желтая земля, которую едва ли оживляли чернеющие вдали халупы и проволока на американо-мексиканской границе.

– Ему нравится жить в тишине, – сказал хозяин, хотя они ни о чем его не спросили.

И аккуратно, костяшками пальцев постучал в дверь маленького трейлера иллюзиониста. Кто-то ее открыл, и из темноты внутри послышался голос: «Что нужно?» Хозяин сказал, что это он и что с ним – друзья из Европы, хотят поприветствовать вас. «Заходите», – снова прозвучал голос, и они по единственной ступеньке поднялись в трейлер, два крохотных, чуть более иллюминатора, окошка которого закрывали занавески.

– Где бы нам тут присесть? – проговорил импресарио и тут же раздвинул занавески.

На кровати лежал лысый, с оливковой кожей тип в огромных черных шортах – больше на нем ничего не было. Он смотрел на них, с трудом моргая. Ему было не более шестидесяти лет, а то и меньше, и это тут же подсказывало – не тот человек; тем не менее литературоведы решили остаться ненадолго и по крайней мере поблагодарить за то, что он согласился с ними увидеться. Амальфитано, единственный, кто пребывал в хорошем настроении, объяснил, что они ищут немецкого друга, писателя, и никак не могут его найти.

– И вы думали найти его в моем цирке? – поинтересовался импресарио.

– Его-то нет, но вдруг кто-то его знает, – отозвался Амальфитано.

– Писателя мне не приходилось нанимать, – сказал хозяин.

– А я не немец, – сказал доктор Кениг, – я американец, и зовут меня Энди Лопес.

С этими словами он извлек из пиджака, висевшего на вешалке, бумажки и протянул им водительское удостоверение.

– А что за фокус вы показываете? – спросил Пеллетье на английском.

– Я обычно начинаю с блох. Они исчезают, – сказал доктор Кениг, и все пятеро рассмеялись.

– Это чистая правда, – подтвердил импресарио.

– Потом у меня исчезают голуби, потом кот, потом пес, а в конце – ребенок.

После визита в Международный цирк Амальфитано пригласил их пообедать у него дома. Эспиноса вышел на задний дворик и увидел, что на веревке для сушки белья висит книга. Ему не хотелось подходить и смотреть, что за книга, но, когда он снова вошел в дом, спросил у Амальфитано, что это.

– Это «Геометрическое завещание» Рафаэля Дьесте, – ответил Амальфитано.

– Рафаэль Дьесте, галисийский поэт, – добавил Эспиноса.

– Так точно, – покивал Амальфитано. – Только в этой книге не стихи, а сплошная геометрия – он рассказывает, что с ним приключалось, пока он преподавал в колледже.

Эспиноса передал Пеллетье слова Амальфитано.

– И что, висит, говоришь, на заднем дворе? – с улыбкой сказал Пеллетье.

– Да, – кивнул Эспиноса, пока Амальфитано искал в холодильнике, чего бы им поесть, – висит, как мокрая рубашка.

– Вам как фасоль, нравится? – спросил Амальфитано.

– Да, да, не волнуйтесь, мы уже ко всему привыкли, – сказал Эспиноса.

Пеллетье подошел к окну и посмотрел на книгу, листки которой тихонько качались под мягким вечерним ветерком. Потом вышел, подошел к сушилке и начал пристально ее осматривать.

– Не снимай ее, – услышал он за спиной голос Эспиносы.

– Эту книгу сюда повесили не для просушки, она тут давно болтается, – сказал Пеллетье.

– Я так и думал, – покивал Эспиноса. – Не трогай ее, пойдем лучше в дом.

Амальфитано смотрел за ними, покусывая губу, и лицо его выражало не отчаяние, а глубокую, неохватную грусть.

Когда литературоведы развернулись к двери, он отошел от окна и быстро вернулся на кухню, где тут же сделал вид, что целиком поглощен приготовлением ужина.

Когда оба вернулись в гостиницу, Нортон объявила, что на следующий день уезжает, Эспиноса и Пеллетье приняли эту новость без удивления, словно бы давно ожидали таких слов. Рейс Нортон вылетал из Тусона. И несмотря на протесты – Нортон хотела ехать на такси – они решили довести ее до аэропорта. Той ночью все трое засиделись допоздна, болтая: Эспиноса и Пеллетье рассказали, как отправились в цирк, и заверили ее, что, если и дальше дела будут идти таким манером, они самое позднее через три дня тоже улетят домой. Затем Нортон пошла спать, а Эспиноса предложил провести эту последнюю ночь в Санта-Тереса всем вместе. Нортон его не поняла: ведь улетала только она, а они оставались еще на несколько ночей.

– Я хочу сказать – втроем. Всем вместе, – объяснил Эспиноса.

– В постели? – спросила Нортон.

– Да, в постели, – подтвердил Эспиноса.

– Нет, не хочу, – сказала Нортон. – Предпочитаю спать одна.

Так что они проводили ее до лифта, а потом вернулись в бар, заказали по «кроватке Мэри» и, пока коктейль готовили, сидели молча.

– Вот я попал так попал, – вздохнул Эспиноса, когда бармен принес им напитки.

– Да уж, – согласился Пеллетье.

– Ты заметил, – спросил Эспиноса после недолгой паузы, – что за все время мы только раз оказались с ней в постели?

– Конечно, заметил, – кивнул Пеллетье.

– И чья это вина? – проговорил Эспиноса. – Наша или ее?

– Не знаю, – отозвался Пеллетье. – По правде говоря, мне все эти дни не слишком-то и хотелось заниматься любовью. А тебе?

– Мне тоже, – сказал Эспиноса.

Они снова замолчали.

– Думаю, с ней примерно то же самое происходит, – заметил Пеллетье.

Из Санта-Тереса они выехали засветло. Перед тем как отправиться в путь, позвонили Амальфитано и предупредили, что едут в Штаты и пробудут там практически весь день. На границе американские таможенники попросили показать документы на машину и пропустили их. Согласно инструкциям гостиничного администратора они поехали по неасфальтированному шоссе, и некоторое время дорога шла через леса и овраги, словно бы они по ошибке попали под какой-то экспериментальный купол с собственной экосистемой. Они даже подумали, что опоздают на рейс и даже вовсе никуда не доберутся. Неасфальтированная дорога тем не менее закончилась в Соноите, а там они уже выбрались на шоссе-83 и с него попали на

автостраду-10, которая шла до самого Тусона. В аэропорту им хватило времени на то, чтобы выпить кофе и обсудить, что они будут делать, когда вернутся в Европу. А потом Нортон прошла на посадку, и через полчаса ее лайнер поднялся в воздух курсом на Нью-Йорк, где она планировала пересесть на самолет, который доставил бы ее в Лондон.

На обратном пути они поехали по шоссе-19 до Ногалеса, впрочем, нет, с шоссе свернули после Рио-Рико и поехали вдоль границы со стороны Аризоны, до самого Лочизеля, где вернулись на мексиканскую территорию. Хотелось есть и выпить, но они не остановились ни в одной деревушке. В пять вечера приехали в гостиницу, приняли душ и спустились вниз – съесть по сэндвичу и позвонить Амальфитано. Тот сказал им, чтобы они никуда из гостиницы не выходили, что он сейчас возьмет такси и приедет буквально через десять минут. Мы никуда не спешим, ответили они.

Начиная с этого момента реальность Пеллетье и Эспиносы принялась рваться и расслаиваться, как бумажная театральная декорация, а за ней открылось то, что всегда за ней пребывало: дымящийся пейзаж, словно бы кто-то, возможно ангел, готовил огромное барбекю для огромной, но невидимой толпы народу. Они стали вставать поздно, перестали есть, как американские туристы, в гостинице и переместились в центр города, где завтракали в темных забегаловках (им подавали пиво и острые чилакилес) или в кафе с высокими, в пол, окнами, на которых официанты писали белой краской, что сегодня подается на бизнес-ланч. Ужинали они где придется.

Они приняли предложение ректора и прочли две лекции – одну по французской, другую – по испанской современной литературе, – да такие, что выставили себя сущими мясниками; впрочем, были и положительные моменты: так, слушатели, в основном молодые люди, читающие Мишо и Ролана или Мариаса и Вила-Матаса, к финалу дрожали как цуцики. А потом, уже на пару, они прочитали для потоковой аудитории лекцию о творчестве Бенно фон Арчимбольди; на этот раз они выглядели не столько мясниками, сколько потрошителями и продавцами требухи, но что-то, поначалу слабо различимое, что-то, намекавшее, хоть и в тишине, на неслучайность этой встречи, придержало их разбег: среди публики, не считая Амальфитано, сидели трое юных читателей Арчимбольди, и они к концу едва не расплакались. Один из них, говоривший по-французски, даже принес с собой книгу, переведенную Пеллетье. Вот так оказалось, что даже здесь творятся чудеса. Интернет-библиотеки всю работу. Культура, несмотря на исчезновения и чувство вины, продолжала жить, постоянно преображаясь, – это они тут же обнаружили, когда молодые читатели Арчимбольди после лекции отправились, по просьбе Пеллетье и Эспиносы, в зал славы университета, где накрыли столы к банкету, точнее коктейлю, а еще точнее к коктейльчику, или, возможно, это было просто данью уважения к знаменитым профессорам; на мероприятии, за неимением другой темы, восхваляли немецких авторов, всех, а еще говорили об историческом значении таких университетов, как Сорбонна и Саламанка, в которых (к немалому удивлению литературоведов) двое местных преподавателей (один римского права, а другой – уголовного) в свое время учились. Позже, отведя Пеллетье и Эспиносу в сторону, декан Герра и секретарша ректора вручили им денежные чеки, а еще чуть позже, воспользовавшись тем, что одна из преподавательских жен упала в обморок, они тихонько ушли не попрощавшись.

С ними сбежали Амальфитано (по роду службы ему приходилось частенько бывать на таких мероприятиях) и трое студентов, читателей Арчимбольди. Сначала все пошли поужинать в центре города, а потом прогулялись по улице, которая никогда не засыпала. Во взятую напрокат машину, пусть и большую, они влезли с трудом, и пешеходы на них с любопытством поглядывали – впрочем, они на всех так смотрели, – а потом, различив на заднем сиденье Амальфитано и троих мальчиков, быстро отводили взгляд.

Они зашли в бар, который знал один из юношей. Заведение отличалось приличными размерами, а сзади, в засаженном деревьями дворике, была небольшая арена для петушинных боев. Юноша сказал, что отец время от времени приводил его сюда. Заговорили о политике, и Эспиноса переводил Пеллетье то, что сказали мальчики. Всем троим едва ли исполнилось двадцать, и выглядели они прекрасно: здоровые, свежие, охочие до знаний. Амальфитано, напротив, тем вечером казался очень усталым и разбитым. Пеллетье шепотом спросил, не случилось ли чего. Амальфитано покачал головой и сказал, что нет, всё в порядке, хотя литературоведы, вернувшись в гостиницу, согласились, что состояние приятеля, который курил одну сигарету за другой и пил не останавливаясь и за весь вечер едва ли проронил два слова, соответствовало либо началу депрессии, либо сильнейшему нервному перевозбуждению.

На следующий день Эспиноса спустился вниз и обнаружил, что Пеллетье, в бермудах и кожаных сандалиях, уже сидит на террасе и читает утренние газеты Санта-Тереса, вооружившись испанско-французским словарем, который, похоже, успел купить буквально только что.

– Мы в центр завтракать не поедим? – поинтересовался Эспиноса.

– Нет, – отрезал Пеллетье. – Хватит пить и жрать вредную для моего желудка еду. Я хочу понять, что тут происходит.

Эспиноса тут же припомнил, что прошлым вечером один из мальчиков рассказал им про убийства женщин. В памяти осталось, как юноша сказал: их больше двухсот, и ему пришлось повторить это дважды или трижды, так как ни Эспиноса, ни Пеллетье не поверили в то, что услышали. Не поверить, подумал Эспиноса, это все равно что преувеличить – такая фигура речи. Видишь что-то красивое – и глазам своим не веришь. Тебе рассказывают что-то... к примеру, тебе говорят про красоту исландских пейзажей... как там люди в горячих источниках, между гейзерами, купаются, а ты это уже видел на фотографиях, но все равно говоришь – поверить не могу... Хотя, конечно, веришь... Это такая формула вежливости... То есть ты позволяешь собеседнику сказать – это чистая правда... а потом говоришь: поверить не могу. Сначала не веришь, а потом это кажется невероятным.

Прошлым вечером они, похоже, именно это сказали мальчику (здоровому, сильному и чистому), который уверял их: да, более двухсот женщин погибли. Но не за короткий же промежуток времени? С 1993 или 1994 года и по сей день... А возможно, убийств на самом деле больше. Может, двести пятьдесят или даже триста. Мальчик сказал по-французски: точнее мы никогда не узнаем. Мальчик, который прочитал книгу Арчимбольди в переводе Пеллетье и сумел это сделать благодаря интернет-библиотеке. Французский у него не очень, подумал Эспиноса. Но можно же плохо говорить на языке или даже вовсе не говорить, а читать получается. Во всяком случае, много женских трупов.

– А преступники? – спросил Пеллетье.

– Они кого-то арестовали, причем давно, но женщины продолжают умирать, – сказал один из юношей.

Тут Эспиноса припомнил: Амальфитано молчал, словно мыслями был не с ними, – возможно, пьян в стельку. За соседним столом сидело трое чуваков, которые время от времени поглядывали с интересом – видимо, им стало любопытно, о чем говорят.

«А что я еще помню?» – подумал Эспиноса. Кто-то, один из мальчишек, сказал: это вирус, который делает из человека убийцу. Еще кто-то сказал: имитатор. Кто-то произнес – Альберт Кесслер. Еще он в какой-то момент пошел в туалет – затошнило. Пока его рвало, кто-то снаружи, возможно тот, кто мыл руки или умывался или причесывался перед зеркалом, сказал ему:

– Блюй спокойно, товарищ.

«И этот голос меня успокоил, – подумал Эспиноса, – а это значит, в какой-то момент я беспокоился, но с чего бы?» Когда он вышел из кабинки, никого уже не было, только доноси-

лась, немного приглушенно, музыка из бара и спазматически ревели трубы канализации. «А кто же нас привез обратно в гостиницу?» – подумал он.

– Кто нас обратно привез? – спросил он Пеллетье.

– Ты, – ответил Пеллетье.

В тот день Эспиноса оставил Пеллетье наедине с газетами в гостинице и пошел в город сам. Хотя для завтрака было уже поздновато, он зашел в бар на улице Ариспе, где ему еще не приходилось бывать, и попросил что-нибудь для поправки.

– От похмелья это – лучше не бывает, – сказал бармен, ставя перед ним стакан холодного пива.

Из глубины бара слышалось шипение – что-то жарили. Он попросил чего-нибудь поесть.

– Кесадилий, сеньор?

– Одну кесадилью, пожалуйста, – сказал Эспиноса.

Официант пожал плечами. В баре было пусто и не так темно, как в тех заведениях, куда Эспиноса обычно ходил по утрам. Тут открылась дверь туалета, и из нее вышел очень высокий человек. У Эспиносы болели глаза, его опять накрыло тошнотой, но появление высокого человека быстро привело его в чувство. В темноте он не мог разглядеть черты лица или определить возраст. Высокий человек, к счастью, сел рядом с окном, и желто-зеленый свет озарил его лицо.

Эспиноса тут же понял – это не Арчимбольди. Скорее, фермер или скотовладелец, приехавший по делам в город. Официант поставил перед Эспиносой кесадилью. Тот ухватился за нее и тут же обжег пальцы. Пришлось попросить салфетку. Потом он окликнул официанта и заказал еще три штуки. Выйдя из бара, он направился на ярмарку ремесел. Кое-какие торговцы уже прибирали продукцию и складывали столы. Час был обеденный, и народу осталось немного. Поначалу он не сразу отыскал прилавок, за которым стояла девочка, продававшая ковры. Улочки в рыночном квартале были грязные – казалось, тут продавали не сувениры, а еду – или фрукты или зелень. Наконец он ее увидел: она сворачивала ковры и перевязывала их с каждого конца. Самые маленькие, дверные коврики-чаапинос, она складывала в длинную картонную коробку. Вид у нее был отсутствующий, словно мыслями она витала где-то далеко отсюда. Эспиноса подошел и погладил один из ковров. Спросил, помнит ли она его. Девушка нисколько не удивилась. Подняла глаза, посмотрела на него и ответила – да, помню, с восхиительной естественностью.

– Так кто же я? – спросил Эспиноса.

– Испанец, который купил у меня ковер, – ответила девушка. – Мы с вами еще разговаривали.

Расшифровав газеты, Пеллетье вдруг почувствовал невероятное желание принять душ и смыть с себя всю приставшую к коже грязь. Еще издавек он увидел Амальфитано. Тот зашел в гостиницу и заговорил с администратором. Подойдя к террасе, вяло помахал рукой – мол, вижу-вижу тебя. Пеллетье поднялся и попросил его заказать то, что душе угодно, а он сейчас пойдет в душ. Уходя, он отметил про себя: у Амальфитано покрасневшие, с глубоко залегшими тенями глаза, словно бы приятель еще не ложился спать. Пока шел по вестибюлю, он вдруг передумал и присел перед одним из двух компьютеров, стоявших в маленьком зальчике рядом с баром, которые гостиница предоставляла в пользование посетителям. Просмотрев корреспонденцию, он обнаружил длинное письмо от Нортон, в нем она поясняла, каковы были, на ее взгляд, подлинные мотивы, по которым она так резко сорвалась с места и уехала. Письмо он читал так, словно его до сих пор штормило от выпитого. Пеллетье еще подумал о молоденьких читателях Арчимбольди, с которыми познакомился вчера вечером, и ему смутно захотелось стать как они, поменяться с ними жизнями. И сам же себе признался: это все усталость. Одна из ее форм. Потом он вызвал лифт и поднялся к себе на этаж в компании с американкой лет

семидесяти, которая читала мексиканскую газету – точно такую же, как та, что он проштудировал сегодня утром. Раздеваясь, он все думал, как это сказать Эспиносе. Возможно, у него в почте тоже лежит письмо от Нортон. «Ну что я могу сделать-то?» – спросил он себя.

Унитаз так и оставался разбитым, и несколько секунд Пеллетье пристально разглядывал трещину. По телу струилась холодноватая вода. «Что нам говорит здравый смысл?» – подумал он. Здравый смысл подсказывал: надо вернуться и разобраться. Тут в глаза ему попала мыльная пена, и пришлось оторвать взгляд от унитаза. Он подставил лицо под душ и закрыл глаза. «Не так уж мне и грустно», – сказал он себе. Дичь какая-то это все, сказал он себе. А потом выключил воду, оделся и спустился к Амальфитано.

Они с Эспиносой вместе отправились читать корреспонденцию. Пеллетье сел сзади – хотелось узнать, есть ли в почте письмо от Нортон; еще он был уверен: там написано то же самое, что и в адресованном ему письме, так что он уселся в кресло рядом с компьютерами и принялся листать туристический журнал. Время от времени поднимал взгляд и смотрел на Эспиносу – тот не выказывал желания встать и уйти. Он бы его с удовольствием похлопал по спине или затылку, но решил ничего такого не делать. Когда Эспиноса оглянулся на него, выяснилось, что да, у него текст письма такой же.

– Просто поверить не могу, – пискнул Эспиноса.

Пеллетье положил журнал на стеклянный столик, подошел к компьютеру и внимательно прочитал письмо Нортон. Потом, не садясь, тыча в клавиатуру одним пальцем, поискал в своей почте и показал Эспиносе письмо, которое получил сам. И очень мягко попросил его прочитать. Эспиноса снова развернулся к экрану и несколько раз пробежал глазами письмо Пеллетье.

– Практически без разночтений, – резюмировал он.

– Какая разница, – сказал француз.

– Что бы ей не написать по-разному – это было бы тактичнее, – сказал Эспиноса.

– Тактично в данном случае – просто поставить в известность, – возразил Пеллетье.

Когда они вышли на террасу, там уже почти никого не было. Официант в белом пиджаке и черных брюках убирал с пустых столов бокалы и бутылки. В другом конце, рядом с перилами, сидела парочка – им еще и тридцати не исполнилось, – и они сидели и глядели на темно-зеленый тихий проспект, взявшись за руки. Эспиноса спросил Пеллетье, о чем он думает.

– О ней, – отозвался тот, – естественно, о ком же еще.

Также он сказал: как странно, или нет, не странно, но не без этого, что они сидят здесь, в этой гостинице, в этом городишке, когда Нортон наконец определилась. Эспиноса долго смотрел на него, а потом отмахнулся и сказал, что его опять тошнит.

На следующий день Эспиноса вернулся на рынок и спросил девушку, как ее зовут. Она ответила: Ребекка, и Эспиноса улыбнулся – имя ей подходило наилучшим образом. И так он и простоял почти три часа: болтал с Ребеккой, а туристы и любопытствующие бродили по рынку, с неохотой, словно кто-то их принуждал, разглядывали товары. Два раза клиенты подходили к прилавку Ребекки, и оба ушли, ничего не купив, и Эспиносе стало стыдно: неужели его упрямое присутствие у прилавка принесло девушке неудачу? Тогда он решил исправить положение, купив то, что, как он думал, купили бы другие. Приобрел большой ковер, два маленьких ковра, пончо с зеленым узором и пончо с красным узором, а еще что-то вроде сумки из той же ткани и с такими же узорами, как на пончо. Ребекка спросила, не собирается ли он в скором времени отправиться домой, а Эспиноса улыбнулся и сказал, что пока не знает. Потом девушка подозвала мальчика, который взвалил себе на спину все покупки Эспиносы и донес их до того места, где он припарковался.

Ребекка всего-то позвала мальчишку (который возник из ниоткуда или из толпы, – впрочем, это одно и то же), но ее голос, ее интонация, спокойная властность потрясли Эспиносу.

Пока он шел за мальчиком, заметил, что большинство торговцев сворачивается. Дойдя до машины, они разместили ковры в багажнике, и Эспиноса спросил, давно ли он работает с Ребеккой. Это моя сестра, ответил тот. «Вообще никакого сходства», – подумал Эспиноса. Потом долго смотрел на мальчика, невысокого роста, но сильного, и дал ему десятидолларовую купюру.

В гостинице он увидел, что Пеллетье сидит на террасе и читает Арчимбольди. Спросил, какую книгу, и Пеллетье, улыбаясь, ответил:

– «Святого Фому».

– Сколько раз ты его читал? – спросил Эспиноса.

– Уже не помню сколько, хотя эту я перечитываю не так уж часто, – ответил Пеллетье.

«Прямо как я», – подумал Эспиноса.

На самом деле они получили не два письма, а одно, хотя и с разночтениями, письмо, составленное из ее излюбленных оборотов, с той же словесной эквилибристикой над той же пропастью. Нортон писала: Санта-Тереса, этот жуткий город, заставил ее задуматься. Причем задуматься в прямом смысле этого слова – она уже несколько лет так не делала. То есть она начала думать о вещах практических, реальных, осязаемых, и еще она стала припоминать. Он думала о своей семье, друзьях и о работе, и почти одновременно вспоминала какие-то сценки из домашней или рабочей жизни, сценки, где друзья поднимали бокалы и за что-то пили, возможно за нее, а может за кого-то, кого она уже давно забыла. Это невероятная страна (и тут начиналось отступление, но только в письме, адресованном Эспиносе, словно бы Пеллетье все равно ничего бы не понял или как если бы она знала, что друзья все равно станут сличать полученные письма), страна, где один из самых влиятельных деятелей культуры, человек образованный и рафинированный, писатель, который дорос до вершин власти, носит – со всей естественностью, подумайте только! – кличку Свинья, – так писала Нортон и связывала это (кличку, или жестокость ее, или смирение перед лицом такого прозвища) с преступлениями, которые уже с давних пор имеют место в Санта-Тереса.

«Когда я была маленькой, мне нравился один мальчик. Не знаю почему, но он мне нравился. Мне было восемь, ему столько же. Звали его Джеймс Кроуфорд. Думаю, он был очень робкий. Разговаривал только с мальчиками, а девочек избегал. У него были темные волосы и карие глаза. Еще он всегда носил короткие брюки – даже тогда, когда другие дети уже носили длинные. Когда я первый раз с ним заговорила – а я совсем недавно это вспомнила, – то назвала его не Джеймс, а Джимми. Никто его так не называл. Только я. Нам обоим было по восемь лет. И лицо у него было очень серьезное. Почему я с ним заговорила? Думаю, он забыл что-то на парте, ластик или карандаш, этого я уже не помню, и сказала ему: „Джимми, ты потерял ластик“. И я помню, да, помню: я улыбалась. А еще вспомнила, почему назвала его Джимми, а не Джеймс или Джим. Из нежности. И для удовольствия. Потому что Джимми мне очень нравился и казался мне красавцем».

На следующий день Эспиноса пришел к открытию рынка, и сердце у него колотилось гораздо быстрее, чем обычно, а торговцы и ремесленники раскладывали свои товары и мощеная улица еще была чистой. Ребекка разворачивала ковры на складном столике и улыбнулась, увидев его. За лотками, на тротуарах, под старинными арками и тентами серьезных магазинов, собирались группками мужчины, которые обсуждали оптовые поставки гончарных изделий: мол, в Тусоне и в Фениксе они бы быстро распродались. Эспиноса поздоровался с Ребеккой и помог ей развернуть последние ковры. Потом спросил, не хочет ли она позавтракать с ним, а девушка ответила, что не может и уже позавтракала дома. Эспиноса не сдавался и спросил, где ее братишка.

- В школе, – ответила Ребекка.
- А кто тебе помогает таскать товары?
- Моя мама.

Некоторое время Эспиноса молчал и смотрел в пол: купить еще один ковер?.. молча уйти?..

- Я тебя приглашаю пообедать со мной, – сказал он наконец.
- Хорошо, – кивнула девушка.

Вернувшись в гостиницу, он застал Пеллетье за чтением Арчимбольди. Издалека лицо его, да что там лицо, все тело Пеллетье излучало совершеннейшее спокойствие – такому и позавидовать недолго. Подойдя поближе, он увидел, что читает он не «Святого Фому», а «Слепую», и спросил, хватило ли у него терпения перечитать «Фому» от начала и до конца. Пеллетье поднял глаза, но ничего не ответил. Зато сказал: удивительная штука, может, только для него удивительная, конечно, – как Арчимбольди трактует темы боли и стыда.

- Деликатно, – сказал Эспиноса.
- Так и есть, – согласился с ним Пеллетье. – Очень деликатно.

«В Санта-Тереса, в этом ужасном городе, – писала Нортон, – я думала о Джимми, но более всего думала о себе, о том, какой я была в свои восемь лет, и поначалу мысли прыгали, образы прыгали – словно у меня землетрясение в голове – я не могла с точностью и ясностью припомнить ни единого эпизода, но, когда в конце концов сумела это сделать, все стало гораздо хуже: я увидела себя, как говорю – „Джимми“, увидела свою улыбку, серьезное лицо Джимми Кроуфорда, толпу детей, их спины, неожиданный порыв ветра, от которого нас защитил внутренний дворик, увидела, как мои губы сообщают мальчику – „ты позабыл“, увидела ластик, или, возможно, то был карандаш, я увидела своими нынешними глазами глаза, какими они были в тот момент, и снова услышала мой окрик, тон моего голоса, абсолютную вежливость восьмилетней девочки, которая зовет восьмилетнего мальчика, чтобы предупредить: „не забудь свой ластик“, и все равно не может никак назвать его по имени, Джеймс, или Кроуфорд – так, как обычно все называют друг друга в школе, – и предпочитает, сознательно или без, использовать уменьшительно-ласкательное Джимми, имя, которое означает нежность, нежность, как она проявляется в словах, нежность, которую чувствуешь именно к этому человеку, потому что только она в тот момент (что и есть мир) так его называет, и таким образом нежность и внимание (ведь она же нашла его потерявшуюся вещь) обряжаются в другие одежды: не позабудь твой ластик, твой карандаш – все это на самом деле есть словесное выражение – бедное или богатое, – счастья».

Они обедали в дешевом ресторане рядом с рынком, а младший брат Ребекки сторожил тележку, на которой они каждое утро перевозили ковры

и складной стол. Эспиноса спросил Ребекку, нельзя ли оставить тележку без присмотра и пригласить за стол и мальчика, но Ребекка сказала: не волнуйся, все в порядке. Если тележку оставить без присмотра, ее тут же утащат. Из окна ресторана Эспиноса видел мальчика, который сидел на горе ковров, как сторожевая птица, всматривающаяся в горизонт.

- Я ему отнесу что-нибудь поесть, – сказал он. – Что больше всего нравится твоему брату?
- Мороженое, – ответила Ребекка, – но здесь мороженое не подают.

Несколько секунд Эспиноса сидел и взвешивал: идти в соседние заведения на поиски мороженого или нет, – но в конце концов отказался от своего намерения: вдруг он вернется, а девушка исчезнет. Она спросила его, как там все в Испании.

- По-разному, – ответил Эспиноса; он все еще раздумывал, идти или нет за мороженым.
- По-разному с Мексикой? – спросила она.
- Нет, – ответил Эспиноса, – Испания внутри себя вся разная.

Тут ему пришла замечательная мысль отнести мальчику сэндвич.

– Здесь они называются тортас, – сказала Ребекка, – и моему братику нравятся сэндвичи с ветчиной.

«Ни дать ни взять принцесса или супруга посла», – подумал Эспиноса.

И спросил хозяйку, может ли она подать тортас с ветчиной и прохладительный напиток. Хозяйка спросила, с чем он желает тортас.

– Скажи, что со всем, чем можно, – сказала Ребекка.

– Со всем, чем можно, – попросил Эспиноса.

Потом он вышел на улицу с сэндвичем и напитком и протянул их мальчику, который по-прежнему сидел на вершине горы из ковров. Поначалу тот стал отказываться – не хочу, мол, есть. Но Эспиноса увидел, как на углу улицы трое мальчишек, по виду постарше, смотрели на них и хихикали.

– Если не хочешь есть, возьми напиток и спрячь тортас, – сказал он. – Или отдай собакам.

Когда он вернулся к Ребекке, то сразу почувствовал себя хорошо. На самом деле не просто хорошо, а замечательно.

– Так нельзя, – сказал он. – Это нехорошо, в следующий раз пообедаем все втроем.

Ребекка посмотрела ему в глаза, и вилка зависла в ее руке, а потом улыбнулась одним уголком рта и поднесла еду к губам.

В гостинице, растянувшись на лежаке рядом с пустым бассейном, лежал Пеллетье. Он читал книгу, и, даже не глядя на название, Эспиноса знал какую: то был не «Святой Фома» и не «Слепая», а другая книга Арчимбольди. Подсев к Пеллетье, он присмотрелся: то была «Летяя», роман не столь удачный, как остальные книги немца, хотя, судя по лицу Пеллетье, чтение было плодотворным и ему очень нравилось. Завалившись на соседний лежак, Эспиноса спросил, чем приятель занимался в течение этого дня.

– Читал, – ответил Пеллетье, и в свою очередь задал тот же вопрос.

– Да так, ходил туда-сюда, – сказал Эспиноса.

Той ночью, когда они вместе ужинали в ресторане гостиницы, Эспиноса рассказал, что прикупил сувениров и даже кое-что приобрел для него. Пеллетье обрадовался и спросил, что за сувенир он ему купил.

– Индейский ковер, – сказал Эспиноса.

«Уже в Лондоне после тяжелого перелета, – писала Нортон, – я снова начала думать о Джимми Кроуфорде, или, пожалуй, я начала думать о нем, еще пока ждала посадки на рейс Нью-Йорк – Лондон; так или иначе, но Джимми Кроуфорд и мой голос восьмилетней девочки уже были со мной, когда я вытаскала ключи от квартиры, включила свет и бросила чемоданы в прихожей. Потом пошла на кухню и приготовила себе чай. Затем приняла душ и легла в постель. На всякий случай приняла снотворное – а вдруг не усну сама? Помню, как пролистала какой-то журнал, помню, что думала о вас, как вы там бродите по этому жуткому городу, помню, что думала о гостинице. В моей комнате – два очень странных зеркала, и в последнее время я их побаивалась. Когда поняла, что засыпаю, сил хватило лишь на то, чтобы протянуть руку и выключить свет.

Мне ничего не приснилось. Проснувшись, я не поняла, где нахожусь, но ощущение это продлилось всего несколько секунд, а потом я прислушалась и узнала характерные шумы, доносившиеся с моей улицы. Все прошло, подумала я. Чувствую себя отдохнувшей, я у себя дома, и у меня полно дел. Когда села в постели, тем не менее я тут же разрыдалась как сумасшедшая, безо всяких видимых причин. И так прошел весь день. Иногда мне казалось, что не надо было уезжать из Санта-Тереса, надо было остаться с вами до конца. И несколько раз мне хотелось бросить все, помчаться в аэропорт и сесть на первый же рейс в Мексику. За этими желаниями

пришли и более деструктивные: поджечь квартиру, перерезать вены, никогда больше не возвращаться в университет и жить дальше как бездомная.

Но бездомные женщины, по крайней мере в Англии, зачастую подвергаются оскорблениям – я это прочитала в репортаже в одном журнале, чье название забыла. В Англии бездомные часто подвергаются групповым изнасилованиям, их бьют – не удивительно, что некоторых находят мертвыми у дверей больниц. Причем это все проделывают не полицейские и не неонацистская шелупонь, как я думала в восемнадцать лет, это делают другие бездомные, что придает ситуации дополнительную горечь. Не зная, что делать и как быть, я вышла прогуляться – проветриться и позвонить какой-нибудь подруге, чтобы вместе поужинать. Не знаю как, но оказалась напротив арт-галереи, где шла ретроспектива Эдвина Джонса, художника, который отрезал себе правую руку, чтобы выставить ее в автопортрете».

В следующую их встречу Эспиноса добился, чтобы девушка позволила проводить себя до дома. Тележку они сдали под присмотр толстой женщины в старом рабочем фартуке – Эспиноса заплатил крошечную сумму, и ее поставили в задней комнате ресторана, где они в прошлый раз обедали, между ящиков с пустыми бутылками и жестяных банок с чили и мясом. Потом они запахали ковры и пончо на заднее сиденье автомобиля, и все трое устроились на передних. Мальчик был счастлив, и Эспиноса сказал: «Сам решай, куда мы пойдем сегодня обедать». Так они оказались в «Макдональдсе» в центре города.

Дом девушки находился в западных районах города, там, где, как писали газеты, и совершались те преступления, но улица и район, где жила Ребекка, показались ему обычным бедным районом и бедной улицей, без всяких тайных ужасов. Машину Эспиноса запарковал прямо перед домом. У входа был крохотный садик с тремя кадками из тростника и проволоки, там густо топорщились цветы и зелень. Ребекка велела братику сторожить машину. Дом был деревянным, и доски под ногами скрипели так, словно под ними находился водосток или тайная комната.

Мать девушки, против ожиданий Эспиносы, любезно поприветствовала его и предложила ему прохладительный напиток. Потом сама представила остальных своих детей. У Ребекки было два брата и три сестры – впрочем, старшая уже не жила с ними, поскольку вышла замуж. Одна из сестер походила как две капли воды на Ребекку, только помоложе. Звали ее Кристина, и все в один голос говорили, что она в семье самая смышленная. Эспиноса пробыл в доме столько, сколько диктовала вежливость, а потом предложил Ребекке пойти прогуляться. Выйдя, они увидели, что мальчишка сидит на крыше машины. Он читал комикс и что-то посащывал – видимо, карамельку. А когда они вернулись с прогулки, мальчик сидел там же, правда, уже ничего не читал и от карамельки ничего не осталось.

Вернувшись в гостиницу, Эспиноса застал Пеллетье за чтением – это снова был «Святой Фома». Эспиноса уселся рядом, и Пеллетье поднял глаза от книги и сказал, что есть вещи, которые он не понимает и никогда не поймет. Эспиноса расхохотался и ничего не ответил.

– Приходил Амальфитано, – сказал Пеллетье.

Судя по всему, у чилийца действительно было плохо с нервами. Пеллетье пригласил его поплавать в нем в бассейне. Плавок у преподавателя не было, но администратор выдал ему какие-то. Все шло хорошо. Но когда Амальфитано залез в воду, то вдруг оцепенел, словно дьявола увидел, и начал тонуть. Прежде чем он скрылся под водой, Пеллетье припомнил – он закрыл рот обеими руками. В любом случае, он не предпринял никаких попыток всплыть. К счастью, Пеллетье был рядом и мгновенно нырнул и вытащил приятеля на поверхность. Потом они выпили виски, и Амальфитано сказал, что давно не плавал.

– Мы говорили об Арчимбольди, – сказал Пеллетье.

Потом Амальфитано оделся, вернул администратору плавки и ушел.

- А ты что делал? – спросил Эспиноса.
- Принял душ, оделся, спустился пообедать и продолжил читать.

«На мгновение, – писала Нортон, – я почувствовала себя как бездомная, у которой перед глазами вспыхнули огни театра. Я была не в лучшем состоянии, чтобы идти на выставку, но имя Эдвина Джонса притягивало меня как магнит. Я подошла к двери – она была стеклянная – и увидела внутри много людей и официантов в белом, те с трудом лавировали между публикой с подносами, нагруженными бокалами с шампанским и красным вином. Я решила подождать и перешла на другую сторону улицы. Постепенно галерея опустела, и я подумала: уже можно войти и посмотреть хотя бы часть экспозиции.

Но, открыв стеклянную дверь, я вдруг замерла с ощущением, что все случившееся, начиная с этого мгновения, определит всю мою дальнейшую жизнь. Я остановилась перед пейзажем – он запечатлел Сюррей – это был первый этап творчества Джонса, и картина показалась мне грустной, но также мягкой, глубокой и возвышенной – только английские пейзажи, написанные англичанами, могут быть такими. Вдруг я решила, что, увидев эту картину, посмотрела достаточно и уже приготовилась уходить, но тут ко мне подошел официант – пожалуй, последний из официантов из компании кейтеринга, которые обслужи-

вали прием, – подошел ко мне с одиноким бокалом вина на подносе – бокалом, который принес специально для меня. Он ничего не сказал.

Только предложил бокал, и я улыбнулась и взяла его. И тут я увидела постер выставки – он висел с другой стороны зала – постер с той самой картиной с отрубленной рукой в центре, шедевром Джонса, а под ней – белые цифры: дата рождения и дата смерти.

Я не знала, что он умер, – писала Нортон, – я думала, он до сих пор живет в Швейцарии, в том уютном сумасшедшем доме, где он смеялся над собой и в особенности над нами. Помню, как бокал выпал у меня из рук. Припоминаю пару – оба были высокие и худые – которая рассматривала картину, они обернулись ко мне с любопытством, словно бы я была экс-любовницей Джонса или живой (и незаконченной) картиной, которая вдруг узнала, что ее художник умер. Я вышла оттуда не оборачиваясь и долго ходила по улицам, пока не осознала, что не плачу, это дождь идет, и я промокла до нитки. В ту ночь я не смогла уснуть».

По утрам Эспиноса заходил за Ребеккой. Он оставлял машину у дверей ее дома, пил кофе, а потом, ничего не говоря, клал ковры на заднее сиденье и протирал осевшую на машине пыль тряпкой. Понимай он что-нибудь в механике, то поднял бы капот и посмотрел двигатель, но в механике он не смыслил ничего, а в двигателе и подавно – кстати, работа мотора не вызывала никаких нареканий. Потом из дома выходила девушка с братиком, и Эспиноса открывал им дверь пассажирского сиденья – опять-таки молча, словно бы годами проделывал то же самое, – а потом садился сам на место водителя, бросал тряпку в бардачок и ехал на рынок. Там он помогал ребятам разложить столик и товары, а потом шел в соседний ресторан, брал два кофе навынос и кока-колу, они все это выпивали стоя, созерцая соседние лотки, а еще приземистые и широкие, но тем не менее удивительно красивые дома в колониальном стиле. Время от времени Эспиноса напускался на братика девушки: мол, плохо для желудка начинать день с кока-колы, но мальчик, которого звали Эулохио, только смеялся, потому что знал: на девяносто процентов Эспиноса притворяется, а не сердится на самом деле. Остаток утра Эспиноса проводил на террасе, не выходя из этого квартала, единственного в Санта-Тереса, помимо района, где жила Ребекка, который ему нравился, и он читал местные газеты, пил кофе и курил. Заходя в туалет, смотрелся в зеркало и находил черты своего лица изменившимися. Я похож на джентльмена, говорил он себе иногда. Похоже, я помолодел. И вообще на себя не похож.

По возвращении в гостиницу он всегда находил Пеллетье на террасе, или у бассейна, или в креслах в каком-либо из залов, перечитывающим «Святого Фому», или «Слепую», или «Летею» – похоже, единственные книги Арчимбольди, которые тот привез с собой в Мексику. Спрашивал, не собирается ли Пеллетье писать статью или эссе по этим трем книгам, но каждый раз Пеллетье изъяснялся обиняками. Сначала, мол, да. А теперь нет. И читает он их оттого, что других с собой нет. Эспиноса хотел предложить ему что-то из своих запасов, но тут же понял – и не на шутку встревожился! – что забыл о книгах Арчимбольди, которые прятались в недрах его чемодана.

«Той ночью я не могла уснуть, – писала Нортон, – и тут мне пришла в голову мысль позвонить Морини. Уже было поздно, звонить в такой час – признак невоспитанности, и вообще это как-то не слишком разумно с моей стороны – вот так грубо вмешиваться в его жизнь, но я все-таки позвонила. Припоминаю, что набрала номер и тут же погасила свет в квартире, как если бы Морини не смог увидеть моего лица, если вокруг темно. Он, к моему удивлению, моментально поднял трубку.

– Это я, Пьеро, – сказала я, – Лиз. Ты знал, что Эдвин Джонс умер?

– Да, – ответил мне голос Морини из Турина. – Он умер несколько месяцев назад.

– Но я узнала об этом только сегодня, сегодня вечером.

– Я думал, ты уже в курсе.

– Как он умер?

– Несчастный случай, – отозвался Морини. – Он вышел погулять, хотел написать небольшой водопад в окрестностях клиники, поднялся на скалу и поскользнулся. Труп нашли в расщелине пятьдесят метров глубиной.

– Не может быть, – сказала я.

– Очень даже может, – сказал Морини.

– Он вышел прогуляться один? За ним никто не присматривал?

– А он был не один, – отозвался Морини. – С ним шли медсестра и один из этих крепышей из клиники – из тех, что за секунду могут скрутить неистового психа.

Я засмеялась, в первый раз за это время, – уж больно смешным мне показалось выражение «неистовый псих», и Морини на другом конце провода тоже засмеялся вместе со мной – правда, его смех тут же оборвался.

– Эти мускулистые крепыши на самом деле называются санитарам, – сказала я.

– В общем, с ним шли медсестра и санитар, – сказал он. – Джонс залез на скалу, и молодой человек поднялся вслед за ним. Медсестра, по указанию Джонса, присела на пенек и сделала вид, что читает книжку. Джонс стал рисовать – левой рукой, он ее весьма неплохо разработал. Он хотел написать водопад, горы, скальные выступы, лес и медсестру, сосредоточенно читавшую книгу. Тут-то все и случилось. Джонс поднялся с камня, поскользнулся и, хотя санитар попытался его схватить, упал в пропасть. Вот и все.

Некоторое время мы молчали, – писала Нортон, – но тут Морини заговорил: спросил, как я съездила в Мексику.

– Плохо, – призналась я.

Больше он не задавал вопросов. Я слышала его ровное дыхание, а он – мое, и оно тоже становилось все размереннее и размереннее.

– Я позвоню завтра, – сказала я ему.

– Хорошо, – ответил он, но в течение нескольких секунд мы не осмеливались повесить трубку.

Той ночью я думала об Эдвине Джонсе, думала о его руке, которую сейчас наверняка выставляют в галерее, о руке, за которую не смог ухватиться санитар, чтобы удержать художника от падения, – хотя это как раз кажется слишком очевидным сюжетом с подвохом, который

совсем не передает то, чем был Джонс. Более реальным тут оказывался швейцарский пейзаж, тот самый, который вы видели, а я нет: горы и леса, острые скалы и водопады, смертельные расселины и читающие медсестры».

Однажды вечером Эспиноса повел Ребекку на танцы. Они пошли на дискотеку в центре Санта-Тереса, где девушке еще не приходилось бывать, но подружки отзывались об этом месте исключительно в превосходной степени. Пока они пили свои куба-либре, Ребекка рассказала, что у входа на эту дискотеку похитили двух девушек, которых потом нашли мертвыми. Их трупы бросили в пустыне.

То, что Ребекка сказала про убийцу – что он, мол, часто посещал эту дискотеку, – показалось Эспиносе плохой приметой. Проводив девушку до дома, он поцеловал ее в губы. От Ребекки пахло алкоголем, и кожа у нее была очень холодная. Он спросил ее, хочет ли она заняться любовью, и она кивнула, молча, несколько раз. Тогда они пересели с передних сидений на задние и занялись этим. Они быстро кончили. Но потом она положила голову ему на грудь, все так же не говоря ни слова,

и он долго гладил ее волосы. Ночной воздух пах какой-то химией – запах налетал волнами. Эспиноса подумал, что тут неподалеку бумажная фабрика. Он спросил Ребекку, но она ответила, что здесь только дома, которые построили сами их жители, и пустыри.

Когда бы он ни возвращался в гостиницу, Пеллетье еще не спал, читал книгу и ждал его. Видимо, таким образом подтверждал их дружбу. Возможно, правда, француз просто не мог уснуть и бессонница преследовала его по всем залам гостиницы до самого рассвета.

Иногда Пеллетье садился у бассейна, закутавшись в свитер или полотенце, и мелкими глотками пил виски. А иногда Эспиноса находил его в зале, где висело огромное полотно с изображающим границу пейзажем, написанное – это отгадывалось в один миг – художником, который никогда там не был: заселенность пейзажа и его соразмерность выдавали желаемое за действительное. Официанты – причем даже официанты ночной смены – радовались чаевым и всю старались предупредить его желания. Когда он подходил, они некоторое время беседовали, обмениваясь короткими любезностями.

Иногда перед тем, как отправиться на поиски друга по пустым залам гостиницы, Эспиноса садился проверять свою электронную почту: он надеялся получить письма из Европы, от Хеллфилда или Борчмайера, с какими-нибудь сведениями о том, где искать Арчимбольди. Потом отыскивал Пеллетье, а позже они оба молча поднимались в свои номера.

«На следующий день, – писала Нортон, – я занялась уборкой в квартире и приводила в порядок свои бумаги. Закончила я ранее, чем планировала. А вечером в одиночестве пошла в кино и, выйдя с сеанса, уже не могла припомнить ни сюжета фильма, ни актеров, в нем занятых. Тем вечером я поужинала с подругой и легла рано, хотя до двенадцати так и не смогла сомкнуть глаз. А проснувшись, очень рано и ничего не забронировав, поехала в аэропорт и купила первый попавшийся билет до Италии. Из Лондона прилетела в Милан, а оттуда доехала поездом до Турина. Когда Морини открыл дверь, я сказала, что приехала надолго и он волен выбрать – оставить меня у себя или отправить в гостиницу. Он не ответил на мой вопрос, только отъехал на коляске в сторону и велел заходить. Я пошла в ванную умыться. Когда вернулась, Морини уже заварил чай и выложил на голубую тарелку три пирожных, которые предложил мне, заверяя в том, что они невероятно вкусны. Я попробовала одно, и оно оказалась потрясающим. Что-то в нем было от греческих сладостей с фисташками и финиками внутри. Я быстро управилась со всеми тремя пирожными и выпила две чашки чая. Морини тем временем куда-то позвонил, а потом сел и начал слушать мой рассказ, время от времени задавая вопросы, на которые я охотно отвечала.

Мы проговорили несколько часов. Говорили об итальянских правых, о новом расцвете фашизма в Европе, об иммигрантах, о мусульманских террористах, о британской политике и политике Соединенных Штатов, и, по мере того как мы говорили, мне становилось все лучше и лучше – странно, потому что темы-то мы затрагивали скорее грустные; но тут я не выдержала и попросила у него еще волшебных пирожных, хотя бы одно, и тогда Морини посмотрел на часы и сказал, что я голодна и это логично, но у него есть идея получше, чем выдать мне пироженку с фисташками, – он забронировал столик в одном туринском ресторане и поведет меня ужинать туда.

Ресторан располагался посреди сада со скамеечками и каменными статуями. Помню, как я катила коляску Морини, а он показывал мне статуи. Некоторые изображали героев мифов, другие выглядели как потерявшиеся в ночи простые крестьяне. В парке гуляли и другие пары, иногда мы с ними пересекались, а иногда видели только их тени. За ужином Морини спросил меня о вас. Я сказала, информация о том, что Арчимбольди находится на севере Мексики, оказалась ложной и что, скорее всего, ноги его в этой Мексике не было. Я рассказала и о вашем мексиканском друге, великом интеллектуале по кличке Свинья – и тут мы оба захохотали. И с каждым словом мне становилось все легче».

Однажды вечером (когда они второй раз занимались с Ребеккой любовью на заднем сиденье машины) Эспиноса спросил, что ее семья думает по его поводу. Девушка ответила, что сестры считают его красавцем, а мать сказала, что у него лицо ответственного мужчины. Химией пахло так, что еще чуть-чуть и машина поднялась бы в воздух. На следующий день Эспиноса купил пять ковров. Девушка удивилась – на что ему столько ковров? Эспиноса объяснил, что это подарки. Вернувшись в гостиницу, он положил ковры на пустую кровать и сел на свою; на долю секунды тени отступили, и на миг его глазам предстала реальность как она есть. Его затошнило, и он закрыл глаза. И уснул, сам того не заметив.

Проснулся он с болью в желудке и желанием поскорее умереть. Вечером он пошел за покупками. Побывал в магазине нижнего белья, магазине женской одежды и в обувном магазине. Тем вечером он привел Ребекку в гостиницу и после душа надел на нее крохотные трусики и пояс для чулок, и черные чулки, и черное боди, и черные же туфли на шпильке, и трахал ее до тех пор, пока она не задрожала от изнеможения. Затем заказал ужин на две персоны в номер, а после еды вручил ей другие подарки, а потом они снова занимались любовью до самого рассвета. Когда оба оделись, она положила подарки в сумки, и он проводил ее до дома, а потом и до рынка, где помог ей разложить столик. Незадолго до прощания она спросила, увидит ли его снова. Эспиноса, сам не зная зачем, наверное, просто от усталости, пожал плечами и сказал: «Кто ж его знает».

– Знает-знает, – проговорила Ребекка необычайно грустным голосом – такой он никогда еще не слышал. – Ты уезжаешь из Мексики?

– Когда-нибудь да придется, – ответил он.

Вернувшись в гостиницу, он не застал Пеллетье ни на террасе, ни рядом с бассейном, ни в одном из залов гостиницы, где он обычно уединялся, читая. Он спросил у стойки администратора, давно ли его друг ушел, и ему ответили, что Пеллетье вообще не выходил из гостиницы. Он снова постучал, причем несколько раз, но с тем же результатом. Он сказал администратору, что боится, вдруг его другу стало плохо, может, случился сердечный приступ, и администратор, который знал их обоих, поднялся вместе с Эспиносой.

– Не думаю, что там что-то плохое случилось, – сказал он, пока они поднимались в лифте.

Открыв мастер-ключом номер, администратор отказался перешагивать порог. Комната тонула в темноте, и Эспиноса включил свет. На одной из кроватей увидел Пеллетье, до подбородка укрытого покрывалом. Тот лежал навзничь, лишь немного склонив голову на сторону,

руки его были сложены на груди. И выражение лица у него было очень умиротворенное – Эспиноса ни разу такого не видел. Он позвал:

– Пеллетье! Пеллетье!

Администратор, не справившись с любопытством, сделал несколько шагов вперед и посоветовал не трогать его.

– Пеллетье! – заорал Эспиноса, упал на кровать и потряс его за плечи.

Тут Пеллетье открыл глаза и поинтересовался, что здесь происходит.

– Мы думали, ты умер, – признался Эспиноса.

– Нет, – ответил Пеллетье. – Мне снилось, что я отправился в отпуск на греческие острова и там снял лодку и познакомился с мальчиком, который целыми днями нырял.

– Приятный сон, – сказал он.

– Понятненько, – пробормотал администратор. – Очень расслабляющий такой... сон.

– Самое любопытное, – проговорил Пеллетье, – там вода – она была живая!

«Первые часы моей первой ночи в Турине, – писала Нортон, – я провела в гостевой комнате в квартире Морини. Я легко уснула, но вдруг меня разбудил гром – уж не знаю, наяву это было или во сне, – но мне показалось, что в коридоре я увидела силуэт Морини и его коляски. Поначалу я не придавала этому значения и попыталась снова уснуть, но тут вдруг сообразила, что видела: с одной стороны – силуэт коляски в коридоре, а с другой – уже не в коридоре, а в гостиной – силуэт Морини. Я резко проснулась, схватила пепельницу и включила свет. В коридоре никого не было. Я дошла до гостиной – тоже никого. Несколько месяцев тому назад я бы спокойно выпила стакан воды и вернулась в постель, но все изменилось и ничего уже не будет по-прежнему. Тогда я взяла и пошла в комнату Морини. Открыв дверь, перво-наперво увидела коляску с одной стороны кровати, а с другой – похожий на сверток силуэт Морини. Тот спокойно дышал. Я прошептала его имя. Он не двинулся. Тогда окликнула его громче, и голос Морини поинтересовался, что происходит.

– Я тебя видела в коридоре, – сказала я.

– Когда? – спросил Морини.

– Только что, когда услышала гром.

– Дождь идет? – удивился Морини.

– Наверняка, – кивнула я.

– Я не выходил в коридор, Лиз, – сказал Морини.

– Но я тебя видела! Ты встал на ноги! Коляска тоже там была, развернутая ко мне, а ты стоял в конце коридора, в гостиной, ко мне спиной, – твердо сказала я.

– Тебе, наверное, все это приснилось, – сказал Морини.

– Коляска стояла повернутая ко мне, а ты – от меня, – упрямо повторила я.

– Лиз, успокойся, – пробормотал Морини.

– Вот только не надо просить меня успокоиться, не принимай меня за дурочку! Коляска смотрела на меня, а ты, ты стоял, спокойно так, и на меня не смотрел. Понятно?

Морини взял секундную паузу, чтобы подумать, и уперся локтями в колени.

– Думаю, да, – сказал наконец он, – моя коляска тебя сторожила, пока я отвернулся, так ведь? Словно бы я и моя коляска – одно существо, одна личность. И коляска эта – злая сущность именно потому, что смотрела на тебя, и я был тоже плохой, потому что соврал тебе и на тебя не смотрел.

Тут я рассмеялась и сказала, что для меня он никогда, никогда не будет плохим, и коляска тоже не будет – ведь она так помогает ему в жизни.

Остаток ночи мы провели вместе. Я попросила его подвинуться и освободить мне место рядом с ним. Морини повинился молча.

- Как же так вышло, что я так поздно догадалась, что ты меня любишь? – сказала я ему позже. – Как так вышло, что я поздно поняла, что тебя люблю?
– Моя вина, – произнес Морини в темноте, – я такой неуклюжий».

Утром Эспиноса подарил администраторам и охранникам и официантам гостиницы часть ковров и пончо, которые хранил у себя. Также он подарил ковры двум женщинам, которые убирались у него в номере. Последнее пончо, очень красивое, с красными, зелеными и сиреневыми геометрическими фигурами, он сунул в сумку и попросил поднять в номер Пеллетье.

– Подарок от человека, оставшегося инкогнито, – сказал он.

Администратор подмигнул ему и сказал, что все сделает.

Когда Эспиноса подошел к рынку, она сидела на деревянной скамеечке и читала журнал о современной музыке – сплошные цветные фотографии и рядом – новости из жизни мексиканских певцов и певиц, их свадьбы, разводы, гастроли, платиновые и золотые диски, сроки в тюрьме и смерти под забором. Он сел рядом на бордюр и засомневался – поцеловать ее или просто поздороваться. Напротив стоял новый прилавок – там продавали глиняные статуэтки. Со своего места Эспиноса разглядел крохотные виселицы и грустно улыбнулся. Он спросил девушку, где ее братик, и та ответила – в школе, он туда каждое утро ходит.

Очень морщинистая женщина, одетая в белое как невеста, остановилась поговорить с Ребеккой, и тогда он подобрал журнал, который девушка оставила под столом на холодильной сумочке, и листал его все время, пока подруга Ребекки не ушла. Он хотел несколько раз что-то сказать, но так и не смог. Она молчала, но в ее молчании не было ничего неприятного, не чувствовалось ни укора, ни грусти. Оно было не густым, а прозрачным. И практически не занимало места. Эспиноса вдруг подумал, что он мог бы привыкнуть к этому молчанию и быть счастливым. Но нет, он никогда не привыкнет – и он это знал лучше, чем кто-либо.

Когда ему надоело сидеть, он пошел в бар и взял себе пиво у стойки. Вокруг толпились сплошь мужчины, каждый в паре с кем-то другим. Эспиноса обвел бар злющим взглядом и тут же сообразил: мужчины пили, но также и ели. Он выругался и плюнул на пол, всего в нескольких сантиметрах от своих туфель. Затем взял еще пива и вернулся к лотку с ополовиненной бутылкой. Ребекка посмотрела на него и улыбнулась. Эспиноса сел рядом с ней на тротуар и сказал, что вернется. Девушка ничего не ответила.

– Я вернусь в Санта-Тереса, – повторил он, – самое большее через год, клянусь.

– Не клянись, – ответила девушка, впрочем, с довольной улыбкой.

– И вернусь за тобой. – И Эспиноса выпил до капли свое пиво. – И, возможно, мы поженимся, и ты приедешь вместе со мной в Мадрид.

Ему показалось, что девушка сказала: «Было бы здорово» – вот только Эспиноса не слышал.

– Что? Что? – переспросил он.

Ребекка молчала.

Ночью он вернулся и застал Пеллетье за обычными занятиями – тот читал и пил виски рядом с бассейном. Эспиноса устроился на соседнем шезлонге и спросил, какие у него планы. Пеллетье улыбнулся и положил книгу на стол:

– Я нашел в номере твой подарок, он своевременный и по-своему очаровательный.

– А, пончо, – сказал Эспиноса и откинулся в шезлонге.

На небе проступали многочисленные звезды. Лазоревая вода бассейна бросала отсветы на столы и массивные кадки с цветами и кактусами, цепочка бликов тянулась к стене из бежевого кирпича, за которой находились теннисная площадка и сауна, – удобства, которые Пел-

летье и Эспиноса с успехом проигнорировали. Время от времени до них доносились удары по мячу и приглушенные голоса комментирующих игру зрителей.

Пеллетье встал и предложил пройтись. Он пошел к теннисному корту, Эспиноса двинулся следом. Над площадкой уже горели фонари, и два пузатых мужика без особого успеха размахивали ракетками, а на деревянной скамье под зонтиком (такие же стояли вокруг бассейна) сидели и смеялись женщины. В глубине, за сетчатой оградой, стояла сауна – цементная коробка с двумя крошечными окнами, похожими на иллюминаторы затонувшего корабля. Присев на кирпичную ограду, Пеллетье сказал:

– Мы не найдем Арчимбольди.

– Мне это уже несколько дней как ясно, – ответил Эспиноса.

Затем он подпрыгнул раз, другой, пока не устроился на краю стены, спустив ноги к теннисному корту.

– Тем не менее, – проговорил Пеллетье, – я уверен: Арчимбольди здесь, в Санта-Тереса.

Эспиноса посмотрел на свои руки, словно боялся, что поранит себя. Одна из женщин поднялась со своего места и ступила на площадку. Подойдя к одному из мужчин, она прошептала ему что-то на ухо и отошла. Мужчина вскинул руки к небу, открыл рот и откинул голову – но не издал ни звука. Второй мужчина, одетый, как и первый, в белоснежную форму, подождал, пока закончится немая сцена радости его соперника и, когда тот перестал строить гримасы, послал ему мяч. Партия возобновилась, и женщины снова захихикали.

– Поверь мне, – сказал Пеллетье голосом мягким, как ветерок, который в тот момент дул, наполняя воздух ароматом цветов, – я знаю, что Арчимбольди – здесь.

– Но где? – спросил Эспиноса.

– Где-то тут, в Санта-Тереса или окрестностях.

– А почему мы его не нашли? – спросил Эспиноса.

Один из теннисистов упал на землю, и Пеллетье улыбнулся:

– А это неважно. Может, мы дураки, а может, у Арчимбольди талант прятаться. Все это ерунда. Важно другое.

– Что? – спросил Эспиноса.

– Что он тут, – ответил Пеллетье и обвел рукой сауну, гостиницу, корт, металлические решетки, палую листву, которую глаз различал там, где гостиница не освещалась.

Эспиноса почувствовал, как у него встали дыбом волосы на спине. Цементная коробка с сауной вдруг показалась ему бункером с мертвецом внутри.

– Я тебе верю, – сказал он – и это было правдой.

– Арчимбольди здесь, – сказал Пеллетье, – и мы здесь, и ближе нам уже не подобраться.

«Не знаю, сколько мы пробудем вместе, – писала Нортон. – Ни Морини (я так думаю), ни мне это неважно. Мы любим друг друга – и мы счастливы. Уверена, вы меня поймете».

Часть об Амальфитано

«Не понимаю, зачем я приехал в Санта-Тереса» – сказал себе Амальфитано, проведя неделю в этом городе. «Не знаешь? Так-таки не знаешь?» – спросил он себя. «На самом деле не знаю», – сказал он себе и красноречивее выразиться не мог.

Жил он в одноэтажном домике из трех комнат, с ванной и туалетом, с крошечной кухонькой, соединенной с гостиной, окна гостиной-столовой выходили на закат, а на кирпичном крыльце стояла старая деревянная скамья, вся исхлестанная ветром, который слетал с гор и налетал с моря, исхлестанная ветром с севера, ветром открытых пространств, и ветром южным, приносящим запах дыма. Некоторые книги Амальфитано хранил более двадцати пяти лет. Не так уж много их было. И все старые. У него были книги, купленные менее десяти лет назад, и их он мог безболезненно отдать почитать, потерять или даже утратить в результате ограбления. У него жили книги, которые он получил в совершенно жутком состоянии, непонятно от кого. Он их даже не открывал. Еще у него был патио, превосходно подходящий, чтобы разбить газончик и посадить цветы – правда, он так и не узнал, какие лучше подходят, не кактусы же и кактусообразные ему там высаживать. Еще у него было время (или так он думал), чтобы заняться садом. Там стояла деревянная решетка, которую давно следовало бы подкрасить. Еще ему раз в месяц выплачивали зарплату.

У него была дочь по имени Роса, и она все время жила с ним. Надо же, нарочно не придумаешь, однако так оно все и было.

А иногда ночами он вспоминал мать Росы и временами смеялся, а временами плакал. Вспоминал ее, сидя в кабинете, а Роса спала у него в комнате. В гостиной было пусто, тихо и не горел свет. На крыльце, если прислушаться повнимательнее, раздавался писк немногих москитов. Но никто не прислушивался. Соседние дома стояли молчаливые и темные.

Росе было шестнадцать, и она была испанка. Амальфитано было пятьдесят, и он был чилиец. Роса получила паспорт, когда ей только исполнилось десять лет. Во время их путешествий, вспоминал Амальфитано, они попадали в дурацкие ситуации: Роса проходила контроль и таможеню как гражданка ЕС, а Амальфитано – через дверь для лиц, не имеющих гражданства ЕС. В первый раз с Росой случилась истерика – она расплакалась, потому что не хотела разлучаться с отцом. В другой раз, поскольку очереди двигались с разной скоростью – а очередь для неграждан ЕС двигалась медленно, их проверяли с особой тщательностью, – Роса потерялась, и Амальфитано целых полчаса искал ее. Иногда полицейские на контроле видели крохотную Росу и спрашивали, одна ли она путешествует и встречает ли ее кто-нибудь. Роса отвечала, что путешествует с отцом, который латиноамериканец, и что она должна подождать его прямо здесь. В какой-то из случаев вскрыли и досмотрели чемодан Росы: опасались, что отец может контрабандой провозить наркотики или оружие, пользуясь невинным видом и гражданством дочери. Но Амальфитано никогда не торговал наркотиками и уж тем более оружием.

Вот кто все время носил с собой оружие, вспоминал Амальфитано, куря мексиканскую сигарету, сидя в кабинете или стоя на крыльце в темноте, это Лола, мать Росы: она никогда не расставалась с ножом из нержавеющей стали, который открывался кнопкой, автоматически. Однажды их задержали в аэропорту (это было до того, как родилась Роса) и спросили, что здесь делает нож. Я им фрукты чищу, ответила Лола. Апельсины, яблоки, груши, киви – всякие такие фрукты. Полицейский посмотрел-посмотрел на нее и разрешил идти. Через год и пару

месяцев после этого случая родилась Роса. А еще два года спустя Лола ушла из дому и до сих пор носила с собой этот нож.

Предлог она выбрала вот какой: мол, хочется ей навестить своего любимого поэта, который живет в сумасшедшем доме в Мондрагоне, что рядом с Сан-Себастьяном. Амальфитано слушал ее аргументы целую ночь, пока Лола собирала рюкзак и уверяла его: мол, она вернется к нему и дочери прямо очень скоро. Лола, особенно в последнее время, утверждала, что знает этого поэта, и познакомились они на вечеринке в Барселоне, еще до того, как Амальфитано появился в ее жизни. Во время этой вечеринки (Лола называла ее дикой), вечеринки запоздавшей, которая вдруг вылезает среди летней жары посреди длинной пробки, где машины стоят с включенными красными фарами, – так вот, она отдалась ему, и они занимались любовью всю ночь напролет; однако Амальфитано знал, что это неправда: не только потому, что поэт был гомосексуалистом, но потому, что Лола о его существовании узнала от самого Амальфитано, и он подарил ей одну из его, поэта, книг. Потом Лола скупила все остальные книги поэта и даже друзей себе выбирала из тех, кто считали поэта просветленным, инопланетянином, посланником Божиим, друзей, что, в свою очередь, только что вышли из дурдома Сан-Бой или рехнулись после нескольких программ детоксикации. На самом деле Амальфитано знал, что рано или поздно его жена поедет в Сан-Себастьян – поэтому предпочел не спорить, а предложить ей часть сэкономленных денег, попросить, чтобы она вернулась через несколько месяцев, и заверить ее, что сумеет прекрасно ухаживать за дочкой. Лола, похоже, ничего из этого не услышала.

Собрав рюкзак, она пошла на кухню, сделала два кофе и сидела тихо-тихо в ожидании рассвета, хотя Амальфитано пытался поговорить на темы, ее интересовавшие или, по крайней мере, помогающие убить время. В половине седьмого утра прозвенел звонок, и Лола подпрыгнула на месте. Это за мной, сказала она, но не двинулась с места, так что Амальфитано пришлось встать и по интеркому спросить, кто это. Он услышал тихий хрупкий голосок: «Это я». «Кто вы?» – спросил Амальфитано. «Открой, это я», – сказал голосок. «Кто?» – уперся Амальфитано. Тот голосок, все такой же нежный и хрупкий, зазвучал сердито – видно, не понравился учиненный допрос. «Я, я, я!» – повторял он. Амальфитано закрыл глаза и открыл дверь подъезда. Он услышал грохот тросов в лифтовой шахте и вернулся на кухню. Лола все так же сидела, допивая последние капли кофе. «Это тебя», – сказал Амальфитано. Она даже ухом не повела. «Ты попрощаешься с ребенком?» – спросил Амальфитано. Лола подняла взгляд и ответила, что лучше дочку не будить. Под ее голубыми глазами залегали глубокие тени. Потом дважды позвонили в дверь, и Амальфитано пошел открывать. Очень маленькая женщина, не более полутора метров росту, быстро оглядела его, пробормотала что-то непонятное – наверное, приветствие, – а потом пошла прямо на кухню, словно бы знала о привычках Лолы больше, чем Амальфитано. Он вернулся на кухню, и в глаза ему тут же бросился рюкзак этой женщины – та положила его на пол около холодильника, – и рюкзак этот был гораздо меньше, чем у Лолы, ни дать ни взять рюкзачок в миниатюре. Звали женщину Инмакулада, но Лола звала ее Иммой. Пару раз по возвращении с работы Амальфитано заставал ее у себя дома, и тогда же она представилась и сказала, как ее надо звать. Имма – это уменьшительное от Инмакулада на каталонском, но подруга Лолы была не каталонка, и звали ее не Иммакулада, с двойным «м», а Инмакулада, но Амальфитано, по причине этой фонетической путаницы, предпочитал звать ее Инма – и каждый раз жена осыпала его упреками, так что в конце концов он решил никак не называть эту женщину. Он стоял на пороге кухни и наблюдал за ними. Думал, нервы сдадут, однако чувствовал себя на редкость спокойным. Лола с подругой уперлись взглядом в меламиновую поверхность рабочего стола, но от взгляда Амальфитано не ускользнуло, как они время от времени поднимали глаза и тогда их взгляды едва ли не искрились. Такой Лолу он еще не видел. Она спросила, сварить ли кому-нибудь еще кофе. «А ведь она ко мне обращается», – подумал Амальфитано. Инмакулада покачала головой и сказала, что все, времени нет и пора

двигать, иначе через некоторое время на выезде из Барселоны соберутся пробки и проехать будет невозможно. «Она говорит так, словно Барселона – средневековый город», – подумал Амальфитано. Лола с подругой встали. Амальфитано сделал два шага и открыл холодильник – его вдруг одолела жажда, и он взял себе бутылку пива. Чтобы открыть дверь, он подвинул рюкзак Иммы. Тот почти ничего не весил – словно бы там лежали две блузки и еще одни черные брюки. На эмбриона она похожа, решил Амальфитано и переставил рюкзак. Лола поцеловала его в обе щеки, и они с подругой ушли.

Через неделю Амальфитано получил от Лолы письмо со штампом Памплоны. В письме она рассказывала, что во время путешествия у нее накопился как приятный, так и неприятный опыт. Больше, правда, было приятных впечатлений. А вот опыт неприятный – ну, его можно было квалифицировать как неприятный – это без сомнения, но не опыт. Все неприятное, что может с нами случиться, писала Лола, мы встретим во всеоружии, потому что Имме уже приходилось переживать такое. Два дня, писала Лола, мы работали в Лериде, в придорожном ресторанчике, хозяину которого также принадлежал яблоневый сад. Сад был большой, и с ветвей свешивались уже зеленые яблоки. Скоро начинался сбор урожая, и хозяин просил их остаться. Имма разговаривала с хозяином, а Лола читала книгу поэта из Мондрагона (в рюкзаке у нее лежали все книги, что тот успел опубликовать) рядом с канадской палаткой, в которой обе спали (стояла она в тени тополя, единственного тополя во всех здешних садах, рядом с гаражом, тот уже давно никто не использовал. Потом появилась Имма и отказалась объяснять, о чем с ними хотел условиться хозяин ресторана. На следующий день они, ни с кем не попрощавшись, снова вышли на шоссе – пришлось ехать автостопом. В Сарагосе переночевали у старинной, еще с университета, подруги Иммы. Лола очень устала и легла рано, и во сне ей слышались смех, а потом какие-то реплики на повышенных тонах и упреки – практически все были высказаны Иммой, но и подружкой тоже. Говорили о прошлом, о борьбе с франкизмом, о женской тюрьме Сарагосы. Говорили о яме, очень глубокой дыре в земле, откуда можно добывать нефть или уголь, о подземной сельве, о взводе спецназа из женщин-самоубийц. И тут Лола в письме резко меняла тему. Я не лесбиянка, писала она, не знаю даже, зачем я тебе все это говорю, не знаю, почему обращаюсь с тобой как с ребенком, рассказывая такие простые вещи. Гомосексуальность – это чистой воды мошенничество, последствия насилия, учиненного над нами в детстве. Имма это знает. Знает, знает, она слишком умна, чтобы это попросту игнорировать, но не может ничего сделать – только помочь. Имма – лесбиянка, каждый день сотни тысяч коров приносятся в жертву, каждый день стадо травоядных или несколько стад травоядных обходят долину, с севера на юг, медленно и одновременно быстро, да так быстро, что у меня голова кружится и тошнит, прямо сейчас, сейчас, сейчас, понимаешь ли ты меня, Оскар? Нет, не понимаю, думал Амальфитано, держа в руках письмо так, словно это был спасательный круг из тростника и травы, и покачивая ногой креслице своей дочери.

Затем Лола снова вспоминала ту ночь, когда они занимались любовью с поэтом, ныне покоящимся, величественно и сокрыто, в сумасшедшем доме Мондрагона. Тогда он был свободен, его еще не упрятали в психиатрическую клинику. Поэт жил в Барселоне, в доме одного философа-гомосексуала, и вместе они устраивали вечеринки – раз в неделю или раз в две недели. Я еще тогда ничего о тебе не знала. Не знаю, приехал ли ты уже в Испанию или жил в Италии, Франции или в какой-нибудь мерзкой латиноамериканской дыре. Вечеринки, что устраивал этот философ-гомосексуал, были популярны в Барселоне. Поговаривали, что поэт и философ – любовники, но на самом деле они на любовников не походили. У одного были дом, идеи и деньги, а у другого – легенда, стихи и пламенный энтузиазм фанатика, собачий такой энтузиазм, как у побитых псов, что бредут всю ночь или всю юность под дождем, нескончаемым испанским дождем из перхоти, и в конце концов находят место, где преклонить голову,

пусть это место – ведро с тухлой водой, главное, воздух пахнет чем-то знакомым. Однажды фортуна мне улыбнулась, и я попала на одну из таких вечеринок. Было бы преувеличением сказать, что я познакомилась с философом. Я его увидела. Стоял он в углу гостиной, болтая с другим поэтом и другим философом. Мне показалось, он их поучал. И вдруг все стало казаться фальшивым. Гости ждали появления поэта. Ждали, что он на кого-нибудь накинется с кулаками. Или испражнится в середине гостиной прямо на турецкий ковер, напоминающий замуроченный ковер-самолет из «Тысячи и одной ночи», старый битый ковер, который время от времени обнаруживал свойство отражать нас как зеркало, только снизу. Я хочу сказать: в зеркале он превращался в судью наших сотрясений. Сотрясений нейрохимического характера. Когда поэт вышел, ничего особенного не произошло. Поначалу все взгляды обратились к нему – все раздумывали, чем бы им поживиться. А потом каждый продолжил делать то, что делал, а поэт поприветствовал некоторых приятелей-писателей и присоединился к свите философа-гомосексуала. Я танцевала одна и продолжила танцевать одна. В пять утра вошла в одну из комнат. Поэт вел меня за руку. Я занялась с ним любовью, даже не раздевшись. Три раза кончила, пока чувствовала на шее его дыхание. У него это заняло больше времени. В полутьме я различила в углу комнаты три тени. Один курил. Другой все время бормотал. А третьим был сам философ, и я поняла: кровать, на который мы лежим, – это его кровать, а эта комната – та самая комната, в которой он, как говорили некоторые злые языки, занимался любовью с поэтом. Но тогда любовью занималась я, и поэт был очень нежен со мной, и не понимала я одного: что тут высматривают эти трое, впрочем, мне это было не так уж важно, в то время, не знаю, помнишь ли ты, тебе на все плевать. Поэт наконец кончил и заорал, повернув голову к трем своим друзьям, а мне стало жалко, что сегодня не овуляция – очень мне бы хотелось завести от него сыночка. Один из них положил ему руку на плечо. Другой что-то дал. Я поднялась и пошла в туалет, не обращая на них никакого внимания. В гостиной оставались лишь похожие на жертв кораблекрушения последние гости. В ванной комнате я обнаружила девочку – та спала в ванне. Я умылась и вымыла руки, причесалась, а когда вышла, философ уже выкидывал из квартиры тех гостей, что еще оставались на ногах. И выглядел он совсем не пьяным, и под кайфом тоже не был. Свежий он был, как будто только что поднялся и позавтракал большим стаканом апельсинового сока. Я ушла с парой друзей, с которыми познакомилась на вечеринке. В это время был открыт только «Драгстор» на Рамблас – туда мы и пошли, практически не сговариваясь. Там я встретилась с давней знакомой, которая работала журналисткой в «Ахобланко» – причем работа ей до ужаса не нравилась. Она начала говорить о переезде в Мадрид. И спросила, не хочу ли я поменять место жительства. Я лишь пожала плечами. Сказала, все города одинаковы. А на самом деле сидела и думала о поэте и о том, что мы с ним недавно сделали. Гомосексуалы так не поступают. Все говорили, что он гомосексуал, а я-то теперь знала: это не так. Потом задумалась, почему я в таком раздрае, и все поняла. Я поняла, что поэт – он заблудился, что он потерявшийся ребенок, а я могу его спасти. Дать толику того, чем он так щедро со мной поделился. Почти месяц я подстерегала его перед домом философа – все надеялась, что однажды увижу и попрошу снова заняться со мной любовью. Однажды вечером увидела – но не поэта, а философа. Что-то у него было не то с лицом. Он подошел поближе (меня он, кстати, не узнал), и я увидела, что глаз у него подбит и синяки по всему лицу. А поэт исчез с концами. Временами, глядя на свет в окнах, я пыталась угадать, на каком этаже его квартира. Иногда замечала тени за занавесками, а иногда кто-то – женщина в возрасте, мужчина в галстук, подросток с вытянутым лицом – открывал окно и погружался в созерцание вечерней Барселоны. А однажды вечером я обнаружила, что не одна шпионю или поджидаю поэта. Юноша лет восемнадцати, а может и моложе, молча нес свою стражу на противоположной стороне улицы. Меня этот беспечный мечтатель не заметил. Он сел на террасе бара, заказывал кока-колу в банке и очень медленно пил ее, пока писал что-то в школьной тетрадке или читал очень знакомые мне книги. Однажды вечером, как раз перед тем, как он покинул бы террасу и удалился скорым

шагом, я подошла и подседа к нему за столик. И сказала, что знаю, чем он занимается. «А ты кто?» – в ужасе спросил он. Я ему улыбнулась и сказала – я такая же, как ты. Он посмотрел на меня как на сумасшедшую. Ты не думай, сказала я ему, я не сумасшедшая и рассудка не лишилась. Он засмеялся. Может, ты и не сумасшедшая, но здорово похожа на психическую, сказал он. И поднял руку, прося счет, и был уже готов подняться, когда я призналась, что высматриваю поэта. Он тут же упал обратно на стул, словно бы я ему пистолет к виску приставила. Я заказала ромашковый чай и рассказала свою историю. Он мне ответил: да, я тоже пишу стихи и хотел бы, чтобы поэт хоть что-нибудь из моего прочитал. Сразу было видно – и даже незачем задавать вопросы, – что он гомосексуал и ему очень одиноко. Дай посмотрю, сказала я и выдернула у него тетрадь из рук. Стихи оказались неплохие, но была с ними одна проблема: он писал точь-в-точь как поэт. С тобой такого не случалось, сказала я, ты слишком молод, чтобы столько выстрадать. Он махнул рукой – мол, мне все равно, что ты думаешь. Главное, чтобы оно было написано прилично. Нет, не согласилась я, ты сам знаешь, это не главное. Нет, нет, нет, сказала я, и в конце концов он со мной согласился. Звали его Жорди, и сейчас, наверное, он преподает в университете или пишет рецензии для «Вангардия» или «Эль-Периодико».

Следующее письмо Амальфитано получил уже из Сан-Себастьяна. В нем Лола писала, что они с Иммой поехали в Мондрагон, в сумасшедший дом, навестить поэта, который там пребывал в полубессознательном и раздерганном состоянии, но переодетые охранниками попы не разрешили им войти. В Сан-Себастьяне они планировали остановиться у одной подруги Иммы, девушки-басконки по имени Эдурне – бывшей террористки, которая после возвращения к демократии оставила вооруженную борьбу; она позволила им переночевать всего один раз – мол, у нее много дел и мужу не нравятся визиты без предупреждения. Мужа звали Джон, и он действительно нервничал из-за таких визитов – Лоле выпал шанс в этом убедиться. Он дрожал, краснел, как раскаленная глиняная посуда, и, хотя не проронил ни слова, такое впечатление было, что еще чуть-чуть – и он закричит, еще он потел и у него дрожали руки, Джон постоянно переходил с места на место, словно бы не мог посидеть спокойно более двух минут. Эдурне – наоборот – была воплощенное спокойствие. У нее был маленький сын (его Лола и Имма так и не увидели – Джон под разными предложениями не давал им войти в детскую), и она работала практически весь день уличным воспитателем⁹, занималась поддержкой семей наркозависимых и нищих, облепляющих лестницу собора Сан-Себастьяна, а они реально хотели только одного – чтобы их оставили в покое – так говорила Эдурне, посмеиваясь, словно только что рассказала анекдот, который поняла лишь Имма, потому что ни Лола, ни Джон не смеялись. Тем вечером они поужинали с семьей и на следующий день ушли. Потом нашли дешевый пансион, о котором им рассказала Эдурне, и снова поехали автостопом в Мондрагон. В этот раз они опять не сумели попасть на территорию сумасшедшего дома, но хорошенько осмотрели его снаружи – наблюдая и тщательно запоминая все земляные и гравийные дороги, высокие серые стены, возвышенности и извилистые впадины ландшафта, маршруты прогулок сумасшедших и наблюдающих за ними издали санитаров, купы деревьев, высаженных не на равных расстояниях друг от друга, а в каком-то капризном ритме, который Имма и Лола так и не сумели уловить, заросли кустарника, где вроде как жили мухи, из чего они сделали вывод: сюда по вечерам и в ночной темноте мочатся сами сумасшедшие и персонал заведения. Потом Имма и Лола сели у обочины дороги и съели по бутерброду с сыром, припасенному с Сан-Себастьяна, – молча разглядывая изломанные тени, что отбрасывал на окрестности сумасшедший дом Мондрагона.

⁹ Уличным воспитателем называют соцработника, который контактирует с нуждающимися в открытой среде (собственно, на улице).

Они попытались проникнуть туда в третий раз и сумели договориться по телефону о встрече. Имма прикинулась журналисткой из литературного барселонского журнала, а Лола – поэтессой. В этот раз они смогли с ним увидеться. Поэт постарел, глаза у него ввалились, к тому же он начал лысеть. Поначалу их сопровождал врач или священник, и они вместе с ним шли и шли по бесконечным коридорам с выкрашенными в белый и голубой стенами, пока не добрались до безликой комнатки, где их ждал поэт. Лоле показалось, в сумасшедшем доме все гордятся тем, что он – их пациент. Все его знали, все что-то говорили ему, пока поэт обходил сады или получал дневную дозу успокоительных. Когда они остались наедине, Лола сказала, что ей кажется странным: в свое время она подстерегала его каждый день у дома философа в Энсанче и, несмотря на свое постоянство, не сумела еще раз увидеть. Не моя вина, сказала она, я сделала все, что могла. Поэт посмотрел ей в глаза и попросил сигаретку. Имма стояла рядом со скамьей, где они сидели, и молча протянула ее. Поэт сказал «спасибо» и затем произнес – постоянство. А я да, я да, да, да, вот мое постоянство, сказала Лола, сидя рядом с ним, и она смотрела на него и краешком глаза видела, как Имма, прикурив, вынула из кармана книгу и принялась за чтение, все так же стоя, – маленькая и невероятно терпеливая амазонка, и зажигалка чуть высывалась из руки, в которой она держала книгу. Потом Лола стала рассказывать о предпринятом ими путешествии. Упомянула, по каким дорогам – национальным и местным – они проехали, о проблемах с дальнобойщиками-мачистами, о городах и деревнях и безымянных лесах, в которых они спали в палатке, о реках и туалетах на заправках, в которые они заходили. Поэт тем временем выпускал дым изо рта и носа, и тот вился совершенной формы колечками, эдакими голубыми нимбами, серыми плоскими облачками, которые гулявший по парку ветерок развеивал или утаскивал к самым границам парка, а там уже темной стеной вставал лес, ветви которого время от времени освещал и серебрил свет с холмов. Чтобы передохнуть, Лола заговорила о первых двух визитах – неудачных, но интересных. А потом сказала то, что на самом деле хотела сказать: что она-то знает, он не гомосексуал, что она знает – он тут пленник и хочет бежать, а еще знает – изувеченная, истерзанная любовь всегда оставляет открытой щелку, в которую проникает надежда, и что надежда – это ее план (или наоборот), и что материализация и объективизация – это побег из сумасшедшего дома вместе с ней. А потом они отправятся во Францию. А эта что будет делать? – кивнул поэт на диете из шестнадцати таблеток в день, поэт, пишущий о своих видениях, и ткнул пальцем в Имму, которая с невозмутимым видом читала одну из его книг, стоя, словно ее нижняя юбка и подкладка были из бетона и не давали сесть. Она нам поможет, сказала Лола. На самом деле это она придумала план побега. Мы перейдем во Францию через горы, как паломники. Дойдем до Сан-Хуан-де-Луса и там сядем на поезд. И поезд повезет нас мимо засеянных полей – а они в это время года прекрасны как никогда – в Париж. Будем жить в хостелах. Вот такой у Иммы план. Мы с ней будем работать уборщицами и нянями в богатых округах Парижа, а ты будешь писать стихи. А вечерами ты будешь читать нам, а потом заниматься со мной любовью. Вот такой у Иммы план, она предусмотрела все детали. Через три или четыре месяца я забеременею, и так ты получишь самое веское доказательство того, что твой род не прервется! А ведь вражеские семьи только этого и хотели! Я еще несколько месяцев поработаю, но в нужный момент Имма просто будет работать за двоих. Мы будем жить как нищие пророки или как дети-пророки, пока глаза Парижа будут устремлены к другим целям: мода, кино, азартные игры, французская и американская литература, гастрономия, внутренний валовой продукт, экспорт оружия, изготовление больших партий анестетиков – все это в конечном счете станет лишь декорацией к первым месяцам жизни нашего эмбриона. Потом, когда я буду уже на шестом месяце беременности, мы вернемся в Испанию, но в этот раз перейдем границу не у Ируна, а через Ла-Хонкера или Портбоу, в каталанских землях. Поэт посмотрел на нее с интересом (и также с интересом посмотрел на Имму, которая не отрывала глаз от страниц, на которых были напечатаны его стихи – он сочинил их лет пять тому назад, если ничего не путал) и снова принялся выпускать

художественные клубы дыма, словно бы во время своего долгого пребывания в Мондрагоне посвятил много времени оттачиванию этого занятого искусства.

– Как ты это делаешь? – спросила Лола.

– Языком и губами – я их особым образом складываю, – ответил он. – Иногда, например, как будто они у тебя растянуты. А иногда, как будто ты обжегся. А иногда, словно сосешь член среднего, если не сказать малого, размера. А иногда, как будто выпускаешь дзенскую стрелу из дзенского лука в дзенском павильоне. Теперь поняла, сказала Лола. А ты прочти стихи, сказал поэт. Имма на него посмотрела и подняла книгу повыше, словно бы пыталась за ней спрятаться. Какие стихи? Какие тебе больше нравятся, сказал поэт. Мне все нравятся, ответила Имма. Да ладно, давай, читай уже, сказал поэт. Когда Имма закончила читать стихи, в которых говорилось о лабиринте и заблудившейся в лабиринте Ариадне и испанском юноше, который жил на крыше в Париже, поэт спросил, нет ли у них шоколада. Нет, ответила Лола. Сейчас мы не курим, сказала Имма, вся наша энергия направлена на то, чтобы вытащить тебя отсюда. Поэт улыбнулся. Я не этот шоколад имел в виду¹⁰, сказал он, я другой хотел, который делается из какао, молока и сахара. А, поняла, протянула Лола, и обеим пришлось сказать, что сладостей у них тоже нет. Потом они вспомнили, что в сумках, завернутые в салфетки и фольгу, лежат два бутерброда с сыром, и они предложили их поэту, но тот, похоже, не услышал. Постепенно темнело, стая огромных черных птиц пролетела над парком, устремилась на север и исчезла из виду. На грунтовой дороге, в вяло полощущемся на вечернем ветерке белом халате показался доктор. Подойдя, тот спросил поэта, называя его, словно друга детства, по имени, как он себя чувствует? Поэт посмотрел на него пустыми глазами и, также обращаясь к нему на «ты», ответил, что немного устал. Врач, которого звали Горка и которому только-только исполнилось тридцать, сел с ним рядом, положил ладонь на лоб, а потом проверил пульс. Да ты, дружище, здоров как бык, какая, мать ее, усталость, – сообщил он. А сеньориты, как они себя чувствуют? – поинтересовался он потом с оптимистической улыбкой здорового человека. Имма не ответила. Она, наверное, просто умирала, спрятавшись за книгой. Очень хорошо, ответила она, мы долгое время не виделись, и встреча у нас вышла чудесная. Так вы друг друга знали? – удивился врач. Я нет, ответила Имма и перевернула страницу. А я да, ответила Лола, мы уже много лет как друзья, познакомились в Барселоне, когда он жил в Барселоне. На самом деле, сказала она, поднимая глаза к небу, где припозднившиеся черные птицы взлетели в тот самый миг, когда по щелчку находившегося в сумасшедшем доме аппарата в парке включился свет, на самом деле мы были более чем друзья. Как интересно, сказал Горка, провожая взглядом птиц, которых закат и искусственный свет наделили слепящим золотым блеском. В котором году это было? – спросил врач. В 1979-м или 1978-м, я уже не помню, тихонько проговорила Лола. Не считите за навязчивость, сказал врач, я просто пишу биографию нашего друга и чем больше информации собираю, тем лучше – так сказать, ищу добра от добра. А вы как считаете? Когда-нибудь он выйдет отсюда, сказал Горка, пригладив брови, однажды испанская публика признает его великим – впрочем, премию ему не дадут, о чем вы, не дадут ни Принца Астурийского, ни Сервантеса, да и мягкое кресло в Академии ему тоже не грозит: в Испании гуманитарная карьера – она для прожженных интриганов, оппортунистов и жополизов, прошу прощения за выражение. Но все равно когда-нибудь он отсюда выйдет. Это факт. Когда-нибудь и я отсюда выйду. И все мои пациенты и пациенты моих коллег. Однажды мы все наконец-то выйдем из Мондрагона, и это благородное заведение церковного происхождения, преследующее благие цели, – оно опустеет. Вот тогда моя библиография и пригодится: ею заинтересуются, и я смогу ее опубликовать, а сейчас, как вы меня, наверное, хорошо понимаете, приходится собирать данные, даты, имена, сопоставлять байки – одни сомнительного вкуса и даже издевательские, другие – любопытные и экспрессивные, истории, которые сейчас вра-

¹⁰ Шоколадом на жаргоне называется гашиш.

щаются вокруг охваченного хаосом центра притяжения, коим является наш присутствующий здесь друг или то, что он нам желает показать – противостоящий хаосу порядок, прежде всего вербальный, очевидный, но скрытый, и я, похоже, понимаю, как он его скрывает, но не понимаю зачем, а это расстройство такого рода, что, если мы его испытаем, пусть даже как зрители в театре, оно потрясет и оглушит нас, ибо подобные вещи с трудом переносятся. Вы, доктор, просто душка, сказала Лола. Имма заскрипела зубами. Тогда Лола вознамерилась рассказать Горке свой гетеросексуальный опыт с поэтом, но подруга этому помешала – подошла поближе и чувствительно пнула ее носком туфли в щиколотку. В этот момент поэт, который занимался художественным выпусканием клубов дыма, припомнил дом в барселонском Энсанче и вспомнил философа, и, хотя глаза его не вспыхнули, под кожей вспыхнули кости лица: скулы, подбородок, впалые щеки, словно бы он потерялся в амазонской сельве и трое севильских монахов отыскали и спасли его, – или это был один чудовищный монах о трех здоровенных башках, которого он, впрочем, тоже не боялся. И вот он обратился к Лоле с вопросом, как там философ, назвал его имя, припомнил, как жил в той квартире, припомнил месяцы без работы в Барселоне, как он по-дурацки шутил – как выкидывал из окон книги, которые не покупал (а философ бежал вниз на улицу, чтобы их вернуть, и это не всегда удавалось), – как включал музыку на полную громкость, спал мало и много смеялся, как перебивался заработками переводчика и рецензента в журналах о роскошной жизни, – самая настоящая звезда из кипящей воды. И тут Лола испугалась и прикрыла лицо ладонями. А Имма наконец-то засунула книгу стихов в сумку и сделала то же самое – закрыла лицо своими узловатыми ручками. А Горка посмотрел на женщин, потом на поэта и про себя расхохотался. Но прежде чем его сердечное спокойствие приглушило взрыв внутреннего смеха, Лола сказала: философ совсем недавно умер от СПИДа. Надо же, надо же, надо же, сказал поэт. Был бы обут, одет, до других мне дела нет.¹¹ Вставай не вставай, солнце раньше не выйдет.¹² Я люблю тебя, сказала Лола. Поэт встал и попросил у Иммы еще сигарету. На завтра мне, объяснил он. Врач и поэт все дальше и дальше уходили по дороге в сумасшедший дом. Лола и Имма уходили по другой дороге – та вела к выходу, и там они встретились с сестрой другого сумасшедшего, и с сыном сошедшего с ума рабочего, и с несчастного вида сеньорой, у которой кузен содержался в психбольнице Мондрагон.

На следующий день они вернулись, но им сказали, что пациенту необходим абсолютный покой. То же самое повторили на следующий и на следующий после следующего день. Однажды у них кончились деньги, и Имма решила снова выйти на шоссе – в этот раз идущее на юг, в Мадрид, где у нее жил брат (тот сделал сумасшедшую карьеру при демократах, и она хотела взять у него денег в долг). У Лолы не осталось сил на путешествие, и обе они решили: Лола будет ждать ее в пансионе, словно бы ничего не случилось, а через неделю Имма уже вернется. Мучимая одиночеством, Лола убивала время, строча длинные письма Амальфитано, – в них она рассказывала о своей повседневной жизни в Сан-Себастьяне и в окрестностях сумасшедшего дома, куда ежедневно приходила. Прислонясь лицом к решетке, она воображала, как они с поэтом общаются мысленно, как телепаты. Но куда чаще тем не менее она отыскивала прогалину в соседнем лесочке и принималась читать или собирать цветы и пучки трав, из которых делала букеты, которые оставляла за прутьями решетки или относила в пансион. Однажды ее подобрал на шоссе водитель и спросил, не хочет ли она повидать кладбище Мондрагона, и Лола согласилась. Они запарковали машину снаружи под акацией и долго гуляли среди могил, в основном с баскскими именами, а потом пришли к нише, где была похоронена мать водителя. И тут водитель сказал, что ему хотелось бы оттрахать Лолу прямо здесь. Та

¹¹ Строчка из одноименного стихотворения Луиса де Гонгоры (испанский поэт, классик Золотого века испанской литературы), в данном контексте это звучит, как если бы русский поэт процитировал Пушкина.

¹² Испанская народная пословица со значением «не спеши с принятием решений», то есть утро вечера мудренее.

рассмеялась: мол, надо быть осторожнее, тут нас увидит любой, кто пройдет по главной дороге кладбища. Водитель немного подумал и в конце концов сказал: а ведь правда, в Бога душу мать. Они отыскали более удаленное местечко, но сексуальный акт продлился не более пятнадцати минут. Водителя звали Ларрасабаль, и хотя у него было крестильное имя, он отказался назвать его. Ларрасабаль – и точка – так его зовут все друзья. Потом он сказал Лоле, что не в первый раз занимается любовью на кладбище. Он побывал тут с подружкой, потом с девицей, с которой познакомился на дискотеке, и еще с двумя шлюхами из Сан-Себастьяна. Когда они уходили, он предложил Лоле деньги, но она не приняла их. Довольно долго они проговорили в машине. Ларрасабаль поинтересовался, не родственник ли ее заперт здесь в сумасшедшем доме? Лола рассказала ему свою историю. Ларрасабаль сказал, что за всю жизнь не прочитал ни одного стихотворения. Добавил еще, что не понимает, с чего Лола прямо-таки помешана на этом поэте. А мне не слишком понятно, как можно трахаться на кладбище, сказала Лола, но я же тебя не осуждаю. А ведь правда, согласился Ларрасабаль, у всех есть какой-нибудь свой пунктик. Они подъехали к входу в сумасшедший дом, и Лола уже выходила из машины, когда водитель потихоньку сунул ей в сумку купюру в пять тысяч песет. Лола это заметила, но ничего не сказала; а потом осталась одна под ветвями деревьев, напротив железных ворот пристанища душевнобольных, где жил поэт, который ее полностью игнорировал.

Прошла неделя, а Имма так и не вернулась. Лола представила ее: маленькая, с бесстрастным взглядом, лицо как у образованной крестьянки или школьной учительницы, она смотрит на огромное поле с доисторическими останками, женщина под пятьдесят, одетая в черное, быстро идет, не глядя по сторонам, не глядя назад, бежит по долине, где еще возможно отличить следы гигантских хищников от следов прытких травоядных. Лола представила Имму на перекрестке дорог, а по дороге мчатся грузовики большой грузоподъемности, мчатся, не снижая скорости, поднимая тучи пыли, которая оседала везде, но только не на нее, словно бы нерешительность и незащитность призывали на нее благодать, благословенный купол, защищавший от немилосердной судьбы, природы и им подобных. На девятый день хозяйка пансиона выставила Лолу на улицу. С того времени она спала на вокзале, под заброшенным навесом вместе с какими-то нищими, которые даже между собой не сводили знакомства, в открытом поле, неподалеку от ограды сумасшедшего дома, отделяющей его от внешнего мира. Однажды ночью она автостопом доехала до кладбища и переночевала в пустой нише. На следующее утро почувствовала себя счастливой, почувствовала – вот она, удача, и решила дожидаться здесь приезда Иммы. Здесь было вдоволь воды, чтобы пить и умываться и чистить зубы, до сумасшедшего дома – рукой подать, и здесь стояла тишина. Однажды вечером она выложила сушиться только что постиранную блузку на белую плиту, уткнувшись в ограду кладбища, и услышала голоса – те доносились из мавзолея. Туда-то она и пошла. Склеп принадлежал семейству Лагаска, и, судя по его состоянию, последний Лагаска давно умер или покинул здешние земли. Внутри крипты ярко горел фонарь, и она спросила, кто там и что делает. «Тысяча чертей тебе в печенку», – произнес чей-то голос внутри. Кто бы это мог быть? Грабители? Рабочие, ремонтирующие склеп? Осквернители могил? Затем послышалось что-то похожее на мяуканье, и, уже уходя, она увидела, как между прутьями решетки просунулось желто-зеленое лицо Ларрасабала. Потом из крипты вышла женщина, которой Ларрасабаль приказал ждать его рядом с машиной, и они с Лолой проговорили довольно долго, гуляя под ручку по дорожкам кладбища до самого часа, когда солнце начало садиться над блестящей поверхностью стены с нишами.

Безумие заразно, решил Амальфитано, сидя на ступенях крылечка своего дома, и тут небо вдруг потемнело, тучи заволокли луну, звезды и летучие огни, которые часто видят безо всяких подзорных труб и телескопов здесь, на севере Соноры и юге Аризоны.

Безумие действительно заразно, а друзья, особенно когда страдаешь от одиночества, посланы тебе судьбой. Эти самые слова написала Лола несколько лет тому назад, рассказывая Амальфитано в письме без обратного адреса о своей счастливой встрече с Ларрасабалем, который заставил ее взять у него в долг десять тысяч песет и пообещать вернуться на следующий день, – все это он сказал, садясь в машину, а рядом нетерпеливо топталась шлюха, и он жестом приказал ей сделать то же самое. Этой ночью Лола спала в своей нише, хотя, по правде, ей очень бы хотелось залезть в открытый склеп, и она была счастлива: наконец жизнь начинала налаживаться. На рассвете она вымылась с головы до ног, обтираясь мокрой тряпкой, почистила зубы, причесалась и надела чистую одежду, а потом вышла на шоссе – поймать попутку до Мондрагона. Там купила кусок козьего сыра, хлеб и позавтракала на площади: оказалось, она очень голодна – по правде сказать, Лола даже не помнила, когда ела в последний раз. Потом зашла в бар, забитый рабочими со стройки, и выпила кофе с молоком. Она забыла, когда Ларрасабаль обещал вернуться на кладбище, и ей было все равно, плевать ей было и на Ларрасабаль, и на кладбище, и на деревню, и на нежный утренний пейзаж. Перед тем как выйти из бара, она зашла в туалет и посмотрелась в зеркало. Потом снова пошла к шоссе и долго ждала попутку, пока наконец рядом с ней не остановилась женщина и не спросила, куда ей. В сумасшедший дом, сказала Лола. Женщину ее ответ не на шутку встревожил, но тем не менее она сказала ей садиться в машину. Женщина ехала туда же. «Вы едете навестить кого-то или вы сами пациент?» – спросила она. «Я навестить», – ответила Лола. Лицо у женщины было худое, чуть вытянутое, губы в ниточку, отчего она имела вид холодный и расчетливый, хотя у нее были красивые скулы и одета она была как офисный работник, – единственно, по ее виду стало ясно: она уже замужем и вынуждена заниматься домом, мужем или даже, наверное, сыном. У меня там отец, призналась она. Лола ничего не ответила. У ворот вышла из машины, и женщина поехала дальше. Некоторое время Лола бродила вдоль ограды. До нее донеслось ржание лошадей – наверняка где-то, возможно за лесом, находился клуб или школа верховой езды. Еще ей удалось разглядеть красную крышу дома, явно не имеющего ничего общего с больницей для душевнобольных. Она вернулась по своим следам и подошла к месту, с которого лучше всего просматривался больничный парк. Солнце уже поднималось, когда она увидела группу пациентов, что организовано выходили из покрытого шифером павильона и расходились по парку, рассаживались по скамейкам и прикуривали сигареты. Ей показалось, она узнала поэта. Его сопровождали два пациента, и одет он был в джинсы и очень свободную белую футболку. Она принялась делать ему знаки, сначала робкие – ее руки словно бы сводил холод, а потом и более заметные: она выписывала в холодном воздухе странные фигуры, пытаясь подать знак, который, подобно лучу лазера, мгновенно достиг бы его или передал ему сообщение телепатически. Через пять минут она увидела, что поэт поднялся со скамьи и один из психов пнул его в ногу. Она едва сдержала крик. Поэт развернулся и ударил в ответ. Псих, который успел уже сесть, получил пинок в грудь и рухнул наземь, как подбитый птенчик. Тот, что курил рядом с ним, поднялся и метров десять пробежал вслед за поэтом, поддавая ему ногой по задку и колотя кулаками в спину. Потом спокойно вернулся на свою лавочку, где приятель его уже подавал признаки жизни и потирал грудь, шею и голову – с чего, непонятно, ведь его ударили только в грудь. Тут Лола перестала делать знаки. Один из сидевших на скамейке психов начал мастурбировать. Другой – который делал вид, что у него все болит, – поискал в карманах и выудил сигарету. Поэт подошел к ним. Лоле показалось, что она слышит его смех. Смех ироничный, словно бы говорящий им: мужики, вы чего, шуток не понимаете? Но нет, поэт не смеялся. Возможно, писала Лола в послании к Амальфитано, это смеялось мое безумие. В любом случае, безумие то было или нет, поэт подошел к этим двум и что-то им сказал. Психи не ответили. Лола их видела: они смотрели под ноги, наблюдая за жизнью, что протекала на земле, у корней травы и под комочками грязи. Слепой жизнью, в которой все было прозрачно как вода.

Поэт же, видимо, вглядывался в лица своих товарищей по несчастью, сначала в одно, потом – в другое, отыскивая некий знак, показывающий – ему можно безопасно вернуться и сесть на лавочку. Что он потом и сделал. Поднял ладонь – мол, всё, перемирие, или даже всё, сдаюсь, и сел ровно между ними. Поднял руку, как поднимают изорванное знамя. Пошевелил пальцами, каждым пальцем, словно они были огненным знаменем, знаменем тех, кто никогда не сдаётся. И сел в середине, а потом посмотрел на того, кто мастурбировал, и что-то прошептал ему на ухо. В этот раз Лола его не услышала, но отчетливо увидела, как левая рука поэта заползла во тьму под халатом психа. И потом они все трое закурили. А Лола увидела затейливые извивы дыма, которые поэт выпускал изо рта и носа.

А потом Амальфитано получил следующее и последнее письмо от жены; на нем не значился адрес отправителя, но на конверте красовались французские марки. Лола рассказала про одну свою беседу с Ларрасабалем. Срань Господня, говорил Ларрасабаль, я тут всю жизнь мечтаю поселиться на кладбище, а ты только что появилась – и нате, уже там квартируешь. Хороший он человек, Ларрасабаль. Предложил ей свою квартиру. Предложил возить ее каждый день к сумасшедшему дому, где изучал энтомологию самый великий и самый легковёрный поэт Испании. Предложил ей деньги, не прося ничего взамен. Однажды вечером он пригласил ее в кино. Другим вечером поехал с ней в пансион, спросить, не приходило ли чего от Иммы. Одним субботним утром, после бессонной ночи любви, предложил ей руку и сердце и не обиделся и не почувствовал себя одуроченным, когда Лола напомнила, что она уже замужем. Вот да, хороший он человек, Ларрасабаль. Он купил ей юбку на крохотном блошином рынке и купил ей несколько фирменных джинсов в магазине в центре Сан-Себастьяна. Рассказал о своей матери, которую любил всей душой, и о своих братьях, от которых давно отдалился. Ничего из этого Лолу не растрогало, точнее, растрогало, но не так, как он ожидал. Для нее эти дни были как затянувшийся прыжок с парашютом после длительного пребывания в космосе. Она перестала ездить в Мондрагон каждый день, появлялась там раз в три дня, высматривала сквозь решетку своего поэта, но уже не надеялась его увидеть – в общем, ожидала какого-то знака, о котором заранее знала – не поймет или поймет через много лет, когда все это потеряет всякую важность. Иногда, не предупредив по телефону и не оставив записки, она не ночевала в доме Ларрасабалья, и тот садился в машину и ехал на поиски – на кладбище, в сумасшедший дом, в пансион, где она когда-то жила, по местам, где собирались нищие и прохожие Сан-Себастьяна. Однажды нашел ее в зале ожидания городского вокзала. В другой раз она сидела на пляже Ла-Конча, в такой час, что там прогуливались те, у кого уже не осталось времени ни для чего, и, напротив, те, кто победил время. По утрам именно Ларрасабаль готовил завтрак. По вечерам, вернувшись с работы, именно он готовил ужин. В течение остального дня Лола только пила воду, много воды, и съедала кусочек хлеба или булочку – маленькую, такую, чтоб помещалась в кармане – в булочной на углу, а потом шла побродить по городу. Однажды вечером, когда они принимали душ, Лола сказала Ларрасабалью, что хочет уехать, и попросила у него денег на билет на поезд. Я отдам тебе все свои деньги, сказал он, но вот на то, чтобы ты уехала от меня навсегда, – нет, я денег не дам. Лола не стала настаивать. Каким-то образом – она не рассказала Амальфитано каким – она добыла денег ровно на билет и однажды в полдень села на поезд, идущий во Францию. Немного побыла в Байонне. Потом поехала в Лас-Ландас. Потом вернулась в Байонну. Побывала в По и в Лурде. Однажды утром увидела поезд, полный больных, паралитиков, подростков с ДЦП, крестьян с раком кожи, кастильских чиновников со смертельными болезнями, благовоспитанных старушек, одетых в рясы босоногих кармелиток, людей с дерматитом на коже, слепых детей; и она – Лола сама не понимала, как так вышло, – вдруг принялась помогать им, словно монахиня в джинсах, посланная туда Церковью трудиться и направлять отчаявшихся к благой цели, а те постепенно рассаживались по автобусам, что ждали их рядом с вокзалом, или стояли в длинных очередях, словно каждый

из них был чешуйкой змеи – огромной и старой, и жестокой, но совершенно, абсолютно здоровой. Потом прибыли поезда из Италии и с севера Франции, и Лола бродила между ними как сомнамбула, и ее большие голубые глаза не могли даже моргнуть, она шла медленно – накопленная усталость давала о себе знать, к тому же ей был закрыт ход во все залы и отделения вокзала: некоторые отдали под оказание первой помощи, другие превратили в реанимации, а один, самый маленький, – в импровизированный морг, где покоились трупы тех, чьих сил не хватило, чтобы пережить ускоренный износ в путешествии на поезде. Ночью она спала в самом современном здании Лурда, эдаком высокофункциональном монстре из стали и стекла; его ошетилившаяся антеннами голова пронзала белые огромные и печальные тучи, спускавшиеся с севера, – или, наоборот, они надвигались, как расстроившиеся порядки армии, полагающейся лишь на свою многочисленность, – так они плыли с востока на запад или свешивались с Пиренейских гор, подобно призракам мертвых животных. Там Лола обычно спала в каморках для мусорных баков – открывала карликовую дверцу на уровне пола и заползала внутрь. Иногда оставалась на вокзале, в тамошнем баре: когда хаос вокруг вагонов шел на убыль, разрешала местным старичкам пригласить ее на чашку кофе с молоком и поговорить о кино или сельском хозяйстве. Однажды вечером ей показалось, что она увидела Имму – та выходила из мадридского поезда в сопровождении патруля из покалеченных вояк. Рост у женщины был как у Иммы, длинная черная юбка – как у Иммы, а лицо скорбящей Девы Марии и кастильской монахини совсем не отличалось от лица Иммы. Она застыла в ожидании: вот женщина прошла мимо нее и не поздоровалась, и пять минут спустя, расталкивая толпу локтями, Лола вышла из вокзала Лурда, прошла через весь городок и вышла на дорогу, чтобы поймать попутку.

Амальфитано прожил пять лет без вестей от Лолы. Однажды вечером он повел дочку на детскую площадку и вдруг увидел женщину, которая стояла облокотившись на деревянную решетку, отделяющую детскую площадку от остального парка. Ему показалось, что это Имма, и он проследил ее взгляд и с облегчением уверился в том, что безумица не отрывает взгляда от другого ребенка. На мальчике были коротенькие штанишки, и был он чуть постарше его дочки, а темные очень прямые волосы время от времени падали ему на лицо. Между решеткой ограды и скамейками, которые поставила сюда мэрия (чтобы родители могли сидеть лицом к своим детям), с трудом боролась за существование живая изгородь – она тянулась до старого дуба, а тот рос уже за оградой детской площадки. Рука Иммы, узловатая и жесткая, выдубленная солнцем и ледяными реками, оглаживала недавно подстриженную живую изгородь, как гладят по спине собаку. Рядом с ней стоял большой пакет. Амальфитано подошел поближе: ему хотелось выглядеть спокойным, но ноги у него заплетались. Дочка его стояла в очереди на горку. И вдруг – он так и не успел рта раскрыть – Амальфитано увидел: мальчик наконец заметил пристально наблюдающую за ним Имму и, откинув с лица прядь волос, поднял правую руку и несколько раз ей помахал. А Имма, как если бы ждала этого знака, безмятежно подняла левую руку и тоже его поприветствовала – а потом взяла и пошла к северному выходу из парка, за которым шумел оживленный проспект.

Спустя пять лет после отъезда Лолы Амальфитано снова получил от нее письмо. Оно было короткое и пришло из Парижа. В нем Лола рассказывала: мол, работаю уборщицей в больших офисах. Работа ночная: начинаешь в десять вечера и заканчиваешь в четыре, или в пять, или в шесть часов утра. Париж очень красив на рассвете – впрочем, все большие города прекрасны, когда их жители спят. Домой она возвращалась на метро. А вот ехать в метро невероятно тоскливо. У нее родился сын, мальчик по имени Бенуа, с ним-то она и живет. А еще ее клали в больницу. Она не писала, что это была за болезнь, и была ли вообще больна. Про мужчин ничего не говорила. И про Росу не спрашивала. Словно бы девочка для нее не существует, зло подумал Амальфитано, но потом понял: а может, все сложнее – он же не знает,

как там и что. Он держал в руках письмо и плакал. Вытирая глаза, вдруг сообразил – и как он раньше этого не заметил? – что письмо отпечатано на машинке. Вне всякого сомнения, Лола натюкала его в одном из офисов, которые убирала. В какой-то момент Амальфитано решил, что это все ложь, что Лола работала администратором или секретаршей в какой-нибудь большой компании. А потом увидел все как наяву. Увидел стоящий между рядами столов пылесос, увидел натирочную машинку, похожую на помесь мастиффа и свиньи, рядом с каким-то растением в кадке, увидел огромное окно, в котором мигали огни Парижа, увидел Лолу в халате с названием клининговой компании, халат голубой и явно повывавший виды, и вот она сидит и пишет письмо, и медленно-медленно курит сигарету, увидел пальцы Лолы, ее запястья, ее равнодушные глаза, увидел еще одну Лолу, отраженную в ртутной поверхности оконного стекла, – та невесомо парила в небе Парижа, как фотография в руках иллюзиониста, но нет, все было по-настоящему: она плыла, задумчиво плыла в парижском небе, усталая, и от нее поступали известия, рожденные в самой холодной, самой ледяной зоне страсти.

Два года спустя после письма и через семь лет после того, как бросила Амальфитано с дочкой, Лола вернулась домой и никого там не нашла. В течение трех недель она ходила по старым адресам и расспрашивала людей: не знают ли те, куда переехал ее муж. Одни вовсе не открывали ей дверь, потому что не узнавали или позабыли. Другие не пускали дальше порога – не доверяли, а может, Лола попросту перепутала адрес. И лишь немногие приглашали ее в дом и предлагали кофе или чай, но Лола никогда не садилась – она все спешила увидеть свою дочь и Амальфитано. В начале поисков она мучительно страдала, и все казалось ей абсурдным: она разговаривала с людьми, которых сама не помнила. Ночевала в пансионе рядом с Рамблас, где в крошечные комнатухи набивались целыми компаниями иностранные рабочие. По вечерам, после целого дня на ногах, она присаживалась на лестнице какой-нибудь церкви отдохнуть и послушать разговоры тех, кто входил и выходил оттуда, в основном туристов. Она читала на французском книги о Греции, колдовстве и здоровом образе жизни. Временами чувствовала себя как Электра, дочь Агамемнона и Клитемнестры: вот она инкогнито бродит по Микенам, убийца, смешавшаяся с толпой, с человеческой массой, убийца, которую никто не понимает – ни специалисты из ФБР, ни сердобольные люди, кидающие ей в ладонь монеты. Иногда она видела себя матерью Медона и Строфия, счастливой матерью, которая наблюдает из окна, как играют ее дети, в то время как в глубине пейзажа голубое небо сопротивляется объятиям Средиземного моря. Она ходила и бормотала: «Пилад, Орест» – в этих двух именах запечатлелись лица многих мужчин, но Амальфитано среди них не было, а ведь именно его она искала. Однажды вечером она встретила старинного ученика своего мужа – тот, как ни странно, ее узнал, словно бы во время учебы в университете тайно любил. Он отвел Лолу к себе домой, сказал, она может гостить у него, сколько ей вздумается, и подготовил для нее – причем исключительно для нее – гостевую комнату. Следующим вечером они вместе ужинали, и вдруг бывший студент ее обнял, и она замерла на несколько секунд, словно тоже нуждалась в его объятиях, а потом сказала ему кое-что на ухо, и бывший студент отошел в сторону и сел на пол в углу гостиной. Так они застыли на несколько часов – она на стуле, а он на полу, а пол был покрыт очень любопытным паркетом: темно-желтым, и паркет этот более всего походил на коврик из тонко-тонко нарезанного тростника. Стоявшие на столе свечи погасли, и только тогда Лола пошла и села в другом углу гостиной. В темноте ей слышались слабые стоны. Казалось, юноша плачет, и она уснула под его всхлипывания как под колыбельную. В следующие дни они со студентом удвоили усилия. А увидев наконец Амальфитано, она его не узнала. Тот растолстел и облысел. Она увидела его издалека и ни секунды не сомневалась, пока шла к нему. Амальфитано сидел под лиственницей и курил с отсутствующим видом. Ты сильно изменился, сказала она. Амальфитано признал ее сразу же. А ты нет, сказал он. Спасибо, сказала она. А потом Амальфитано поднялся с места, и они ушли.

Амальфитано в то время жил в Сан-Кугате и преподавал философию в Автономном университете Барселоны, который находился относительно недалеко от его дома. Роса ходила в начальные классы муниципальной школы в их городке, отправлялась учиться в половине девятого и возвращалась не раньше пяти. Лола увидела Росу и сказала ей, что она ее мать. Роса вскрикнула, обняла ее и тут же отодвинулась, а потом убежала и спряталась в спальне. Тем вечером Лола приняла душ и постелила себе на диване, а затем сказала Амальфитано, что очень больна и, возможно, скоро умрет, а потому хотела бы увидеть Росу в последний раз. Амальфитано предложил отвезти ее в больницу прямо на следующий день, но Лола не согласилась – мол, нет, французские врачи лучше испанских – и вытащила из сумки бумаги, которые удостоверяли на беспощадном французском, что у нее СПИД. На следующий день, вернувшись из университета, Амальфитано увидел, что Роса и Лола, взявшись за руки, прогуливаются по улицам рядом с вокзалом. Он не захотел им мешать и следовал за ними на расстоянии. Открыв дверь своего дома, увидел обеих перед телевизором. Позже, когда Роса уже уснула, спросил, как там сын Лолы, Бенуа. Некоторое время Лола молчала – перебирала в своей фотографической памяти каждую часть тела сына, каждый его жест, каждое выражение лица – удивленное или испуганное; а потом сказала, что Бенуа – мальчик смысленный и чувствительный, он первым узнал, что она скоро умрет. Амальфитано спросил, кто это все рассказал ребенку, хотя, увы, знал ответ на этот вопрос. Он это узнал без чьей-либо помощи, ответила Лола, он просто посмотрел и все понял. Но это ужасно – ребенок узнал, что его мать скоро умрет, сказал Амальфитано. Еще ужаснее – ложь, детям нельзя врать, сказала Лола. На пятый день ее пребывания в доме, когда почти закончились запасы привезенных из Франции лекарств, Лола утром сообщила, что ей нужно уехать. Бенуа маленький, он нуждается во мне, сказала она. Хотя нет, на самом деле он во мне не нуждается, но все равно он маленький, добавила она потом. Я даже не знаю, кто в ком больше нуждается, в конце концов выговорила она, но ехать мне нужно – я должна узнать, как он там. Амальфитано оставил ей на столе записку и конверт с большей частью своих сбережений. Когда вернулся с работы, то был уверен – Лолу он уже не застанет. Он сходил в школу за Росой, и они пошли домой пешком. Войдя, тут же увидели, как Лола сидит перед телевизором с выключенным звуком и читает свою книгу о Греции. Ужинали они вместе. Роса легла почти в двенадцать ночи. Амальфитано отвел девочку в ее спальню, раздел и уложил в кровать, прикрыв одеяльцами. Лола ждала его в гостиной, рядом стоял собранный чемодан. Будет лучше, если этой ночью ты останешься здесь, сказал Амальфитано. Уже поздно для отъезда. Поезда на Барселону уже не ходят, соврал он. А я не на поезде, сказала Лола. Я поеду автостопом. Амальфитано опустил голову и сказал, что она вольна уехать, когда ей захочется. Лола поцеловала его в щеку и ушла. На следующий день Амальфитано встал в шесть утра – слушать радио: ему нужно было удостовериться, что на местных шоссе никто не нашел убитой и изнасилованной ехавшую автостопом женщину. Но все было спокойно.

Воображаемый образ Лолы тем не менее сопровождал его по жизни много лет – то было воспоминание, которое с шумом выныривает из вод ледяных морей; впрочем, на самом деле он почти ничего не видел, так как вспоминать было нечего – только тень бывшей жены от света фонарей на улице, а еще ему приснился сон: Лола удаляется по обочине одной из дорог, что ведут из Сан-Кугата, и дорога эта довольно пустынная – водители хотят сэкономить время и потому съезжают на платную скоростную, а она идет, сторбившись под тяжестью чемодана, бесстрашная, бесстрашно идет по самой обочине.

Университет Санта-Тереса походил на кладбище, которое ни с того ни с сего решило впасть в задумчивость. Еще он походил на пустую дискотеку.

Однажды вечером Амальфитано вышел во внутренний дворик в одной рубашке – ни дать ни взять феодал, который решил верхом объехать свои необъятные земли. Раньше он все время проводил в своем кабинете, растянувшись на полу и вскрывая кухонным ножом коробки с книгами, и вдруг обнаружил одну очень странную – он абсолютно точно помнил, что не покупал ее, а также не припомнил, чтобы кто-то ее подарил. Собственно, это была книга Рафаэля Дьесте «Геометрический завет», опубликованная в Ла-Корунья издательством «Эдисьонес дель Кастро» в 1975 году, книга, совершенно точно посвященная геометрии (дисциплине, в которой Амальфитано совсем не разбирался), разделенная на три части: первая – «Введение в Евклида, Лобачевского и Римана», вторая – «Движение в геометрии», а третья называлась «Три доказательства постулата V» и была самой загадочной из всех, Амальфитано так и не понял, что это за V-постулат и в чем он заключается, а кроме того, его это совершенно не интересовало, – хотя последнее не стоит вменять отсутствию любопытства, ибо с любопытством у него все было в порядке и даже слишком в порядке, все дело заключалось в зное, заливавшем по вечерам Санта-Тереса, сухой и пыльной жаре с горьким солнцем, от которого можно было отделаться только в современной квартире с кондиционером, – и это был не случай Амальфитано. Издание книги стало возможным благодаря друзьям автора, друзьям, которых Дьесте обессмертил, словно бы сделал фотографию гостей под конец вечеринки, на странице 4, где обычно указывают данные издательства. Там было сказано:

«Нынешним изданием чествуют Рафаэля Дьесте: Рамон БАЛЬТАР ДОМИНГЕС, Исаак ДИАС ПАРДО, Фелипе ФЕРНАНДЕС АРМЕСТО, Фермин ФЕРНАНДЕС АРМЕСТО, Франсиско ФЕРНАНДЕС ДЕЛЬ РЬЕГО, Альваро ХИЛЬ ВАРЕЛА, Доминго ГАРСИЯ САБЕЛЬ, Валентин ПАС АНДРАДЕ и Луис СЕОАНЕ ЛОПЕС.

Амальфитано показалось по меньшей мере странным печатать фамилии друзей большими буквами, в то время как фамилия собственно чествуемого лица напечатана обычными строчными. Надпись на форзаце гласила, что «Геометрический завет» – на самом деле три книги, «обладающие законченным смыслом, но функционально связанные с судьбой целого», а потом сообщалось, что «это произведение Дьесте представляет собой финальный извод его размышлений и исследований Пространства, каковое понятие неизменно появляется в любой академической дискуссии о началах Геометрии». И тут Амальфитано припомнил, что Рафаэль Дьесте – поэт. Поэт, естественно, галисийский – ну или долго проживший в Галисии. А его друзья и спонсоры издания тоже были галисийцами – ну или долго прожили в Галисии, где Дьесте, вполне возможно, преподавал в Университете Ла-Корунья или Сантьяго-де-Компостела, а может, и не преподавал, а был простым учителем средней школы, дававшим уроки геометрии сорванцам пятнадцати или шестнадцати лет, вел урок и смотрел на вечно затянутое черными тучами небо зимней Галисии и шумящий за окном ливень. На задней стороне обложки содержалось еще немного сведений о Дьесте: «В творчестве Рафаэля Дьесте – разнообразном, но неизменчивом, отвечающем требованиям глубоко личного процесса, в котором творчество поэтическое и творчество метафизическое разнесены по разным полюсам одного горизонта, – нынешняя книга апеллирует к прямо предшествующему ей „Новому трактату о параллелизме“ (Буэнос-Айрес, 1958), а из недавних работ – к „Движению и Сходству“». Получается, что у Дьесте, подумал Амальфитано, утирая с лица текущий рекой пот вперемешку с микроскопическими пылинками, геометрия – давняя страсть. И его спонсоры в таком свете переставали быть друзьями, которые каждый вечер собираются в местном казино выпить и поболтать о политике или футболе или любовницах, а превращались – в мгновение ока – в титулованных коллег по университету: кто-то уже вышел на пенсию, это понятно, но остальные – вполне трудоспособны, и все они состоятельны или по крайней мере довольно состоятельны, что не исключало, конечно, того, что каждым вечером или через вечер они собирались, прямо как провинциальные интеллектуалы (то есть как мужчины глубоко одинокие, но и как мужчины совершенно самодостаточные), в казино Ла-Корунья выпить хорошего коньяку или

виски и поговорить об интригах и любовницах, в то время как их жены, а в случае вдовцов – служанки, смотрели телевизор или готовили ужин. В любом случае, для Амальфитано проблема заключалась в следующем: как этот том оказался в его коробках с книгами. С полчаса он сидел и перебирал в памяти воспоминания, листая трактат Дьесте, впрочем, особо не вникая в написанное, и в конце концов пришел к выводу, что случившееся – тайна, разгадать которую он пока не в силах, но сдаваться тоже не будет. Он спросил Росу, которая в тот момент занимала ванную, красясь, ее ли это книга. Роса посмотрела на томик и сказала, что нет, не ее. Амальфитано с жаром попросил ее посмотреть еще раз – мол, уверена ли ты на сто процентов? Роса поинтересовалась, все ли с ним в порядке. Амальфитано ответил, что чувствует себя преотлично, но этот трактат – он не мой, но почему-то оказался в коробке с моими книгами, которые я послал из Барселоны. Роса ответила ему по-каталонски, чтобы он не нервничал, и продолжила краситься. Как же мне не нервничать, уперся Амальфитано – тоже по-каталонски – если мне, похоже, память изменяет. Роса снова посмотрела на книгу и сказала: похоже, она все-таки моя. Ты уверена? – спросил Амальфитано. Нет, не моя, вздохнула Роса, точно не моя, и вообще я ее впервые вижу. Амальфитано оставил дочку в покое перед зеркалом в ванной и, повесив книгу на руку, снова вышел в изгаженный сад, в котором все было светло-коричневого цвета, как если бы пустыня обосновалась вокруг его нового дома. Он перебрал в памяти все возможные книжные магазины, в которых мог купить злосчастный томик. Просмотрел первую и последнюю страницы, а также заднюю сторону обложки в поисках какого-либо знака и нашел, на первой странице, отрезанную этикетку: Книжный магазин «Либрерия Фольяс Новас, ОАО, Монтеро Риос 37, ттф 981-59-44-06 и 981-59-44-18, Сантьяго». Совершенно точно это был не Сантьяго-де-Чили – единственное место в мире, где Амальфитано и вправду мог в полностью бессознательном состоянии войти в книжный, взять не глядя какую-нибудь книгу, оплатить и уйти. Очевидно, речь шла о Сантьяго-де-Компостела в Галисии. На мгновение Амальфитано задумался: а не отправиться ли в паломничество по Пути святого Иакова? Он дошел до другой стены патио, где деревянная решетка встречалась с цементным забором вокруг соседнего дома. Он никогда не присматривался к нему. А ведь кровля этой ограды усажена стеклами, подумал он, надо же, как хозяева дома боятся нежелательных визитов. Вечернее солнце отражалось в стеклянных осколках, Амальфитано возобновил прогулку по растерзанному пустыней саду. Кровля соседней ограды тоже топорщилась осколками, правда, в этом случае больше зелеными и коричневыми – от бутылок пива и спиртного¹³. Он никогда, даже во сне, не был в Сантьяго-де-Компостела – это Амальфитано вынужден был признать, примостившись в тени, которую отбрасывала ограда с левой стороны. Но это всё мелочи, это всё не важно – многие книжные магазины Барселоны, в которые он заезжал, закупали свой книжный фонд напрямую у других книжных Испании – у книжных, что распродавали фонды или прогорали или, хотя этих было не так уж и много, не только продавали книги, но и распространяли их. Видимо, эта книга попала в мои руки в «Лайе», подумал он, ну или в «Ла-Сентраль», куда я пришел за книгой по философии, а продавец или продавщица, взволнованная тем, что в книжный вернули Пере Джимферре, Родриго Рей Роса и Хуан Вильоро и принялись спорить, стоит ли летать самолетами или нет, рассказывая о крушениях и несчастных случаях, обсуждая, что опаснее – взлет или посадка, – так вот, видимо, эта продавщица сунула по ошибке эту книгу в мою сумку. Видимо, да, в «Ла-Сентраль». Но если все так и было, он бы обнаружил книгу, придя домой, ведь открыл бы пакет или пластиковую сумку или в чем там лежала книга, – конечно, если только по дороге домой с ним не случилось что-нибудь ужасное или жуткое, что могло бы отбить любое желание посмотреть на новую книгу или книги. Возможно даже, он вскрыл пакет как зомби и оставил новую книгу на прикроватной тумбочке, а трактат Дьесте на книжной полке, – а все потому, что увидел что-то неприятное на улице, наверное, автокатастрофа, а

¹³ В Испании пиво не считается алкогольным напитком, оно проходит по категории напитков прохладительных (refrescos).

может, вооруженный грабеж случился, а возможно, кто-то в метро под поезд бросился; правда, если бы я действительно увидел что-то вроде этого, подумал Амальфитано, то, без сомнений, и по сей день помнил бы об этом или по крайней мере сохранил хотя бы смутное воспоминание. Он мог не помнить про «Геометрический завет», но точно запомнил бы случай, из-за которого забыл о нем. Но, мало того, главная проблема крылась не в том, что он купил книгу, а в том, как она попала в Санта-Тереса в коробках с книгами, которые Амальфитано лично отобрал перед отъездом. Когда, в какой момент абсолютного отречения он положил эту книгу в коробку? Как мог упаковать книгу, не отдавая отчета в своих действиях? Он что, действительно хотел прочитать ее по приезду на север Мексики? Хотел с ее помощью подучить геометрию? И если таков был план, то почему он забыл о нем сразу по прибытии в этот Богом забытый город? А если книга изгладилась из его памяти, пока они с дочкой летели с востока на запад? А может, она изгладилась из памяти, пока он, уже в Санта-Тереса, ожидал прибытия коробок с книгами? Или вот – книга Дьесте исчезла, подобно побочным симптомам джет-лага?

Амальфитано приходили в голову идеи насчет книги, причем странноватые. Нет, не все время, поэтому их вряд ли с полным правом можно было назвать идеями. Это были, скорее, ощущения. Такая вот игра разума. словно бы он подошел к окну – а там! Там инопланетный пейзаж. Он думал (или ему так казалось, во всяком случае, ему нравилось, что он думал): когда находишься в Барселоне, те, кто живет или приезжает в Буэнос-Айрес или Мехико-сити, не существуют. Разница во времени – это просто маска, скрывающая пустоту. Так, если вдруг тебе нужно поехать в город, который, в теории, существовать не должен или у которого еще не было *времени*, чтобы правильно собраться, – вот тогда-то и возникает явление, известное как джет-лаг. Не из-за того, что ты устал, а из-за того, что устали другие – ведь в то время (если бы ты не сорвался в путешествие!) они бы спокойно спали. Что-то похожее, наверное, Амальфитано прочитал в каком-то романе или научно-фантастическом рассказе и начисто забыл.

С другой стороны, эти идеи, или эти ощущения, или эти бредни имели свою положительную сторону. Они превращали боль *других* в воспоминания *одного*. Превращали боль (а боль ведь длится, и она естественна и всегда побеждает) в частное воспоминание, которое, как свойственно человекам, кратко и всегда норовит сбежать. Превращали дикие истории о несправедливости и насилии, нестройное подвывание без начала и конца в хорошо структурированную прозу, где всегда найдется место для самоубийства. Превращали побег в свободу, даже если свобода эта годилась только на то, чтобы бежать дальше. Превращали хаос в порядок, хотя бы и пришлось платить за это тем, что обычно считается рассудительностью.

И хотя потом Амальфитано в библиотеке Университета Санта-Тереса отыскивал библиографические данные Рафаэля Дьесте и уверился в том, что уже подсказывала интуиция (а может, это ему позволило интуитивно почувствовать Доминго Гарсия-Сабель в прологе, названном «Просвещенная интуиция», где он даже позволил себе процитировать Хайдеггера – «Время есть»); в тот вечер, когда он, подобно средневековому землевладельцу, обходил свои скукожившиеся бесплодные владения, пока его дочь, как средневековая принцесса, заканчивала краситься перед зеркалом ванной, он так не вспомнил, как ни старался и так и эдак, зачем и где купил книгу, как эта книга оказалась упакована вместе с более знакомыми и любимыми экземплярами и отправлена в этот многолюдный город, что бросал вызов пустыне у самой границы Соноры с Аризоной. И тогда, именно тогда, словно бы стартовый пистолет выстрелил, началась серия событий, которые нанизывались одно за другим, одни с хорошими последствиями, другие – со скверными: Роса вышла из дома и сказала, что идет в кино с подругой, и спросила, есть ли у него ключи, и Амальфитано сказал, что да, есть, и услышал, как громко хлопнула дверь, а потом услышал шаги дочери по тропинке, выложенной неровными плитками,

как она подошла к крохотной, едва ей по пояс, калитке на улицу, потом услышал ее шаги по тротуару – она направлялась в сторону автобусной остановки; а потом он услышал, как рычит двигатель заведенного автомобиля. И тогда Амальфитано подошел к краю своего многогрядного сада и вытянул шею и высунулся на улицу, но не увидел ни машины, ни Росы, и крепко сжал книгу Дьесте, что до сих пор держал в левой руке. А потом посмотрел на небо и увидел слишком большую и слишком морщинистую луну – и это несмотря на то, что еще не стемнело. А затем снова зашел в глубину своего некогда цветущего сада и на протяжении нескольких секунд стоял не шевелясь, поглядывая то влево, то вправо, то вперед, то назад – все искал свою тень; но, хотя еще было светло и на западе, если стоять лицом к Тихуане, сияло солнце, тени он не увидел. Тогда присмотрелся к веревкам, четырем параллельным веревкам, с одной стороны привязанным к самодельным футбольным воротам (естественно, они были мельче, чем обычные футбольные: две палки максимум метр восемьдесят в высоту, забитые в землю, а третья, горизонтальная, приколочена гвоздями к концам тех двух – это сообщало конструкции хоть какую-то устойчивость), с другой – к крючкам, вделанным в стену дома. Это была сушилка для белья, хотя на ней висели лишь Росина блузка (белая, с рыжей вышивкой по вороту), пара трусиков и пара полотенец, с которых еще капало. В углу, в кирпичном домике, стояла стиральная машина. На некоторое время Амальфитано застыл в неподвижности, дыша открытым ртом и опершись на горизонтальную перекладину сушилки. Потом вошел в домик стиральной машины, словно бы ему не хватало кислорода, и из пластикового пакета с логотипом супермаркета, в который они с дочкой ходили закупать продукты на неделю, вытащил три прищепки для белья, которые упорно именовал «пёсиками», повесил книгу на одной из веревок и закрепил ее прищепками, а затем снова вошел в дом, чувствуя изрядное облегчение.

Естественно, идея была не его, а Дюшана.

От жизни Дюшана в Буэнос-Айресе существует (или сохранилось) одно-единственное «готовое изделие». Впрочем, вся его жизнь была таким изделием – способом умиловить судьбу и в то же время послать сигнал тревоги. Вот что по этому поводу пишет Келвин Томкинс: «Когда его сестра Сюзанн выходила замуж за его близкого друга Жана Кротти – молодые люди поженились в Париже 14 апреля 1919 года, – Дюшан почтой прислал новобрачным подарок. То были инструкции насчет того, как правильно вывесить на веревке из окна квартиры трактат по геометрии, чтобы ветер мог „листать книгу, выбирать задачи, переворачивать страницы и выдергивать их“». Как можно видеть, в Буэнос-Айресе Дюшан не только в шахматы играл. Томкинс меж тем продолжает: «Возможно, в таком подарке мало радости (Дюшан сам его назвал „несчастливым готовым изделием“) и некоторых молодоженов такой дар мог шокировать, но Сюзанн и Жан последовали инструкциям Дюшана с долей здорового юмора. На самом деле они даже сфотографировали висящую в воздухе раскрытую книгу, и эта фотография – единственное доказательство существования этого произведения, которое, увы, не выдержало встречи со стихиями; позже Сюзанн написала картину, которая так и называлась – „Несчастное готовое изделие Марселя“. Как потом Дюшан объяснял это Кабанну: „Мне показалось забавным ввести в оборот по отношению к моим «готовым изделиям» понятия счастья и несчастья, ну и потом все это – дождь, ветер, летящие страницы – разве это не забавно?“ Впрочем, я не прав, Дюшан в Буэнос-Айресе и в самом деле в основном играл в шахматы. Ивонн, которая тогда была с ним, утомилась от вечного созерцания этой игры-науки и уехала во Францию. Томкинс продолжает: «В последние годы жизни Дюшан признался журналисту, что ему безмерно нравилось „дискредитировать серьезные книги, содержавшие в себе множество принципов“, типа этой, и даже сообщил другому журналисту, что, будучи оставлен на милость непогоды, „трактат наконец-то немного ожил“».

Тем вечером, когда Роса вернулась из кино, Амальфитано сидел в гостиной и смотрел телевизор; воспользовавшись моментом, он сказал: мол, смотри, я повесил томик Дьесте на сушилке. Роса одарила его непонимающим взглядом. Хочу сказать, пояснил Амальфитано, я повесил его не потому, что облил из шланга, или потому, что он упал у меня в лужу, нет, я повесил его просто так, чтобы посмотреть, как он сопротивляется непогоде и отбивает атаки пустыни. Надеюсь, ты не сходишь с ума, сказала Роса. Нет, не волнуйся, ответил Амальфитано, прикидываясь беспечным и веселым. Я просто предупреждаю, чтобы ты его не снимала оттуда. Просто сделай вид, что он не существует. Хорошо, согласилась Роса и закрылась в своей комнате.

На следующий день, пока ученики писали или пока он говорил, Амальфитано принялся рисовать простейшие геометрические фигуры – треугольник, прямоугольник и каждый угол подписал именем, которое подсказали, скажем, случай, или небрежение, или невероятная скука, которую вызывали его ученики и пары, и жара, что царствовала нынче в городе. Вот так:

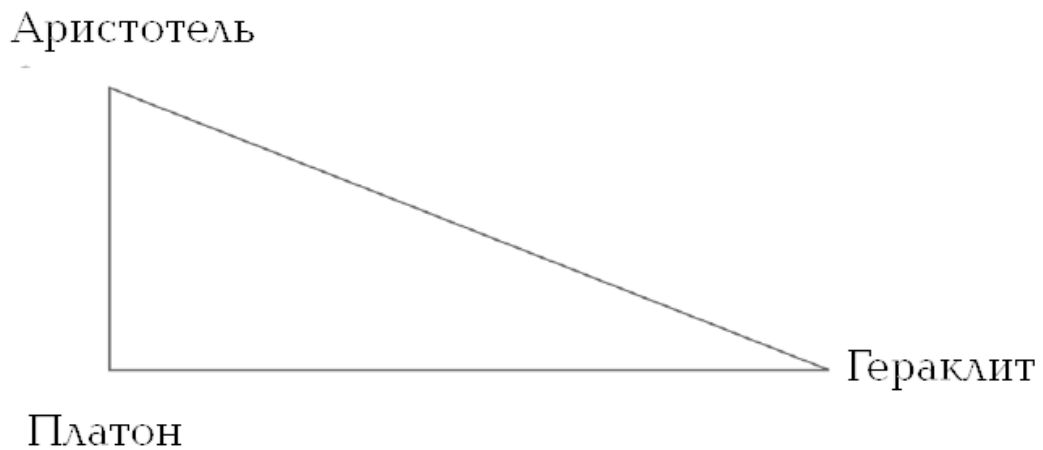


Рис. 1

Или так:

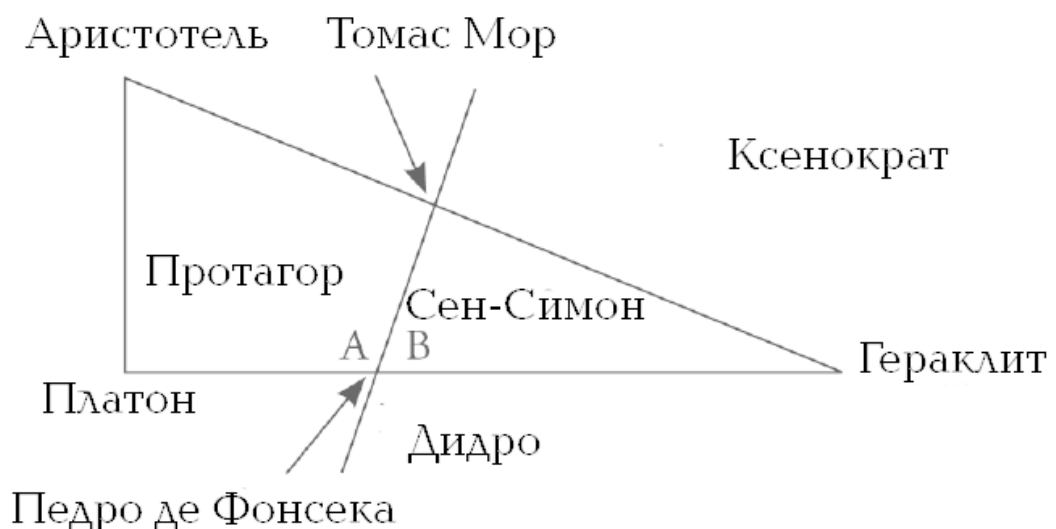


Рис. 2

Или так:

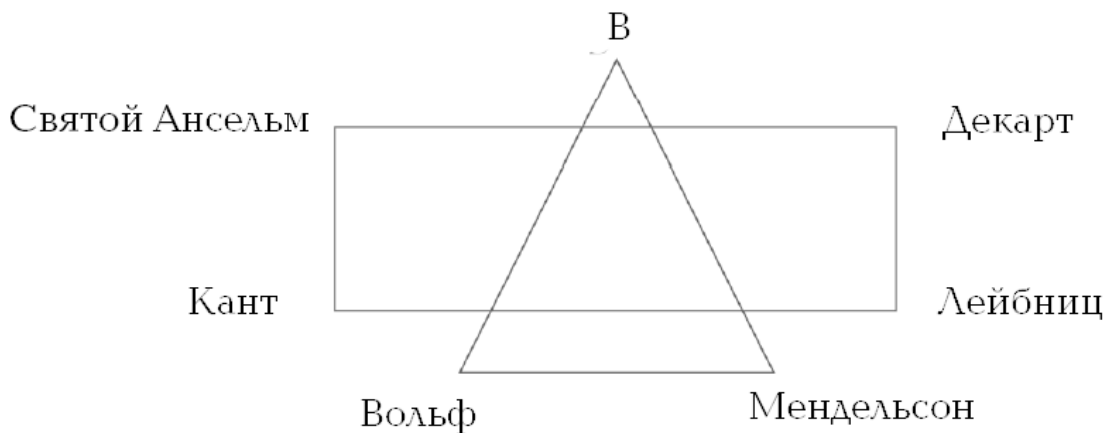


Рис. 3

Вернувшись в свой крошечный кабинет, он обнаружил бумажку и, прежде чем выкинуть ее в мусорное ведро, застыл, рассматривая ее, на несколько минут. Рисунок 1 объяснялся просто – скукой. Рисунок 2 казался продолжением рисунка 1, но добавленные имена показались ему дичью. Нет, Ксенократ там мог находиться – в этом была своя абсурдная логика, и Протагор тоже, но... что там делали Томас Мор и Сен-Симон?! Что там делали, как могли вообще появиться там Дидро и, Боже правый, португальский иезуит Педро де ФONSEКА, который был одним из комментаторов Аристотеля, им счет на тысячи идет, но его же никакими акушерскими щипцами не протасишь в ряд великих мыслителей?! А вот рисунок 3, напротив, обладал своей собственной логикой – логикой придурковатого подростка, подростка, бродяжничающего по пустыне в изношенной одежде – но все же в одежде. Все эти имена, можно было сказать, принадлежали философам, которые посвятили труды онтологическому аргументу. Вот эта В, что сидела на верхнем углу треугольника, вписанного в четырехугольник, могла быть Богом или существованием Бога, которое вытекает из его сущности. Только тогда Амальфитано заметил, что на рисунке 2 также присутствуют А и В, и тут уж уверился: это все жара, он к ней не привык, и из-за нее он пишет чушь во время занятий.

Тем не менее вечером, поужинав и посмотрев новости по телевизору и поговорив по телефону с коллегой Сильвией Перес, которую возмущала вопиющая медлительность полиции штата Сонора и городского полицейского управления Санта-Тереса в расследовании преступлений, – словом, тогда Амальфитано нашел на столе кабинета еще три рисунка. Без сомнения, это он их нацарапал. На самом деле он припоминал, как отвлекся и принялся чертить каракули на пустой странице, задумавшись о чем-то своем.

Рисунок 1 (или рисунок 4) выглядел так:

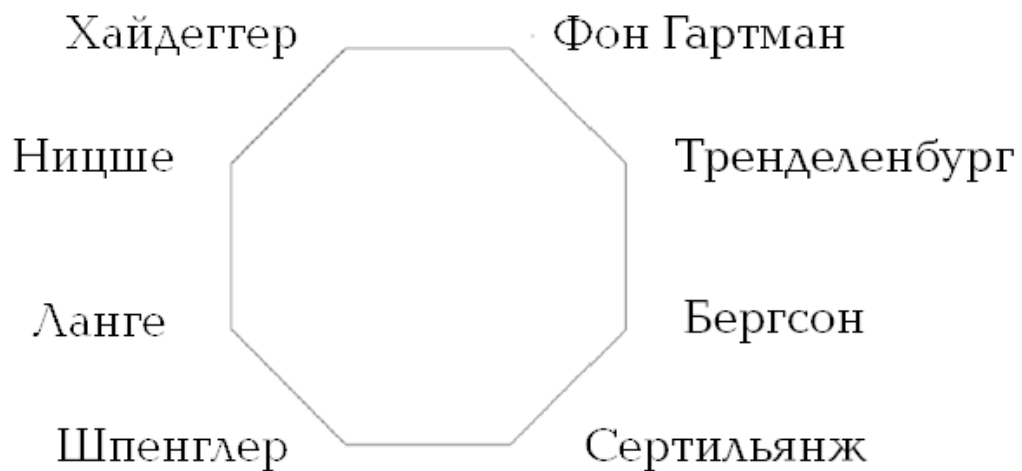


Рис. 4

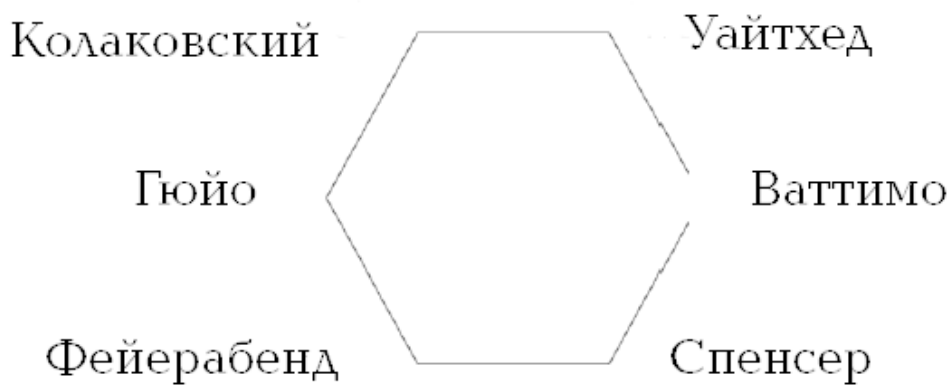


Рис. 5

И рисунок шестой:

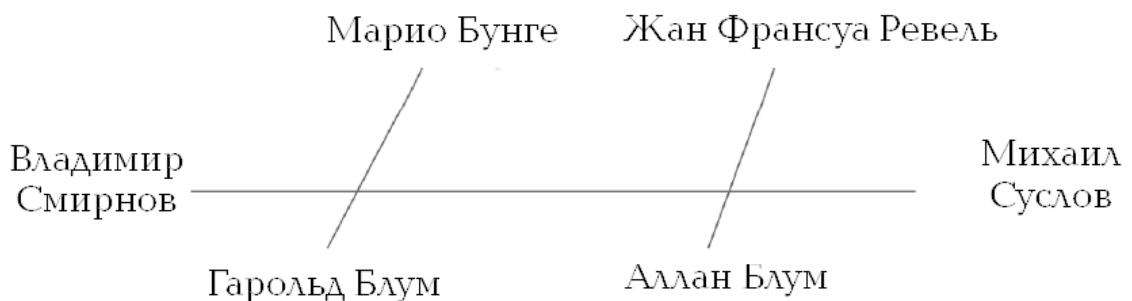


Рис. 6

Рисунок 4 получился любопытным. Этот Тренделенбург, сколько же лет он о нем и не вспоминал. Адольф Тренделенбург. Так почему он вспомнил его сейчас и почему тот всплыл в памяти в компании Бергсона, Хайдеггера, Ницше и Шпенглера? Рисунок 5 вышел еще любо-

пытнее. Надо же, Колаковский и Ваттимо! И забытый Уайтхед присутствует. И в высшей степени неожиданное появление бедняги Гюйо, Жана-Мари Гюйо, умершего в тридцать четыре года в 1888 году, которого какие-то шутники прозвали французским Ницше, и это притом, что во всем огромном мире едва набралось бы десять его последователей; впрочем, на самом деле их было шестеро: это Амальфитано знал, потому что в Барселоне познакомился с единственным испанским гюйотистом – преподавателем из Хероны, весьма робким, но не чуждым энтузиазма, чьей самой важной академической заслугой считалось обнаружение одного текста (было не очень ясно, поэма это, философское эссе или статья), который Гюйо написал по-английски и опубликовал примерно в 1886 или 1887 году в газете, выходившей в Сан-Франциско. И, наконец, рисунок б: он был самым любопытным из всех (и наименее «философским»). Да, рядом с горизонтальной линией появилось имя Владимира Смирнова, сгинувшего в сталинских лагерях в 1938 году и которого не надо путать с Иваном Никитичем Смирновым, расстрелянным в 1936 году после первого московского процесса; а рядом с другой горизонтальной линией появилось имя Сулова, высокопоставленного идеолога, готового столкнуться с любыми упреками и обвинениями, – что ж, тут все выглядело достаточно красноречиво. Но почему эту горизонталь пересекали под углом две линии, на которых сверху читались имена Бунге и Ревеля, а снизу красовались Гарольд Блум и Аллан Блум – о, вот это выглядело вполне себе анекдотично. И анекдот этот Амальфитано совершенно не понял, особенно вот это спонтанное возникновение двух Блумов – видимо, тут и следовало смеяться, но он так и не понял над чем.

Тем вечером, когда дочка уже спала, а он прослушал последний выпуск новостей на самом популярном радио Санта-Тереса, «Голос пограничья», Амальфитано вышел в сад, выкурил сигарету, поглядывая на улицу (там не было ни души), и направился к дальней стороне сада – сторожкими шагами, словно бы опасался попасть ногой в яму или боялся темноты, которая там уже царствовала. Трактат Дьесте так и висел на бельевой веревке рядом с одеждой, которую Роса сегодня постирала, и одежда эта казалась сделанной из цемента или чего-то столь же тяжелого, потому что не качалась (а должна была) под порывами ветра, тот мотал книгу из стороны в сторону – то ли неохотно укачивал ее как ребенка, то ли хотел вырвать из цепкой хватки прищепок, которые удерживали ее на веревке. Амальфитано чувствовал ветер, овевающий его лицо. Он потел, то и дело налетающие порывы высушивали капельки испарины и замуровывали душу. Словно бы он стоял в кабинете Тренделенбурга, подумалось ему, словно бы шел по следам Уайтхеда по берегу канала, словно бы присел у одра больного Гюйо и попросил у Жана-Мари совета. Что бы они ответили? Будьте счастливы. Живите одним днем. Станьте добрее. Или наоборот: вы кто? И что вы здесь делаете? Уходите!

На помощь!

На следующий день Амальфитано зашел в университетскую библиотеку и обнаружил новые данные по Дьесте. Тот родился в Рианхо, Ла-Корунья, в 1899 году. Поначалу писал на галисийском, потом перешел на кастильский, а также писал на том и другом языке. Писал для театров. Во время Гражданской войны поддерживал Республику. После поражения отправился в изгнание, а именно в Буэнос-Айрес, где в 1945 году опубликовал сборник «Путешествие, траур и бедствие: трагедия, юмореска и комедия», объединяющий под одной обложкой три ранее издававшихся его произведения. Поэт. Эссеист. Также издал в 1958 году – Амальфитано тогда было всего шесть лет – уже помянутый «Новый трактат о параллелизме». Писал рассказы, самый известный сборник – «История и выдумки Феликса Мурьеля» (1943). Возвратился в Испанию, возвратился в Галисию. Умер в Сантьяго-де-Компостела в 1981 году.

Что за эксперимент, поинтересовалась Роса. Какой эксперимент, не понял Амальфитано. Да вот с книгой на веревке, ответила Роса. Да это вовсе не эксперимент, точнее, не эксперимент в буквальном смысле этого слова, сказал Амальфитано. А почему она висит тут? – спросила Роса. Да что-то мне вдруг в голову пришло, сказал Амальфитано, идея-то, она Дюшана: вывесить книгу по геометрии на улице, чтобы непогода ее потрепала и дала ей пару жизненных уроков. Ты же ее изорвешь, сказала Роса. Не я, возразил Амальфитано, а силы природы. Слушай, ты с каждым днем все больше и больше сходишь с ума, сказала Роса. Амальфитано улыбнулся. Ты раньше никогда не поступал так с книгами, сказала Роса. А она не моя, пожал плечами Амальфитано. Да неважно, возразила Роса, теперь она твоя. Любопытно, сказал Амальфитано, так и должно было быть, но я не чувствую, чтобы книга мне принадлежала, более того, у меня сложилось впечатление, почти уверенность, что я не причиняю ей никакого вреда. Ну так притворись, что она моя, и сними ее, сказала Роса, а то соседи подумают, что ты рехнулся. Это те соседи, что поверх ограды стекла втыкают? Да они даже не знают, что мы существуем, сказал Амальфитано, и они гораздо безумнее меня. Нет, эти-то не знают, а вот другие, сказала Роса, те прекрасно видят, что происходит у нас во дворике. Кто-то тебя обидел? – спросил Амальфитано. Нет, ответила Роса. Тогда не вижу проблемы, сказал Амальфитано, не беспокойся о таких глупостях, в этом городе куда ужаснее вещи происходят, а я всего-то книжку на веревке повесил. Одно другому не мешает, сказала Роса, мы же не варвары какие. Оставь ты эту книгу в покое, сделай вид, что нет ее, забудь о ней, сказал Амальфитано, тебя никогда не интересовала геометрия.

По утрам, перед уходом в университет, Амальфитано выходил из задней двери во двор и, допивая кофе, смотрел на книгу. Без сомнений, на томик пошла очень хорошая бумага, да и корешок с обложкой прекрасно выдерживали натиск сил природы. Старинные друзья Рафаэля Дьесте выбрали самые качественные материалы, чтобы почтить его память и попрощаться, рановато, правда, для прощания, ну да ладно, пусть почтенные просвещенные (или просто внешне лощенные) старцы скажут до свидания другому почтенному просвещенному старцу. Амальфитано задумался: а что, если природа северо-западной Мексики, именно в этой точке, в пределах его обкорнанного непогодой сада, бессильна перед книгой? Однажды утром, ожидая автобуса до университета, он твердо пообещал себе разбить газон или просто посеять травку, купить уже подросший саженец в специальном магазине, а по сторонам еще цветы посадить. Другим утром подумал: а зачем улучшать сад, это же бесполезно, все равно Амальфитано в Санта-Тереса долго не задержится. Пора вернуться, вот только куда? И потом говорил себе: а что меня побудило сюда приехать? Зачем я привез мою девочку в этот проклятый город? Потому что в этой дыре еще не бывал? Потому что в глубине души хочу умереть? Потом он смотрел на книгу Дьесте, на «Геометрический завет», – та невозмутимо висела на веревке, крепко пристегнутая двумя прищепками, и ему хотелось снять ее и отереть рыжую пыль, приставшую к страницам здесь и там, но он не осмеливался.

Вернувшись из Университета Санта-Тереса, или сидя на пороге своего дома, или читая студенческие работы, Амальфитано иногда вспоминал своего отца – тот увлекался боксом. Отец Амальфитано считал, что все чилийцы – педики. Амальфитано, десяти лет от роду, возражал: пап, вот итальянцы – те точно пидорасы, ты только посмотри, что там во время Второй мировой войны творилось. Отец Амальфитано очень серьезно относился к тому, что его сын делает подобные заявления. Дед Амальфитано родился в Неаполе. И потому отец Амальфитано всегда чувствовал себя скорее итальянцем, чем чилийцем. Так или иначе, но ему нравилось разглагольствовать о боксе, точнее сказать, ему нравилось говорить о боях, знание о которых он почерпнул в обязательных к прочтению хрониках в специализированных журналах или спортивных разделах газет. Так он мог вести разговоры о братьях Лоайса, Марио и Рубене,

племянниках Тани, и о Годфри Стивенсе, величественном пидорасе без удара, и об Умберто Лоайсе, тоже племяннике Тани, с хорошим ударом, но мимо цели, об Артуро Годое, хитрюге и мученике, о Луисе Висентини, итальянце из Чильяна и мужчине видном, но, к сожалению, погубила его, как есть погубила, судьба, что судила ему уродиться в Чили, и об Эстанислао Лоайсе, самом Тани, у которого украли скипетр чемпиона мира в Штатах, и так по-дурацки все случилось: арбитр в первом раунде взял и наступил Тани на ногу, и тот сломал лодыжку. Нет, ты можешь себе представить? – горячился отец. Не, не могу, честно отвечал Амальфитано. Ну давай, ты потопчешься вокруг меня, а я те на ногу наступлю, настаивал отец. Лучше не надо, отвечал сын. Да ладно, не тушуйся, ничего не случится, говорил отец. В другой раз, отвечал сын. Нет, сейчас давай, настаивал отец. И тогда Амальфитано принимался топтаться вокруг, причем двигался с удивительной сноровкой, время от времени выдавая прямые удары правой и апперкоты левой, и вдруг отец выдвигался вперед и наступал ему на ногу, и на этом все кончалось – Амальфитано оставался неподвижным или пытался взять папу в клинч или вовсе отодвигался, но лодыжку, естественно, не ломал. Думаю, арбитр это нарочно сделал, говорил ему отец. Подумаешь, ногу отравили, лодыжку так не переломишь, бля буду. А потом отец начинал ругаться: мол, все чилийские боксеры пидорасы, все, бля, жители этой сраной страны пидорасы, все до единого, их обмануть – раз плюнуть, всучить в магазине – раз плюнуть, попросишь снять часы – так они штаны снимут. На что Амальфитано, который в свои десять лет читал не спортивные журналы, а исторические, в основном по военной истории, отвечал, что это место уже занято итальянцами – достаточно посмотреть на события Второй мировой войны. Тогда отец замирал в молчании, глядя на сына с гордостью и откровенным восхищением, словно бы спрашивая себя: откуда, тысяча чертей, откуда взялся этот ребенок, и потом некоторое время помалкивал, а затем сообщал почти шепотом, словно доверял его слуху секрет, что итальянцы по отдельности были храбрецы. И соглашался, что в толпе итальяшки просто клоуны. Именно это, резюмировал он, еще внушает какие-то надежды.

Из чего следует, думал Амальфитано, когда выходил из передней двери и останавливался со стаканом виски на крыльце, высываясь на улицу, где стояли машины припаркованные, машины, оставленные на несколько часов, машины, которые пахли – или это ему так казалось, – кровью и металлоломом, а потом разворачивался и направлялся – не проходя через комнаты – в заднюю часть сада, где в покое и темноте ожидал «Геометрический завет», – так вот, из этого следует, что в глубине, в самой глубине души, он все-таки на что-то надеется, потому что по крови итальянец, а еще индивидуалист и образованный человек. И может, даже вообще не трус. Хотя вот бокс ему нравился. Но тогда книга Дьесте колыхалась на ветру, и бриз черным платком промокал жемчужины пота на лбу, и Амальфитано прикрывал глаза и пытался вспомнить, как выглядел его отец, но тщетно. Когда возвращался домой – не через заднюю, а через переднюю дверь, – он высывал голову над оградой и смотрел на улицу, сначала направо, а потом налево. Иногда ему казалось, что за ним следят.

По утрам, когда Амальфитано после обязательного посещения книги Дьесте оставлял кофейную чашку в раковине на кухне, первой уходила Роса. Обычно они не прощались, правда, иногда, если Амальфитано приходил раньше или оставлял на потом визит в задний дворик, она успевала попрощаться, посоветовать ему быть осторожнее или просто поцеловать. Однажды утром он сумел только сказать ей до свидания, а потом сел за стол, глядя на сушилку из окна. «Геометрический завет» неприметно шевелился. А потом вдруг перестал. Птицы, которые пели в садах соседей, замолчали. На единый миг все погрузилось в абсолютную тишину. Амальфитано показалось, что до него доносятся стук открывающейся двери и удаляющиеся шаги дочери. Потом он услышал, как завелась какая-то машина. Той ночью, пока Роса смотрела взятый напрокат фильм, Амальфитано позвонил коллеге, сеньоре Перес, и признался: у него что-то не то с нервами. Госпожа Перес его успокоила, сказала, что сильно волноваться не стоит,

достаточно некоторых мер предосторожности, не надо впадать в паранойю; она также напомнила, что жертв похищали в других районах города. Амальфитано выслушал ее и почему-то засмеялся. Сказал, у него нервы натянуты как у вруна, но госпожа Перес не поняла шутки. В этом городишке, в ярости подумал Амальфитано, никто ничего не понимает. Затем госпожа Перес попыталась убедить его куда-нибудь сходить в эти выходные, с Росой и с сыном госпожи Перес. Куда же, спросил Амальфитано еле слышно. Мы могли бы поехать в один ресторан с террасой в двадцати, что ли, километрах от города, сказала она, там очень приятно, для молодежи – бассейн, для нас огромная терраса, там везде тень и виднеются отроги кварцевой горы – серебристые с черными прожилками. Наверху там часовня из черного кирпича. Внутри темно, скудный свет проникает через единственное слуховое оконце, а все стены исписаны благодарностями от путешественников и индейцев XIX века – они ведь с риском для жизни перебирались через сьерру, которая разделяла Чиуауа и Сонору.

Первые дни Амальфитано в Санта-Тереса и Университете Санта-Тереса выдались чудовищными – правда, сам Амальфитано не полностью отдавал себе в этом отчет. Чувствовал он себя отвратительно – давала о себе знать разница во времени, – но сам он не обращал на это внимания. Коллега по факультету, парнишка из Эрмосильо, который сам не так давно окончил университет, спросил, что у него были за причины предпочесть Университет Санта-Тереса университету в Барселоне. Надеюсь, это был не климат, сказал молодой человек. Климат здесь прекрасный, ответил Амальфитано. Да нет, я тоже так думаю, коллега, сказал молодой человек, я ведь спрашивал, потому что те, кто сюда переезжает, они обычно больны, а я искренне надеюсь, что это не ваш случай. Нет, сказал Амальфитано, не из-за климата, в Барселоне у меня просто закончился контракт, и коллега Перес меня убедила приехать сюда. С госпожой Сильвией Перес он познакомился в Буэнос-Айресе, и потом они еще два раза пересекались в Барселоне. Именно она вызвалась снять ему дом и купить кое-какую мебель, деньги за которую Амальфитано ей перечислил до первой своей зарплаты – чтобы не оказаться в ложном положении. Дом стоял в квартале Линдаквиста, районе высшего среднего класса: здесь строили здания не выше двух этажей, а вокруг раскинулись сады. Тротуары, сквозь которые прорастали корни огромных деревьев, были тенистыми и приятными, правда, из-за некоторых оград выглядели ветшающие дома, словно бы хозяева сбежали, не успев продать свою недвижимость, из чего следовал вывод: в противоположность тому, что говорила сеньора Перес, снять в этом районе дом было не так уж трудно. Декан факультета философии и филологии, которому коллега Перес представила его на второй день пребывания в Санта-Тереса, Амальфитано не понравился. Звали его Аугусто Герра, и кожа у него была беловатая и блестящая, как у толстяка, однако на самом деле он был тощим, с рельефными мышцами мужчиной. Он казался не слишком уверенным в себе, хотя и пытался скрыть это за неформальной манерой беседы (впрочем, весьма интеллектуальной) и бравым видом. Он тоже не давал особой веры философии, а вследствие этого – преподаванию философии, ибо та, с его точки зрения, откровенно отставала от естественных наук с их нынешними и будущими чудесами – так он и сказал, на что Амальфитано культурно спросил, не думает ли он то же самое о литературе. Нет, как вы только могли так подумать, у литературы-то как раз есть будущее, у литературы и истории, сказал ему Аугусто Герра, взгляните на биографии, раньше их не писали и публике не было до них дела, а теперь весь мир только и делает, что читает биографии. И внимание: я сказал биографии, а не автобиографии. Люди жаждут узнать о других жизнях, жизнях своих знаменитых современников, которые достигли успеха или славы или оказались в шаге от этого, и также жаждет узнать, что там делали древние чинкуали, мало ли, может, что полезное, чтобы не наступать на одни и те же грабли. Амальфитано культурно поинтересовался, что значит это слово – «чинкуали», ведь он его никогда не слышал. Правда? – удивился Аугусто Герра. Клянусь, ответил Амальфитано. Тогда декан позвал сеньору Перес и сказал ей: «Сильвита,

знаете ли вы, что значит слово „чинкуали“?» Сеньора Перес взяла Амальфитано под руку, словно бы они были жених и невеста, и честно призналась, что совершенно не знает, хотя слово, да, когда-то она слышала. Долбаны невежественные, подумал про себя Амальфитано. Слово «чинкуали», сказал Аугусто Герра, имеет, как все слова *нашего* языка, несколько значений. Во-первых, оно означает эти красные прыщички, ну, знаете, такие, которые остаются после укуса блох или клопов. Эти прыщички очень чешутся, и бедные люди, этим заразившись, непрерывно почесываются – логично, правда? Отсюда выводится второе значение: так называют беспокойных людей, которые то вертятся, то чешутся и непрерывно двигаются и нервируют невольных свидетелей их поведения. Скажем, это похоже на европейскую чесотку и на чесоточных, которых так много в Европе, – ведь они заражаются в общественных туалетах и ужасных французских, итальянских и испанских уборных. А уж от этого значения происходит последнее, воинственное, скажем так, значение: так называют путешественников, авантюристов интеллектуального толка, тех, кому не дает сидеть спокойно их разум. Вот оно что, сказал Амальфитано. Замечательно! – воскликнула госпожа Перес. На этой импровизированной встрече в кабинете декана (Амальфитано счел ее приветственной) также присутствовали трое преподавателей факультета и секретарша Герры, которая открыла бутылку калифорнийского шампанского, а затем обнесла всех картонными стаканчиками и солеными печеньями. Потом появился сын Герры, молодой человек двадцати пяти, что ли, лет, в черных очках и спортивном костюме, очень загорелый; парень провел всю встречу в уголке за разговором с секретаршей своего отца, весело поглядывая время от времени на Амальфитано.

Ночью перед экскурсией Амальфитано в первый раз услышал голос. Наверное, он слышал его и раньше, на улице или во сне, и думал, что это часть чьей-то беседы или что ему снится кошмар. Но той ночью он услышал голос, и сомнений не осталось: голос обращается к нему. Поначалу Амальфитано решил, что сошел с ума. А голос сказал: «Привет, Оскар Амальфитано, пожалуйста, не бойся, ничего плохого не происходит». Амальфитано все равно испугался, встал и во весь дух помчался в комнату дочери. Роса мирно спала. Амальфитано включил свет и проверил запоры на окне. Роса проснулась и спросила, что с ним. То есть не что происходит, а что с ним такое. Видимо, у меня лицо перекошено, подумал Амальфитано. Он присел на стул и сказал, что, наверное, сильно разнервничался, ему что-то послышалось, и он раскаивается в том, что притащил ее в этот заразный город. Не волнуйся, все хорошо, ответила Роса. Амальфитано поцеловал ее в щеку и вышел, закрыв за собой дверь. А свет не выключил. Потом, когда сидел и смотрел из окна гостиной на сад, на улицу и на застывшие в неподвижности ветви деревьев, он услышал – Роса выключила свет. Амальфитано бесшумно вышел в заднюю дверь. Фонарик бы, но фонарика не было, пришлось обойтись без него. Сад был пуст. На сушилке так и висел «Геометрический завет», несколько пар носков Амальфитано и брюки дочери. Он обошел дом – на крыльце тоже никого, подойдя к решетке, он оглядел улицу, но выходить не стал, впрочем, там никого и ничего не было, кроме собаки, которая спокойненько шла к проспекту Мадеро – там находилась автобусная остановка. Дожили, собаки на остановки ходят, сказал себе Амальфитано. Он пригляделся – нет, не породистая собака, обычный двортерьер. Дворняжка. Тут он рассмеялся – но про себя. Вот же слова все эти чилийские. Эти трещинки души-психики. Этот каток для игры в хоккей площадью с провинцию Атакама, где никто из играющих никогда не видел игрока другой команды, разве что время от времени одного из своих. Потом Амальфитано вернулся в дом. Запер дверь на ключ, проверил, закрыты ли все окна, и вытащил из ящика на кухне нож с коротким и прочным лезвием; положил его рядом с томиком по французской и немецкой философии с 1900 по 1930 год и снова сел за стол. Голос сказал: «Ты это, не думай, что мне так уж легко. А если все равно так думаешь – ты на сто процентов не прав. Потому как мне сложно. Процентом на девяносто». Амальфитано прикрыл глаза и подумал: «Всё, схожу с ума». Дома среди лекарств не было транквили-

заторов. Он поднялся. Пошел на кухню и двумя руками умыл лицо холодной водой. Вытерся кухонным полотенцем и рукавами. Попытался вспомнить, как психиатры называют аудиофеномен, который сейчас звучал в его голове. Вернулся в кабинет и, закрыв дверь, снова сел за стол, оперев склоненную голову на руки. Голос произнес: «Прости меня, пожалуйста. Умоляю – успокойся. Умоляю, не воспринимай это как покушение на твою свободу». Мою свободу? Не успев оправиться от изумления, Амальфитано допрыгнул до окна, открыл его и уставился на видимую часть сада и стену или изгородь соседнего дома, усеянную осколками стекла; фонари причудливо отражались в останках битых бутылок, отсверкивая то зеленым, то коричневым, то оранжевым, словно бы в этот час ночи изгородь из заградительной превращалась в изгородь украшательную (или же лишь играла в превращение), крошечный фрагмент хореографической картины, в которой даже сам хореограф, стало быть феодальный сеньор соседнего дома, не мог различить самые элементарные ее части – те, что затрагивали прочность, цвет и атакующий или оборонительный характер этого сооружения. Или словно бы на изгороди вдруг завелся вьюнок, подумал Амальфитано, закрывая окно.

Той ночью голос больше себя не проявил, и Амальфитано спал очень плохо: его потряхивало и что-то терло, словно бы кто-то царапал ему руки и ноги, а тело заливал пот; но в пять утра мучительная тревога отпустила, и в сон вошла Лола, которая приветственно махала ему из парка за большой решеткой (Лола находилась по другую ее сторону), а еще там были два лица – друзья, которых он уже несколько лет как не видел (и, наверное, больше никогда не увидит), и комната с покрытыми пылью книгами по философии (собрание, кстати, выглядело очень внушительно). В тот самый час полиция Санта-Тереса на окраине города обнаружила труп другой девочки в неглубокой могиле на пустыре, и сильный западный ветер снова разбил об отроги восточных гор, взметывая пыль, листы газетные и картонные, оставляя на своем пути по Санта-Тереса бумажный мусор и теребя белье, которое Роса развесила в саду за домом, словно бы ветер, этот юный энергичный и так мало живущий ветер, пробовал на вкус рубашки и брюки Амальфитано и залезал в трусы его дочери, и читал страницы «Геометрического завета» в поисках чего-нибудь полезного, чего-то, что объяснило бы, почему улицы и дома, по которым он несся галопом, складываются в такой любопытный пейзаж, или даже разъяснило, чем он, ветер, является для самого себя.

В восемь утра Амальфитано выполз на кухню. Дочка спросила его, как спалось. Вопрос был риторическим, однако Амальфитано ответил на него, молча пожав плечами. Когда Роса отправилась за покупками (нужно было купить еды для дня, который они планировали провести за городом), он налил себе чаю с молоком и отправился пить его в гостиную. Затем раздвинул занавески и задался вопросом: а в силах ли он отправиться в поездку, предложенную сеньорой Перес? И решил – да, в силах, а то, что случилось прошлой ночью, – ответ тела на атаку местного вируса или начало гриппа. Перед душем Амальфитано померил себе температуру. Температуры не было. Десять минут он простоял под потоком воды, вспоминая, как вел себя прошлой ночью, и ему стало стыдно – даже щеки залило краской. Время от времени он поднимал голову, чтобы душ бил ему прямо в лицо. Вода здесь была на вкус не такая, как в Барселоне. Она казалась более плотной, словно бы ее ничем не очищали, и так она и текла – вода, насыщенная минеральными солями, с отчетливым вкусом земли. В первые же дни после переезда они с Росой приобрели привычку чистить зубы в два раза чаще, чем в Барселоне – им казалось, что зубы буквально чернеют, словно бы тонкая пленка из подземных вод Соноры затягивала эмаль. Впрочем, со временем Амальфитано снова стал их чистить не чаще трех или четырех раз в день. Росу ее внешность заботила больше, поэтому она так и продолжала их чистить по шесть или семь раз в день. У нее в классе были дети с зубами цвета охры. У сеньоры Перес зубы были белые. Однажды он прямо спросил: а правда, что зубы чернеют от воды в

этой части Соноры? Госпожа Перес не знала. Сказала, что впервые об этом слышит, и пообещала выяснить. Да ладно, неважно, встревожился Амальфитано, неважно, короче, не надо, я тебя ни о чем не спрашивал, хорошо? И тут на лице сеньоры Перес нарисовалось некоторое замешательство, словно бы за этим вопросом стоял другой, крайне бестактный или ранящий самолюбие. Слова надо тщательней подбирать, пел Амальфитано под душем – он чувствовал себя полностью отдохнувшим, что, без сомнения, делало честь его характеру и чувству ответственности.

Роса вернулась с газетами, которые оставила на столе, и принялась делать бутерброды с тунцом, хамоном, салатом, кругляшами помидоров, с майонезом или соусом «1000 островов». Она завернула их в бумажные полотенца и в фольгу, положила в пакет, а пакет – в коричневый рюкзачок, на котором по кругу шла надпись – «Университет Финикса»; туда же сунула две бутылки воды и дюжину бумажных стаканчиков. В половине десятого они услышали, как сигналит машина сеньоры Перес. Сыну сеньоры Перес было шестнадцать, и он был невысокий, с широкими плечами и квадратным лицом – наверное, каким-то спортом серьезно занимался. Лицо его и часть шеи покрывали прыщи. Сеньора Перес была в джинсах, белой рубашке и в белом же платке. Черные очки – чуть великоватые – скрывали ее глаза. Издалека она походила на мексиканскую актрису семидесятых годов. Когда Амальфитано сел в машину, призрачное ощущение развеялось. Сеньора Перес осталась за рулем, и он расположился рядом. Они направились к востоку. Поначалу дорога шла по долинке, обложенной, как сплошным швом, камнями, которые словно бы упали с небес. Гранитные обломки – ни родства, ни продолжения рода. Также встречались какие-то посадки, участки, на которых невидимые крестьяне выращивали фрукты, которые не сумели разглядеть ни сеньора Перес, ни Амальфитано. Потом они выехали к пустыне и к горам. Там лежали отцы сироток-обломков, которых они только что видели по дороге. Гранит, вулканические породы, вздымающиеся в небо по образу и поведению птиц, только птицы эти – птицы боли – так подумал Амальфитано, пока сеньора Перес рассказывала ребятам о месте, куда они направлялись, в красках расписывая его, и образы этого рассказа то вызывали отвращение (бассейн, вырубленный в живом камне), то манили тайной, как те голоса, что слышны на смотровой площадке и которые, совершенно очевидно, высвистывал ветер. Когда Амальфитано обернулся посмотреть, как там ребята, не скучно ли им, то увидел, что за ними тащатся четыре машины, обреченно ожидая, когда же можно будет их обогнать. В этих машинах наверняка ехали счастливые семьи: мать, чемодан продуктов для пикника, двое детей и отец, ведущий машину с опущенным боковым стеклом. Амальфитано улыбнулся дочери и снова стал смотреть на дорогу. Спустя полчаса они поднялись на холм, с которого открывался вид на тянущуюся за их спинами огромную пустыню. Машин за ними прибавилось. Видимо, гостиница, или едальня, или ресторан, или отель на час, в который они отправлялись, явно был в моде у жителей Санта-Тереса. Он раскаялся в том, что принял приглашение. А потом взял и уснул. Проснулся, когда приехали. Ладонь сеньоры Перес лежала у него на лице – но что это был за жест? Ласка? Что-нибудь другое? Ладонь ее напоминала ладонь слепого. Росы и Рафаэля уже не было в машине. Он увидел почти заполненный паркинг, солнце, яростно пылающее на хромированных поверхностях, дворик чуть повыше, парочка, обнявшись за плечи, рассматривает что-то недоступное его зрению, ослепительное небо, полное низких туч, далекая музыка и голос, который что-то пел или шептал очень быстро, и различить слова песни не удавалось. Амальфитано увидел лицо сеньоры Перес – прямо в нескольких сантиметрах от своего. Он взял ее руку и поцеловал ее. Рубашка вся вымокла от пота, но больше всего его удивило вот что – сеньора тоже обильно потела.

День, несмотря на все, прошел отлично. Роса и Рафаэль искупались в бассейне, родители смотрели на них, сидя за своим столиком, а потом дети к ним присоединились. Потом вся

компания купила что-то попить и пошла гулять по окрестностям рестораника. В некоторых местах гора оползала, в глубине и в потревоженных стенах домов просматривались большие раны, из которых высывались камни других цветов – а может, просто убежавшее к западу солнце расцветило их непривычными красками: темные осадочные и андезитные породы, скопанные песчаниками, острые туфовые скалы и огромные наплывы базальта. Время от времени появлялся уцепившийся за скалу сонорский кактус. А вдалеке высились еще горы, рассеченные крохотными долинками, и еще горы, а дальше их вершины тонули в дымке, укутывались в туманы среди обширного кладбища облаков, а за ними уже раскинулись Чиуауа, и Нью-Мексико, и Техас. Завороженные видами, все четверо сидели на камнях и молча ели. Роса и Рафаэль заговорили только для того, чтобы поменяться сэндвичами. Сеньора Перес, похоже, погрузилась в какие-то свои размышления. Амальфитано же пейзаж не радовал, а утомлял и нагонял тучи на сердце – такой пейзаж, думал он, подходил только молодежи или придурочным старикам, или старикам бесчувственным, или старикам-злыдням, что всегда готовы наказать себя и других каким-нибудь невыполнимым заданием, и так до последнего своего вздоха.

Той ночью Амальфитано долго не мог уснуть. Дома он первым делом прошел в сад за домом – висит ли на месте книга Дьесте. По дороге назад сеньора Перес попыталась быть учтивой и завела разговор, который, по идее, должен был заинтересовать всех четверых, но сын ее задремал, как только они поехали, а вскоре прикорнула, прислонившись лицом к стеклу, Роса. Амальфитано немедленно последовал примеру дочери. Снился ему женский голос – но не сеньоры Перес, а какой-то француженки, которая говорила про знаки и числа и еще что-то непонятное для Амальфитано – про какую-то «раздерганную историю» или «разобранную и вновь собранную историю», причем понятно же всем: история, которую пересобрали, – это же будет совсем другая история – комментарий на полях, здоровое примечание, раскат хохота, который все длится и длится и перепрыгивает с андезитов на риолиты, а с них на туф, и из этого собрания доисторических пород возникает что-то вроде ртути, латиноамериканское зеркало, говорил голос, грустное латиноамериканское зеркало богатства, нищеты и постоянных бесполезных метаморфоз, зеркало, что умеет плавать под парусами боли. А потом у Амальфитано переключился сон: он уже не слышал никакого голоса – наверное, потому, что крепко уснул, – и снилось ему, что он подходит к женщине, женщине, состоящей только из пары ног, и стоит она в конце темного коридора, а потом услышал, как кто-то смеется над его храпом – сын сеньоры Перес, конечно, – и подумал – так лучше. Когда они уже въезжали в Санта-Тереса по восточному шоссе – дорогу в эти часы заполняли раздолбанные грузовики и мало-мощные фургоны, возвращавшиеся с местного рынка или из некоторых городов Аризоны, – он проснулся. Оказалось, что уснул с открытым ртом – даже на ворот рубашки слюни натекли. Так лучше, лучше, намного лучше. Бросив на сеньору Перес довольный взгляд, он обнаружил, что та немного загрустила. Пока дети не видели, она легко поглаживала ногу Амальфитано, а тот крутил головой, разглядывая лоток с такос, рядом с которым стояла пара полицейских и пила пиво, и они разговаривали и всматривались, похлопывая по кобурам на бедре, в черно-красные сумерки, похожие на кастрюлю с густым чили, чья кипящая подлива медленно угасала на западе. Когда Амальфитано и Роса приехали, солнце совсем село, но тень от книги Дьесте, висевшей на сушилке, падала четкая, устойчивая, более рациональная, подумал Амальфитано, чем все, что он видел за пределами Санта-Тереса и в самом городе: образы, которые не при-ткнешь, образы, в которых содержалась вся сиротская печаль мира, – фрагменты, фрагменты...

Ночью он со страхом ждал голос. Амальфитано попытался подготовиться к занятиям, но вскоре обнаружил, что готовиться к теме, которую знаешь досконально, совершенно бесполезно. Подумал: а что, если нарисовать на белой бумаге то, что стояло перед ним? А если снова нарисуются эти простейшие геометрические фигуры? В результате он нарисовал лицо,

которое потом стер, а потом и вовсе погрузился в воспоминания об этом исчерканном лице. Припомнил (словно бы вскользь, как припоминают молнию) Раймунда Луллия и его волшебную машину. Волшебную – но бесполезную. Снова кинув взгляд на белый лист, он обнаружил, что написал в три вертикальных ряда следующие имена:

Пико дела Мирандола _____ Гоббс _____ Боэций
 Гуссерль _____ Локк _____ Александр Гальский
 Ойген Финк _____ Эрих Бехер _____ Маркс
 Мерло-Понти _____ Витгенштейн _____ Лихтенберг
 Беда Достопочтенный _____ Луллий _____ Де Сад
 Святой Бонавентура _____ Гегель _____ Кондорсе
 Иоанн Филопон _____ Паскаль _____ Фурье
 Святой Августин _____ Канетти _____ Лакан
 Шопенгауэр _____ Фрейд _____ Лессинг

Некоторое время Амальфитано читал и перечитывал имена, по горизонтали и по вертикали, от центра к полям, снизу вверх, с пропусками и как Бог на душу положит, а потом рассмеялся и подумал: все это трюизм, то есть высказывание, утверждающее что-то всем очевидное и потому бесполезное. Затем выпил стакан воды из-под крана, воды с Сонорских гор, и, ожидая, пока жидкость стечет вниз по горлу, вдруг перестал дрожать – а та дрожь была незаметной, точнее, только он ее чувствовал, – и принялся размышлять о водоносных слоях Сьерра-Мадре, которые там, в бесконечной ночи, поставляли воду городу, и также он подумал о водоносах, что поднимались из своих убежищ совсем рядом с Санта-Тереса, и о воде, которая покрывала зубы тонкой охряной пленкой. Допив, он посмотрел в окно и увидел удлинненную, как гроб, тень, которую подвешенная книга Дьесте отбрасывала на землю.

Однако голос вернулся и на этот раз просил, умолял его вести себя как мужчина, а не как пидорас. Пидорас? Да, пидорас, петушок, пидорок, сообщил голос. Го-мо-сек-су-а-лист, сказал голос. И тут же поинтересовался: а ты, случаем, не из этих? Каких? – испуганно переспросил Амальфитано. Го-мо-сек-су-а-листов, ответил голос. Но не успел Амальфитано ответить, как голос тут же поспешил уточнить, что он, конечно, сказал это в переносном смысле, что ничего не имеет против пидоров и пидорасов, даже наоборот, некоторыми поэтами из тех, что признали в себе эти наклонности, он безгранично восхищается, не говоря уже о некоторых художниках и некоторых чиновниках. Некоторых чиновниках? – переспросил Амальфитано. Да, да, да, сказал голос, очень молодых, мало поживших чиновниках. Людях, что изошли невольными слезами над официальными документами. Павших от своей же руки. Затем голос замолчал, а Амальфитано притих в своем кабинете. Прошло время, четверть часа, а может, и целый день, и голос сказал: предположим, я твой дед, отец твоего отца, и предположим, что в связи с этим у меня есть право задать вопрос личного характера. Ты можешь ответить мне, если желаешь, или не ответить, но я могу спросить тебя. Мой дед? – переспросил Амальфитано. Ну да, твой дедушка, дедулечка, сказал голос. Так вот, вопрос: ты пидор? Побежишь прочь из этой комнаты? Ты го-мо-сек-су-а-лист? Побежишь будить дочку? Нет, решительно сказал Амальфитано. Я слушаю. Говори, что должен сказать.

И голос произнес: так ты – да? Пидор, да? И Амальфитано твердо ответил, что нет, да еще и головой отрицательно помотал. Не выбегу из комнаты. Моя спина и подошвы ботинок никогда не будут последним, что ты увидишь – если ты, конечно, можешь видеть. И голос ответил: видеть, видеть в полном смысле этого слова, я, честно говоря, не могу. Или могу, но не очень. Я и так тут сижу, хренюю всякой занимаюсь, а ты – видеть. Где – тут? – удивился Амальфитано. В

твоём доме, где же еще, сказал голос. Это мой дом! – взвился Амальфитано. Да, я понимаю, не нервничай так. Я и не нервничаю, сказал Амальфитано, я же у себя дома. И подумал: а чего это он просит меня не нервничать? И голос сказал: думаю, это станет началом большой и крепкой дружбы. Но для этого нужно расслабиться и не нервничать, ибо только спокойствие не способно предать нас. И Амальфитано спросил: а что, все остальное нас предает? А голос сказал: да, действительно, да, это трудно признать, точнее, тяжело это признавать в разговоре с тобой, но это абсолютненькая истинка. Предает ли нас этика? Чувство долга предает нас? Честность? Любопытство? Предает ли нас любовь? Смелость? Предает ли нас искусство? Да, сказал голос, всё и вся нас предает, или предает тебя, и хотя это другой случай, но в данном положении – то же самое, всё и вся, и только спокойствие нас не предает, хотя, позволю себе отметить, и в этом случае нет никаких гарантий. Нет, ответил Амальфитано, смелость – она никогда не предает. И любовь к детям – тоже нет. Ах нет? – заметил голос. Нет, уперся Амальфитано, чувствуя, как на него нисходит спокойствие.

И потом, шепотом, как и все то, что сказал перед этим, он спросил: а спокойствие – это, случайно, не антоним безумию? А голос ответил: нет, ни в коем случае, просто ты боишься сойти с ума, но не волнуйся, ты не сходишь с ума – ты просто беседуешь в непринужденной обстановке. Значит, я не схожу с ума, сказал Амальфитано. Нет, абсолютно точно – нет, сообщил голос. Значит, ты мой дедушка? Папусик, поправил голос. Значит, все нас предает, даже любопытство, честность и любовь. Да, сказал голос, но утешься – тут можно власть поразвлечься.

Нет дружбы, сказал голос, нет любви, этики, лирической поэзии – это все бульканье или соловьиные трели эгоистов, щебет жуликов, журчание предателей, шипение карьеристов, бормотание пидорасов. А что ты имеешь, прошептал Амальфитано, против гомосексуалов? Ничего, сказал голос. Я же в переносном смысле выражаюсь. Мы в Санта-Тереса? – спросил голос. Этот город – часть, причем выдающаяся часть, штата Сонора? Да, подтвердил Амальфитано. Ну так кругом посмотри, да? Одно дело быть карьеристом, ну, это я просто для примера сказал, – проговорил Амальфитано, медленно, как при замедленной съемке, дергая себя за волосы, – а другое – быть пидорасом. Ну в переносном же смысле, настаивал голос. Я так говорю, чтоб понятней было. Говорю, словно бы я стою – а ты стоишь за моей спиной – в студии художника-го-мо-сек-су-а-листа. Я говорю из мастерской, где хаос – всего лишь маска, легкий смрад анестезии. Я говорю из мастерской, где погашен свет и где нерв воли отделяется от остального тела, как язык змеи отделяется от тела и ползет, сам собою искалеченный, среди мусора. Я говорю оттуда, где жизнь исполнена простоты. Ты ведь философию преподаешь? – спросил голос. Витгенштейна проходите? Спрашивал ты себя, рука ли твоя рука? Спрашивал, признался Амальфитано. Но сейчас у тебя более важные вопросы назрели, правильно? – заметил голос. Нет, ответил Амальфитано. Например, почему бы тебе не поехать в питомник и не закупить семян, растений и даже деревце, чтобы посадить посреди сада за домом? – спросил голос. Да, ответил Амальфитано. Я думал о моем возможном и актуальном саде и о растениях, которые нужно купить, и об инструменте, который понадобится для посадки. А также ты думал о своей дочери, сообщил голос, и об убийствах, которые ежедневно происходят в этом городе, и о сраных облаках Бодлера (прошу пARDону), но ты ни разу всерьез не задумался над тем, рука ли твоя рука. Неправда, обиделся Амальфитано, я думал, много раз думал об этом. Если б ты действительно об этом думал, строго сказал голос, все бы по-другому обернулось. И на Амальфитано вновь снизошла тишина, и он почувствовал, что тишина – это что-то вроде орудия неестественного отбора. Посмотрел на часы – четыре часа утра. И услышал, как кто-то заводит машину. Та завелась не сразу. Он поднялся и высунулся в окно. Автомобили, припаркованные перед домом, были пусты. Он посмотрел назад и положил руку на ручку двери.

Голос сказал: осторожнее; но звучал сильно издали, словно бы со дна оврага, откуда высывались обломки вулканических пород, риолиты, андезиты, жилы серебра и жилы золота, навсегда застывшие лужи с крохотными яичками, а в фиолетовом, как кожа забитой насмерть индианки, небе парили краснохвостые канюки. Амальфитано вышел на крыльцо. Слева, в метрах десяти от его дома, черная машина зажгла фары и тронулась. Проезжая перед садом, водитель нагнулся и, не останавливая авто, впился в Амальфитано взглядом. Это был толстый и очень черноволосый дядька в дешевом костюме и без галстука. Когда он исчез из виду, Амальфитано вернулся домой. Хреново дело, заметил голос, стоило ему переступить порог. А потом добавил: осторожнее надо быть, товарищ, похоже, тут у вас накаленная обстановка.

А ты вообще кто и как сюда попал? – спросил Амальфитано. А смысл тебе объяснять? – заявил голос. Говоришь, смысла нет? – тихонько, как мушка, хихикнул Амальфитано. Нет смысла, подтвердил голос. А можно я задам вопрос? Давай, ответил голос. Ты и вправду призрак моего дедушки? Что за чушь ты несешь? – рассердился голос. Конечно, нет, я ведь призрак твоего отца. А призрак твоего дедушки давно позабыл о твоём существовании. Но я – твой отец и никогда тебя не забуду. Ты это понимаешь? Понимаю, откликнулся Амальфитано. Понимаешь, что меня не надо бояться? Понимаю, ответил Амальфитано. Займись чем-нибудь полезным, потом проверь запоры на всех дверях и окнах и иди спать. Полезное – это что? – поинтересовался Амальфитано. Например, посуду помой. И Амальфитано закурил сигарету и пошел делать то, что ему предложили. Ты давай мой, а я буду говорить, сказал голос. Все тихо и спокойно, добавил голос. Мы друг другу не враги, головные боли, если они у тебя есть, жужжание в ушах, ускоренный пульс, тахикардия – все это скоро уйдет. Ты успокоишься, обдумаешь все и успокоишься, а тем временем будешь делать что-то полезное для себя и для дочки. Понятно, прошептал Амальфитано. Отлично, отозвался голос, это как эндоскопия, только безболезненная. Ясно, прошептал Амальфитано. И вымыл тарелки, кастрюлю с остатками пасты и томатного соуса, вилки, стаканы, кухню и стол, за которым они ели, прикуривая одну от другой сигареты и время от времени выпивая несколько глотков воды из-под крана. В пять утра он вытащил грязное белье из корзины для грязного белья и вышел в сад за домом, и положил белье в стиральную машину, и поставил ее на программу обычной стирки, и посмотрел на книгу Дьесте, что висела неподвижно, и снова вернулся в гостиную, и осмотрелся, как смотрит наркоман, что бы еще ему помыть, убрать или постирать, но ничего не нашел и присел, шепотом говоря да или нет, или не помню, или может быть. Всё в порядке, говорил ему голос. Ты привыкнешь со временем. И не будешь кричать. Потеть и подпрыгивать на месте тоже не будешь.

В начале седьмого утра Амальфитано упал, как был, одетый, на кровать и уснул благодатным сном ребенка. В девять Роса его разбудила. Амальфитано давно себя не чувствовал так хорошо, хотя на занятиях студенты вообще не понимали, о чем речь. В час он пообедал в ресторане университета, усевшись за самый отдаленный и незаметный столик. Он не хотел встречи с сеньорой Перес, не хотел видеть других коллег и уж тем более декана, который обычно здесь обедал каждый день в компании преподавателей и некоторых студентов, которые ему беспрерывно льстили. За стойкой, по-партизански прячась от их глаз, Амальфитано заказал паровую курицу и салат, а потом быстро-быстро метнулся к своему столику, избегая встреч с молодежью, которой в этом часу кишел ресторан. Затем принялся есть и думать о том, что произошло ночью. С удивлением заметил, что пережитое ему нравится и даже вызывает некоторый энтузиазм. Чувствую себя соловьем, радостно подумал он. Это была простенькая, заезженная и дурацкая фраза, но другая не смогла бы описать его нынешнее состояние. Он попытался успокоиться. Хохот студентов, их громкие приветственные крики, звяканье посуды – да уж, здесь не очень-то поразмыслишь. Правда, через несколько секунд он понял: места получше все равно не найдет. Такое же – да, найдет, но лучше – нет. Поэтому он отпил от бутылки с водой

(вкус у нее все-таки отличался от воды из-под крана, хотя и не слишком) и задумался. Поначалу пришла мысль о безумии. Шансы, что он сходит с ума, высоки. Амальфитано удивился, заметив, что подобная идея (и подобная возможность) отнюдь не уменьшает его энтузиазма. И радости. Мой энтузиазм и моя радость выросли под крылами бури, сказал он себе. Возможно, я действительно схожу с ума, но чувствую себя хорошо. Еще он обдумал такую возможность: высоки шансы, что безумие – если он действительно сходит с ума – будет прогрессировать, и тогда его энтузиазм обернется болью и бессилием, а самое главное, принесет боль и бессильное отчаяние в жизнь его дочери. С точностью рентгеновского луча определив остаток на банковском счете, он решил, что отложил достаточно для того, чтобы Роса сумела вернуться в Барселону и начала там новую жизнь. Какую новую? На этот вопрос он предпочел не отвечать. Представил себя пациентом психиатрической больницы в Санта-Тереса или в Эрмосильо, как живет там взаперти, и его время от времени заходит навестить только сеньора Перес, а иногда приходят письма от Росы из Барселоны, где она будет работать и закончит учебу, где познакомится с каталонским юношей, ответственным и нежным, который в нее влюбится и будет уважать и лелеять и будет с ней любезен и с которым Роса свяжет свою жизнь, и будут они ходить по вечерам в кино и ездить в Италию или Грецию в июле или в августе – так вот, эта картина полностью устроила Амальфитано. Потом он рассмотрел другие возможности. Естественно, ни в каких призраков и духов усопших он не верит, хотя на юге Чили, где он провел свое детство, ему приходилось слышать разговоры о чудовищной женщине, которая поджидала всадников на ветке и кидалась сверху на круп лошади, обхватывала крестьянина или пастуха или контрабандиста сзади и не отпускала, словно любовница, и это объятие сводила с ума и всадника, и лошадь – те умирали на месте от страха или падали в овраг и погибали там; а еще страшали ящерицей-упырем колоколо¹⁴, птицей-чудищем чончон¹⁵, бродячими огоньками и целым отрядом других зловредных крошек-духов, неуспокоенных душ, инкубов и суккубов и мелких демонов, что живут в горах Коста и в Андах – но Амальфитано в них не верил, и не из-за того, что получил философское образование (Шопенгауэр, к примеру, верил в призраков, а Ницше какой-нибудь призрак точно являлся, иначе с чего бы он сошел с ума), а оттого, что был материалистом. Поэтому версию с духами отмел – по крайней мере, до того, как переберет более реалистичные варианты. Нет, голос вполне мог оказаться призрачным, тут он бы не дал руку на отсечение, но поначалу надо попытаться найти другое объяснение. Он долго думал и тем не менее признал, что к данному случаю подходит только неуспокоенная душа – конечно, только если невозможное окажется возможным. Он припомнил ясновидящую из Эрмосильо, мадам Кристину, прозванную ла-Санта, святая. Припомнил, каким был отец. И решил, что тот никогда, даже в виде бродячего духа, не стал бы выражаться как мексиканец – хотя, с другой стороны, гомофобии в ее самом легком виде он был не чужд. Тем не менее Амальфитано был счастлив, и это глупо было бы отрицать. И все же, в какой переплет его угораздило попасть... После обеда он провел еще несколько занятий и вернулся домой пешком. На главной площади Санта-Тереса увидел кучку женщин – они стояли перед мэрией, похоже протестовали. На одном из плакатов он прочел: «Нет безнаказанности». На другом: «Нет коррупции». Из-под кирпичных арок колониального здания за ними наблюдала группка полицейских. Амальфитано пошел дальше, но тут кто-то его окликнул по имени. Обернувшись, на противоположной стороне улицы он увидел сеньору Перес с его дочкой. Пригласил их выпить что-нибудь. В кафетерии ему объяснили, что это демонстрация, требующая больше прозрачности в расследованиях исчезновений и убийств женщин. Сеньора Перес сказала, что у нее дома сейчас живут три феминистки из Мехико-сити и что этим вечером она дает ужин в их

¹⁴ *Колоколо* – сказочное животное, по виду то ли ящерица, то ли рыба, с которым связываются многие суеверия: к примеру, считается, что оно приходит ночью и выпивает слюну спящих.

¹⁵ Чончон выглядит как странная птица с пепельно-серыми крыльями, которые растут по сторонам человеческой головы, оттуда же торчат лапы с острыми когтями и огромные уши, с помощью которых он летает. Еще он постоянно кричит «туэ-туэ».

честь. И сказала: буду очень рада, если вы придете. Роса сказала, что придет. Амальфитано сообщил, что не имеет ничего против. Потом сеньора Перес и его дочь вернулись на площадь и присоединились к демонстрации, а Амальфитано пошел дальше.

Но, не дойдя до дома, снова услышал, как его позвали по имени. «Господин Амальфитано», – сказал кто-то. Он обернулся и никого не увидел. Амальфитано уже находился далеко от центра и шел по проспекту Мадеро, где четырехэтажные дома уступали место виллам калифорнийского типа, какой был популярен в пятидесятые годы, – виллам, которые время начало разрушать уже много лет назад, когда их прежние жильцы переехали в пригород, где сейчас жил Амальфитано. Некоторые дома превратили в лавки, где также продавали мороженое, а в других продавали – даже ничего не перестроив – хлеб или одежду. На многих висели вывески, зазывающие к врачам или адвокатам, специализирующимся на разводах и уголовных преступлениях. Другие предлагали снять комнату на один день. Некоторые здания без особых изысков разделили на два или даже три отдельных дома, там продавали газеты и журналы, фрукты и овощи, или обещали прохожим вставные челюсти по исключительно низкой цене. Как только Амальфитано собрался идти дальше, его снова окликнули. И тут он его увидел. Голос доносился из машины, что стояла у тротуара. Поначалу он не признал юношу, который к нему обратился. Подумал, наверное, это кто-то из его студентов. Черные очки, черная рубашка, растянутая до самой груди. И загар как у популярного певца или пуэрториканского плейбоя. Садитесь, сеньор, я вас подвезу до дома. Амальфитано собрался ему ответить, что нет, спасибо, он дойдет до дома пешком, как юноша поспешил представиться. Я сын сеньора Герры, сказал он, выходя из машины со стороны улицы – а движение, надо сказать, в эти часы было весьма интенсивным, – но он вышел, даже не посмотрев по сторонам, наплевав на опасность, и Амальфитано это показалось крайне безрассудным. Обойдя машину, молодой человек подошел и протянул ему руку. Я Марко Антонио Герра, представился он, и Амальфитано припомнил, как они пили шампанское, отмечая его, Амальфитано, зачисление в штат университета, в кабинете отца Марко. Вам меня нечего бояться, сеньор преподаватель, сказал юноша, и Амальфитано безмерно удивился этой фразе. Молодой Герра встал перед ним. И улыбнулся – прямо как тогда. На нем были джинсы и сапоги-казаки. На заднем сиденье машины лежали брендовый пиджак жемчужно-серого цвета и папка с документами. Я тут мимо проезжал, сказал Марко Антонио Герра. Автомобиль встроился в движение и повез их по направлению к пригороду Линдависта, но, прежде чем они приехали, сын декана предложил зайти куда-нибудь выпить. Амальфитано самым благовоспитанным образом отклонил предложение. Ну тогда пригласите меня выпить что-нибудь у вас дома, сказал Марко Антонио Герра. Боюсь, мне нечего вам предложить, извинился Амальфитано. На нет и суда нет, ответил Марко Антонио Герра и при первом же удобном случае съехал с шоссе. Вскоре городской пейзаж поменялся. В западной части пригорода Линдависта дома были все новые и их окружали большие пустыри; некоторые улицы были и вовсе неасфальтированные. Говорят, эти пригороды – будущее нашего города, сказал Марко Антонио Герра, но я думаю, что у этого сраного города вообще нет будущего. Машина поехала прямо по футбольному полю, с другой стороны которого возвышались то ли ангары, то ли склады, окруженные колючей проволокой. За ними бежала вода то ли в канале, то ли в ручье, и с ней плыл мусор из северных пригородов. Рядом с другим пустырем они увидели рельсы – раньше Санта-Тереса соединяла с Уресом и Эрмосильо эта железнодорожная ветка. К ним робко подошло несколько собак. Марко Антонио опустил стекло и дал псам понюхать илизать свою руку. Слева тянулось шоссе в Урес. Машина уже выезжала из Санта-Тереса. Амальфитано спросил, куда они едут. Сын Герры ответил, что в одно из немногих здешних заведений, где еще подают настоящий мексиканский мескаль.

Заведение называлось «Лос-Санкудос»¹⁶ и представляло собой прямоугольник тридцати метров в длину и десяти в ширину с маленьким возвышением у дальней стены – там по пятницам и субботам выступали группы с романсами-корридо¹⁷ или песнями-ранчерас¹⁸. Стойка там была длиной по меньшей мере метров пятнадцать. Сортир располагался на улице, и к нему можно было пройти прямо через двор или по узкому коридору из оцинкованных пластин, что соединял его с заведением. Народу было немного. Официанты – их Марко Антонио Герра звал по именам – приветствовали их, но никто не подошел принять заказ. В зале горело лишь несколько ламп. Очень рекомендую мескаль «Лос-Суисидас», сказал Марко Антонио. Амальфитано любезно улыбнулся и сказал, да, хорошо, но только одну рюмочку. Марко Антонио поднял руку и пощелкал пальцами. Эти мудаки глухие, что ли? – сказал он. Потом поднялся и подошел к стойке. Через некоторое время вернулся с двумя стаканами и наполовину полной бутылкой мескаля. Попробуйте, сказал он. Амальфитано отпил, и ему понравилось. На дне бутылки должен быть червяк, сказал он, но эти троглодиты наверняка его сожрали. Амальфитано решил, что это анекдот, и посмеялся. Но я уверяю вас: мескаль «Лос-Суисидас» подлинный, можете его пить спокойно, сказал Марко Антонио. После второго глотка Амальфитано подумал, что, действительно, это что-то невероятное. Уже не производится, горько покивал Марко Антонио, как и многое другое в этой сраной стране. А потом, пристально глядя на Амальфитано, сказал: пиздец надвигается, вы, наверное, уже это поняли, да, сеньор? Не вдаваясь в подробности и детали, Амальфитано ответил, что да, ситуация не слишком замечательная. Все рушится, прямо на глазах рушится, сказал Марко Антонио Герра. Из политиков наших управленцы просто никакие. Средний класс спит и видит, чтобы в Штаты переехать. И людей, что нанимаются в сборочные цеха, с каждым разом все больше. Знаете, что бы я сделал? Нет, ответил Амальфитано. А я бы несколько штук сжег. Несколько штук чего? – не понял Амальфитано. Да цехов этих сборочных. Ничего себе, пробормотал Амальфитано. Вывел бы на улицы войска, хотя нет, не на улицы, дороги бы перекрыл – чтобы голодающие сюда не тащились. Блокпосты на шоссе? – переспросил Амальфитано. Ну да, это единственное решение. Возможно, есть еще какие-то, пробормотал Амальфитано. Народ потерял уважение, сообщил Марко Антонио Герра. Уважение к другим и уважение к себе. Амальфитано посмотрел на стойку. Там, искоса поглядывая на их столик, стояли и перешептывались трое официантов. Думаю, нам пора уходить, сказал Амальфитано. Марко Антонио Герра посмотрел на официантов, сделал им неприличный жест и рассмеялся. Амальфитано взял его за руку и потащил к парковке. Уже стемнело, и в вышине на железной конструкции сияла огромная вывеска с длинноногим комаром. Похоже, эти люди имеют что-то против вас, сказал Амальфитано. Не волнуйтесь, сеньор, сказал Марко Антонио Герра, я при оружии.

Вернувшись домой, Амальфитано тут же забыл о молодом Герре и подумал, что, может, он не так уж и безумен, а голос навряд ли принадлежит неуспокоенной душе. А что, если это телепатия? Вот у мапуче или арауканцев же есть телепаты! И припомнил тоненькую, меньше ста страниц в объеме, книжицу некоего Лонко Килапана, изданную в Сантьяго-де-Чили в 1978 году, – ее прислал старый друг-шутник, когда Амальфитано еще жил в Европе. Этот самый Килапан титуловал себя вот таким образом: Историк Народа, Президент Туземной конфедерации Чили и Секретарь Академии арауканского языка. Книга называлась «О’Хиггинс – арауканец», а дальше шел подзаголовок: «17 доказательств, взятых из Тайной Истории Араукании». Между заголовком и подзаголовком красовалась следующая фраза: «Текст одобрен Арауканским историческим советом». Потом шел пролог: «Пролог. Трудно придется тому, что захочет

¹⁶ Москиты.

¹⁷ Романс или восьмисложное стихотворение с множеством ассонансов, поется на два голоса с музыкальным сопровождением, характерным для Латинской Америки.

¹⁸ *Ранчера* – музыкальный жанр, народные песни под мексиканскую музыку, обычно исполняется марьячи.

узреть родство между арауканцами и героями войны за независимость Чили – его очень трудно найти и еще труднее обосновать. Потому что братья Каррера, Маккенна, Фрейре, Мануэль Родригес и другие могли похвастаться исключительно иберийским происхождением. Но есть случай, где родство с арауканцами очевидно и сверкает, подобно полуденному солнцу, – это Бернардо О’Хиггинс, и доказательством сему являются 17 фактов. Бернардо не был незаконнорожденным ребенком, как его с жалостью описывают некоторые историки, в то время как другие открыто ликуют по этому поводу. Это доблестный законный сын губернатора Чили и вице-короля Перу, Амбросио О’Хиггинса, ирландца, и арауканской женщины, принадлежавшей одному из крупнейших племен Араукании. Брак был заключен согласно законам Адмапу, традиционным обычаем Гапитун (ритуальным похищением). Биография Освободителя впервые пересекается с тысячелетней тайной арауканского народа, как раз в канун двухсотлетнего юбилея его Рождения; она переходит с Литранга* на бумагу, с верностью фактам, характерной исключительно для эпеутуфе». На этом пролог заканчивался, далее следовала подпись Хосе Р. Пичиньюаля, касика Пуэрто-Сааведра.

Любопытно, подумал Амальфитано, глядя на книгу у себя в руках. Любопытно, очень любопытно. К примеру, вот этот одинокий астериск со сноской. Литранг: доска из гладкого камня, на которой писали арауканцы. Но зачем ставить астериск после «литранга» и не ставить его после слов «адмапу» и «эпеутуфе»? Или вождь племени из Пуэрто-Сааведра полагал, что все и так их знают? И потом вот эта фраза о незаконности или законности рождения О’Хиггинса – что он не незаконный сын, которого описывают с *жалостью*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.